

Одесский
альманах

№68

I / 2017



ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ



PLASKE
ПЛАСКЕ

Литературно-художественное издание серии «Одесская библиотека»

«Дерибасовская – Ришельевская». Альманах

№ 1 (68), 2017

Издается с 2000 г.

Учредитель и издатель: Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»

(свидетельство ДК № 3673 от 21.01.2010 г.)

Председатель редакционного совета: Иван Липтуга

Редактор: Феликс Кохрихт

Редакционная коллегия: Евгений Голубовский (заместитель редактора), Олег Губарь, Иван Липтуга

Технический редактор: Геннадий Танцюра

Верстка, корректура: Татьяна Коциевская

Свидетельство о государственной регистрации печатных средств массовой информации:

КВ № 19644-9444Р от 08.01.2013 г.

Адрес редакции: 65001 Украина, Одесса, ул. Ак. Заболотного, 12, а/я 299

Тел.: +380 (48) 7-385-385

books@plaske.ua

www.plaskepress.com

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «Плутон»

65023 Украина Одесса, ул. Нежинская, 56

Тел.: +38 (048) 700-42-42

Тираж 500 экз.

Заказ № _____



Літературно-художнє видання серії «Одеська бібліотека»

«Дерибасовская – Ришельевская». Альманах

№ 1 (68), 2017

Видається з 2000 р.

Засновник і видавець: Видавнича організація АТ «ПЛАСКЕ» (свідцтво ДК № 3673 від 21.01.2010 р.)

Голова редакційної ради: Іван Липтуга

Редактор: Фелікс Кохріхт

Редакційна колегія: Євген Голубовський (заступник редактора), Олег Губар, Іван Липтуга

Технічний редактор: Геннадій Танцюра

Верстання, коректура: Тетяна Коцієвська

Свідцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації:

КВ № 19644-9444Р від 08.01.2013 р.

Адреса редакції: 65001 Україна, Одеса, вул. Ак. Заболотного, 12, а/с 299

Тел.: +380 (48) 7-385-385

books@plaske.ua

www.plaskepress.com

Надруковано з готового оригінал-макету у типографії «Плутон»

65023 Україна Одеса, вул. Ніжинська, 56

Тел.: +38 (048) 700-42-42

Наклад 500 прим.

Замовлення № _____



© АО «ПЛАСКЕ», 2017

© «Дерибасовская – Ришельевская», 2017

От редакции

Вот и вступил наш альманах в новый, 2017, год. Вы держите в руках 68-й номер «Дерибасовской – Ришельевской», а это значит, что нам 17 лет.

Первый номер в этом году – традиционно весенний. Наш букет цветов всем женщинам выглядит так: все произведения в разделе прозы и поэзии написаны нашими талантливыми писательницами – четырьмя прозаиками и семью поэтами. И еще – цветную вкладку этого номера мы отдали замечательной художнице Нине Федоровой.

Многие годы 1 апреля в нашем городе рассматривается как национальный праздник одесситов. Мы рады, что и этот номер альманаха, и это тоже добрая традиция, открывает новый монолог Михаила Жванецкого о сложной ответственности за выбор, который есть у каждого из нас. А в разделе «Публикации» мы печатаем размышления выдающегося писателя Виктора Платоновича Некрасова о юморе Михаила Жванецкого. Продолжают писать веселые, забавные, смешные тексты и сегодня в нашем городе, так что в разделе «Ах, Одесса» – и «Лёнчики» Леонида Авербуха, и фразы Игоря Геращенко, и рассказ Алексея Гладкова. Не оскудевает юмором Одесса.

2 сентября, ко дню рождения Одессы, готовится традиционный Одесский календарь, выпускаемый АО «ПЛАСКЕ» и Одесским литературным музеем. Как всегда, и мы помогаем в подготовке календаря, вводим рубрику «Одесский календарь» на свои страницы. В этом году для календаря выбрана улица Жуковского. И мы публикуем интервью со скульптором, создателем памятника И. Бабелю Георгием Вартановичем Франгуляном.

Выбор наш не случаен. В 2017 году открыт первый сезон учрежденной Всемирным клубом одесситов Международной одесской

литературной премии имени Исаака Эммануиловича Бабеля. Наш альманах является одним из соучредителей премии, и мы знаем, что ряд авторов, чьи рассказы публиковались в альманахе, принимают участие в конкурсной борьбе. Итоги конкурса будут подведены в Одесском литературном музее 13 июля, в день рождения Исаака Бабеля. В эти дни готовится и литературный праздник, одной из частей которого станет перформанс, или флеш-моб, – одесситы читают строки одесских поэтов и прозаиков. И эта литературная эстафета, начавшись у литературного музея, дотянется до улицы Жуковского, до памятника Бабелю.

Организатором этого действа выступил наш друг из Эстонии, член Всемирного клуба одесситов Меэлис Кубитс.

Так страницы альманаха перетекут в живую жизнь. А ведь именно в такой связке «искусство – жизнь – искусство» видим мы долговечие нашего издания, его необходимость и творцам – литераторам, художникам, артистам, музыкантам – и читателям, для которых творцы работают.



Михаил Жванецкий

Выбор

«Мы до сих пор не поняли, отчего сегодня страдаем?
Отчего жизнь кажется нам холодной и не нашей?
Почему наши люди ждали и ждут чего-то другого?
Мне кажется, оттого, что они видят движение с ак-
циями, биржами, инвесторами и ничего не понимают.

И это полбеды.

Но главное, они в этом не могут участвовать.

Они не понимают главного, что они попали в эми-
грацию на своей земле.

Такое случилось с нами.

Те, кто сделал это сознательно, меняют профессию
как настоящие эмигранты, меняют характер, встают
в 5 утра, ложатся в 10 вечера, пишат о себе хвалеб-
ные отзывы, держатся за место, берегут жену от уго-
на, меняют ежедневно бельё, сдают экзамен на право
жить здесь, в эмиграции, но возвращаться в прошлое
не хотят.

Они готовы уехать, но не возвращаться.

Здесь все силы новых обучившихся уходят на борь-
бу с весьма загадочной администрацией Президента.

Вначале всё наше захватили олигархи.

Теперь всё наше администрация пытается отбить у них для кого-то.

Мы отсталые, ничего этого не знаем и в глаза не видели.

Дети наши другие, а не те, что будут.

Мы – те, что были.

В костюмах, ватниках и выставках 60-х годов.

От нас они уже ничего и не хотят – наши дети, – если мы ничего не понимаем.

Но мне кажется, что и мы не хотим вернуться, ибо дети нас бросят.

Вот и выбор: назад без детей или вперед без родителей.

*Целую
Ваш оголтелый друг».*



История, краеведение

8 Олег Губарь

Путеводитель по пушкинской Одессе

38 Андрей Добролюбский

Археологические очертания Джинестры

48 Сергей Котелко

История одного памятника

57 Александр Дорошенко

«Художник нам изобразил глубокий обморок
сирени...»

71 Итальянский свидетель падения белой Одессы

73 Альдо Мандрилли

Одесса 1920

Публикация Михаила Талалая

Олег Губарь

Путеводитель по пушкинской Одессе*

IX квартал

Обратимся теперь к образцам синхронной застройки IX-го, соседнего квартала, ограниченного улицами Дерибасовской, Ришельевской, Греческой, Екатерининской. Изначально сторона девятого квартала Военного форштата по Дерибасовской улице включала четыре равноценных по площади места № 69-72. Угловые участки считались более выгодными, проездными, и застраивались в первую очередь. Согласно ведомости розданным местам от 15 сентября 1794 года, составленной военным инженером капитаном Федором Кайзером, сказанные номера получили: купец Суровцов, отставной матрос Андрей Семенов, капитан Дияуров, инженер унтер-цейхвартер Винтулов²⁷⁶. Первично места, понятно, раздавались преимущественно военным, в том числе флотским, из которых не многие сумели построить, ибо не имели достаточных средств, да и перемещались по служебным обязанностям. Поэтому участки переходили в другие руки, нередко многократно. Кроме того, уже в 1795-м явно произошло частичное официальное перераспределение мест, так как зимой 1794-1795 годов приватное строительство едва ли производилось по объективным причинам.

Поэтому первым застройщиком углового места № 72 по Екатерининской стал не Винтулов, а полицмейстер Кирьяков, вскоре продавший эти небольшие постройки Врето (подробности – в разделе о Екатерининской улице). *Георгий (Егор, Юрий) Врето* –

* Продолжение. Начало в кн. 64, 66, 67.

фигура очень интересная. Уроженец ионийского острова Кифера, он был волонтером в русско-турецкой войне и после заключения Кючук-Кайнарджийского мирного договора жил в Крыму, дослужился до майора, одно время состоял директором таможни в Козлове (Евпатории), активно занимался торговлей, вступил в гильдию.

Врето – один из пионеров, по сути, основателей Одессы. Как человек, располагавший средствами, он изначально получил семь мест в трех разных районах Греческого форштата, однако в итоге облюбовал и окончательно застроил сказанный угол. В.А. Чарнецкий пишет: «В 1796 году на углу Дерибасовской и Екатерининской улиц крупный негодциант Георгий Врето построил двухэтажный дом, в котором весь первый этаж был отведен под магазины. Дом этот не производил впечатление ветхого, но был снесен для постройки на его месте ресторана «Братислава»²⁷⁷. Первичное название ресторана – «Юбилейный» (1967), но это несущественно. Существенно другое: первичный дом Врето в 1844-м достраивался его наследниками, в два этажа.²⁷⁸ Сопоставление



«Блинная» – популярное заведение, находившееся на месте дома Врето до середины 1960-х.
В 1967-м тут построен ресторан «Юбилейный» («Братислава»)

городских планов 1802-1803, 1807, 1814 и 1828 гг. свидетельствует об изменении числа и масштабов построек. По крайней мере, часть архаичных построек явно была одноэтажной, но довольно высокая оценочная стоимость в 1824-м – 20.000 рублей²⁷⁹ – говорит о том, что угловое здание в ту пору было двухэтажным.

Так что Пушкин застал на оживленном перекрестке двухэтажный дом, первый этаж и подвалы которого занимали многочисленные лавки, магазины и проч., которые вполне мог посещать, поскольку обитал в Клубной гостинице, расположенной на соседнем перекрестке. Есть информация о том, какого рода заведения здесь располагались. Прежде всего, тут со времен Ришелье, Кобле, Ланжерона и на протяжении многих десятилетий традиционно функционировали салоны самых популярных, элитарных модельеров,²⁸⁰ куаферов,²⁸¹ часовщиков,²⁸² мастеров по декорированию тканей, ремонту зонтов²⁸³ и др.

Товары и услуги

О том, какие именно товары и услуги интересовали лиц из пушкинского окружения, да и самого А. С., можно узнать из писем его конфидентки В.Ф. Вяземской супругу. Княгиня Вера Федоровна как раз стремилась найти в Одессе оригинальные подарки для Павла Андреевича, домочадцев, родственников, друзей и близких знакомых. Вот хронологический перечень презентов. 13 июня 1824-го, мужу – шляпа, пара полосатых брюк, трость, книжный нож и другие мелочи. 23 июня, Марии Трубецкой – блузка и батистовые платки. 25 июня – еще блузка с поясом в подарок, разнообразные носовые платки – дюжина стандартных, три шотландских – мужу, два персидских, вышитых золотой и серебряной нитью, два вышитых воротничка. 4 июля, детям – куклы, блузки. 15 июля, мужу – табак и шесть мраморных трубок. 7 июля В. Ф. просит в случае отправления мужа в Одессу привезти два куска российского холста, поскольку здесь он вдвое дороже. 18 июля, мужу – снова трости и мелочи; при это Вяземская уточняет, что ранее посланную шляпу, как и ее собственную, хорошо сделал *французский купец мсье Bauvet*. Как тут не вспомнить



П.А. и В.Ф. Вяземские

купленную Пушкиным в Одессе шляпу из итальянской соломки. В том же письме от 18 июля Вера Федоровна пишет, что если супруг переедет сюда со всею челядью, то швея ей не потребуется, ибо она наняла таковую на месте. 25 июля, мужу – две трости, три пары изысканных подтяжек для панталон под сапоги, несколько жилетов; купила для себя булавки. 27 июля, мужу – об отправке части перечисленного в предыдущем письме плюс изготовленной из рога щетки и др. 4 августа княгиня описывает, как собака изорвала ее зонтик, причем сообщает супругу, что зонтик из китового уса на металлическом каркасе, то есть приобретение явно одесское. 5 августа В. Ф. пишет мужу о том, что привезет преискурранты, разные необходимые для домашнего хозяйства недорогие вещи и кипрское вино. 16 августа – спрашивает, получены ли три дюжины новейшего фасона английских перчаток; говорит, что ищет ножи и вилки.²⁸⁴ Графиня Е.П. Гурьева заказывает шляпки в Петербурге «у знаменитой мадам Ксавье, в свою очередь посылая ей перья и украшения, приобретенные в Одессе».²⁸⁵

Женская половина семейства Туманских не раз озадачивала Василия Ивановича покупкой в Одессе дорогих импортных тканей, платьев и проч. Туманский по мере возможностей исполнял таковые комиссии, однако сетовал, что это осложняется существующим режимом порто-франко. В самом деле, при пересылке непременно приходилось платить пошлину, а вот с оказией сию разорительную процедуру обычно удавалось обойти.²⁸⁶ Когда В. И. находился в Москве, ему тоже поручили приобрести платья, однако заказ этот он выполнил далеко не в полном объеме, поясняя, что лучше пришлет что-нибудь из Одессы, ибо «здесь (в Москве. – О. Г.) всё страшно дорого и гадко».²⁸⁷ Кроме того, Туманский покупал для родни вина²⁸⁸ и, как и Пушкин, шоколад²⁸⁹.

Из всего этого перечня видно, что состоятельные приезжие в ту пору приобретали преимущественно качественные зарубежные товары, предметы роскоши. Тот же ассортимент через посредников заказывали иногородние покупатели. Именно по этой причине в Одессе довольно рано появились так называемые «английские магазины», в которых, впрочем, предлагались изделия многих европейских стран.

* * *

Еще любопытный момент. Пользовался ли Пушкин услугами местных *модельеров, портных*? Похоже, да. Об этом косвенно свидетельствует следующий пассаж адресованного ему письма Ф.Ф. Вигеля от 8 октября 1823-го, из Кишинева: «Попросите от меня Никиту взять у портнова платье и уверить, что денег у меня теперь нет, а непременно скоро заплачу. С отъезжающими пришлите его ко мне».²⁹⁰ Как говорится, без вопросов: адресат в курсе, о каком портном идет речь и где его искать. Накануне Вигель фактически лишь проезжал через Одессу, был в ней человеком новым, неосведомленным, и Пушкин указал ему знакомого портного.

* * *

Совершенно очевидно, что Пушкин пользовался и услугами местных *куаферов* и (или) *цирюльников*. По свидетельству современников, «Волосы у него и здесь были подстрижены под гребешок или даже обриты. (Никто, впрочем, из тех, которые знали



Доходный дом Греческого училища

Пушкина в Кишиневе и в Одессе и с которыми мы имели случай говорить, не помнят его больным)».²⁹¹ Известен ряд парикмахерских и цирюлен, располагавшихся в домах Врето, Райнера, Кирико, Греческого училища с самого начала 1830-х.²⁹² Судя по всему, некоторые из них функционировали и ранее, но пока не располагаю документальными подтверждениями. Зато со всею определенностью можно говорить, что в пушкинское время они располагались в зданиях на перекрестке Екатерининской и Дерибасовской.

Книжные лавки

Отдельная тема – книжные лавки, они же частные библиотеки и магазины канцелярских товаров. Частично раскрыл ее в одной из давних публикаций.²⁹³ Насколько можно судить по дошедшей до нас информации, в пушкинское время таких заведений было два или три: купцов Юлия Коллина, Ивана Рубо и Осипа Сорона.

Относительно *Юлия (Жюля, Альфонса, Жюля-Альфонса) Коллина (Колена, Колина, Коллена)*, никаких сомнений быть не может. В газетном сообщении 1827-го сказано следующее: «Г. Колен, имевший прежде в Одессе книжную лавку, принес в дар здешнему Музею два сочинения на французском языке...».²⁹⁴ Эту информацию удастся хронологически уточнить, изучая реестры грузов, доставленных в одесский порт морем в 1823-1824 годах. Так, в ноябре 1823-го ему доставили из Франции 10 коробок вина в бутылках и ящик книг.²⁹⁵ Присутствие швейцарско-подданного Юлия Колена в Одессе фиксируется, по крайней мере, с 1820 года, когда он причислялся в одесское купечество.²⁹⁶ Синхронно в Одессе жил и его отец Марк; оба были масонами.²⁹⁸ Есть и другие сведения,²⁹⁷ однако они не касаются точного местоположения их книжной лавки, а недвижимостью семейство не владело. Можно лишь наверняка говорить о том, что она располагалась либо на Дерибасовской, либо на Ришельевской – главных пассажах той эпохи.

В ГАОО, в именном фонде графа А.Ф. Ланжерона, сохранился счет библиотеки Альфонса Коллина в Одессе («*Alphonse Collin libraire à Odessa*»), представленный графу и включающий покупки с 18 февраля 1821-го по 1 августа 1822 года. В их числе 25 листов бумаги для рисования (ватман), четыре упаковки мелкозернистого песка для подсушивания чернил, два тома французских опер.²⁹⁹ Из этого следует, что заведение Коллина было элитарным, помещалось в центре, одновременно служило библиотекой, книжной лавкой и писчебумажным магазином.

Другим книгопродавцем и приватным библиотекарем был *Жан-Батист (Иван Мартынович, Иван Маркович) Рубо*, совмещавший книготорговлю с виноторговлей и другими занятиями: в ту пору в Одессе не было четко и однозначно специализированной торговли элитарными изделиями и продуктами. О Рубо дошло не так много живых свидетельств, зато в поле зрения оказался счет, выставленный им графу Ланжерону на собственном фирменном бланке, таком живописном, таком характерном для Одессы пушкинской поры. Не могу не поклониться заведующей отделом Научной библиотеки Одесского национального университета Елене Викторовне Полевщицовой, любезно указавшей



Счет из магазина Рубо

на этот вкусный, пряный документ. Счет выписан на дорогую модную ткань, предназначенную, понятно, графине Елисавете Адольфовне Ланжерон. Уместно вспомнить замечание недоброго, иезуитски наблюдательного, однако хорошего стилиста Ф.Ф. Вигеля о том, какое место занимали щегольские дамские наряды на тогдашнем одесском олимпе и в какое разорение вводили они меркантильных отцов и мужей.

В одном из солидных дореволюционных справочников сообщается о том, что Рубо приехал в Одессу примерно в одно время с де Ришелье, в 1803-м. Это подтверждается архивными данными, причем было ему тогда всего лишь 18 лет. Лично мне пока удалось зафиксировать присутствие Рубо в городе, по крайней

мере, весной 1809-го. Сюжет этот связан с продажей с публичного торгового казенного дома, находившегося на углу нынешней улицы Бунина и Александровского проспекта, в котором квартировали штаб-офицеры. В торге приняли участие довольно известные персонажи той поры: аптекарь Христиан Шмидт, купец Кондрат Сапожников, коммерции советник Жан Рено плюс иностранец Батист Рубо. Аукцион проходил жестко, соревновательно, и победу одержал Сапожников, семейство которого тут надолго обосновалось. При этом первоначальная цена лота выросла на целую треть.³⁰⁰ Мы еще будем подробно об этом говорить, когда наш маршрут продолжится по Александровскому проспекту и Полицейской улице.

Не добившись успеха в этом конкурсе, Рубо в следующем, 1810 году, подал прошение об отводе участка под застройку – по Польской улице, занимавшего середину квартала меж Греческой и Полицейской, то есть того, что теперь примыкает с тыла к «пушкинскому дому» по Пушкинской, № 13. Просимое место он получил, устроил некое примитивное строение, а затем по каким-то причинам, надо полагать, связанным с коммерцией, надолго покинул Одессу. В конце 1816 года упомянутую «неплановую» постройку оценили и вместе с участком передали в другие руки, причем новый владелец уплатил должную сумму, каковая до возвращения Рубо хранилась в Строительном комитете. В итоге в августе 1817 года место оказалось во владении Шарля Сикара, который позднее застроил его флигелями, примыкающими к дому по Итальянской улице со стороны двора.³⁰¹

Имя Рубо снова всплывает в документах, датирующихся 1819-1820 годами. Осенью 1820-го чиновник Строительного комитета Лука Бертини докладывает градоначальнику Н.Я. Трегубову о получении выписанных из Марселя французских литер «для Одесской типографии, которые теперь привезены и находятся в карантине». При этом он представляет «реестр о покупке оных и издержках, полученный им от г-на Рубо».³⁰² Из этого следует, что Рубо выполнял соответствующее поручение во Франции и хорошо согласуется с достоверной информацией о том, что он в первой половине 1820-х занимался книготорговлей в Одессе. Преподаватель Ришельевского лицея К.П. Зеленецкий (1812-

1858), основываясь на показаниях современников, пишет: Пушкин брал книги для чтения, «имея здесь порядочный запас для этого в бывшей французской книжной лавке Рубо». На этот счет имеются любопытные публикации в ретроспективной одесской периодике.³⁰³ Рубо фигурирует и в реестре купцов, занимавшихся экспортно-импортными операциями через одесский порт в 1819-1820 годах.³⁰⁴

Второй, представленный опять-таки с подачи Е.В. Полевщиковой, автограф, от 31 января 1828 года, иллюстрирует деятельность Рубо как книготорговца. Он обращается в правление Ришельевского лицея с предложением принять на себя обязанности поставщика всех необходимых учебных пособий. Из контекста выясняется много интересных деталей: приоритет в этой отрасли, давние связи с европейскими книгопродавцами и проч.

Ранее, в марте 1823 года, Жан-Батист Рубо, уже одесский 1-й гильдии купец, пожертвовал в Комиссию Одесского городского госпиталя вполне пристойную сумму,³⁰⁵ а в дальнейшем его благотворительные взносы регулярно фиксируются по публикациям в «Одесском вестнике». В декабре того же 1824-го года Строительный комитет утверждает «план и фасад» дома, который Рубо все же построил с третьей попытки, по четной стороне Канатной улицы, посередине квартала меж Троицкой и Еврейской.³⁰⁶ В середине 1820-х он избирался гласным Городской думы, а в 1828-м ему отвели под садоводство хутор размером порядка 30 десятин, что как раз совпало с учреждением в Одессе Императорского общества сельского хозяйства Южной России, сыгравшего колоссальную роль в хозяйственном освоении региона. Затем он значительно увеличил это землевладение за Тираспольскую заставу покупкою смежного хутора графа Потоцкого, где устроил образцовое хозяйство. На поприще земледелия Рубо достиг очень серьезных результатов, но это тема отдельного обстоятельного разговора.

Автограф на счете, выставленном Ланжерону, отмечен 26 мая 1822 года. Известно, что в это время и позднее Рубо занимался преимущественно виноторговлей и книготорговлей. Представленный документ свидетельствует и о торговле модными импортными тканями в собственном «салоне новостей»

по Ришельевской улице. А.М. де Рибас пишет: «Рубо продавал вместе с книгами и французское вино». П.Т. Морозов свидетельствует о бойкости книготорговли в тот период: четыре одесских книгопродавца – Клочков, Сорон, Рубо и Миевиль – по его словам, выручали 40.000 рублей чистой прибыли. В 1830-х виноторговля, виноградарство и виноделие вышли на первый план: Жан-Батист содержал один из лучших винных погребов, в доме Тальянского, по Ришельевской. Газетные объявления фиксируют получение им вин из Бордо (между прочим, в народе их называли бурдой, хотя, конечно, отличали от «мутного питья» и неудобоваримой смеси), он реализовывал портер, эль, малороссийские наливки, ординарные вина местного и бессарабского производства и др.

Большую путаницу вносит синхронное присутствие в Одессе другого Рубо (родственника?), табачного фабриканта. Этот Рубо (Жозеф?) оборудовал здесь первое производство нюхательного табака, который не только использовался на месте, но даже вывозился на продажу за рубеж, пусть и в ограниченных количествах. Так, в 1829 году этой фабрикой отправлено на экспорт 2 пуда и 17 фунтов сего экзотического продукта.³⁰⁷ Сказанный Рубо тоже владел хутором и занимался земледелием, но, надо полагать, был старше, ушел из жизни ранее марта 1832 года, и значился не французским, а австрийским подданным.³⁰⁸ Нюхательный табак фабрики госпожи Рубо экспонировался на Одесской выставке 1837 года.³⁰⁹ Дефицит ретроспективных метрических книг одесских католиков сильно затрудняет исследования в генеалогическом направлении.

28 июля 1828 года Рубо опубликовал в «Одесском вестнике» объявление о том, что сворачивает дела по салону «новостей» (то есть мод), а кроме того, «Желающие взять его *Библиотеку*, могут получить оную также на самых выгодных кондициях».³¹⁰ Но, как видно из более поздних публикаций, библиотека оставалась за ним и в следующем году.³¹¹

Из сохранившихся запросов «Ивана Мартынова сына Рубо» 1832-го и 1835 годов о выдаче свидетельства, фиксирующего его непрерывный «стаж» в одесском 1-й гильдии купечестве, видно: он принял соответствующую присягу 14 ноября 1819-го, и с того времени состоит в 1-й гильдии.³¹²



Книжные знаки Сорона

Наконец, третий наш фигурант: *Жозеф (Осун) Петрович Сорон*, один из первых одесских книгопродавцев и частных библиотекарей, домовладелец, благотворитель, католик. В его и наследников (племянников) лавке также продавались билеты на благотворительные спектакли, общественные увеселения по подписке и др. Его кончина прослеживается по дате перехода магазина к Жану-Батисту Сорону.³¹³ Представители этого семейства, Франсуа и Жан-Батист (Иван-Батист) Сороны, исполняли обязанности правителей канцелярии французского консульства в Одессе, сотрудничали во Французском благотворительном обществе, второй был его казначеем.³¹⁴

Представители этого семейства известны в Херсоне еще с екатерининских времен, когда был учрежден торговый дом «Братья Антуан, Сорон и К^о». Марселец Антуан – Antoine Ignace D'Anthoine Baron de Saint-Joseph (1749-1826) – французский уполномоченный, который вел переговоры с российским правительством о морской торговле. Точная дата появления Соронов в Одессе мне пока неизвестна. Во всяком случае, 2 сентября 1818-го «одесский житель» (то есть уже какое-то время находившийся здесь) Франц Петрович Сорон просил об отводе места на Арнаутской слободке, а получив его, застроил буквально в 2,5 месяца.³¹⁵ Ныне эти места Сорона локализируются в середине нечетной стороны улицы Осипова, дом № 31; постройки более поздние. В пушкинское время эта недвижимость оценивалась в 10.000 рублей и давала 500 рублей ежегодного дохода.³¹⁶ Это может означать, что внаймы сдавалась лишь часть строений, а в другой части обитало само семейство.



Книжные знаки братьев Камозн

Поскольку среди одесских Соронов было два Франца,³¹⁷ не всегда можно разобраться, кто есть кто. 23 марта 1822-го в журнале заседаний ОСК упоминается письмоводитель Биржевой депутации Сарон (Сорон) вообще без указания имени.³¹⁸ В местной газете от 14 марта 1831-го сообщается о том, что губернский секретарь Франц Сорон утвержден градоначальником в качестве консультанта Одесского коммерческого суда.³¹⁹ В газетном номере от 22 августа того же года упоминается книжная лавка Осипа Сорона по Ришельевской улице, в доме Мясникова.³²⁰ Это еще раз подтверждает тот факт, что в пушкинское время книжной лавкой владел Осип, а не один из Францев. Дом Мясникова находился на углу Дерибасовской и Ришельевской улиц, и мы будем говорить о нем буквально несколькими абзацами ниже. Из контекста очерков П.Т. Морозова очевидно, что лавка Сорона помещалась в этом доме и ранее,³²¹ однако в пушкинское время она, похоже, находилась в доходном доме, принадлежавшем католической церкви, на углу Ришельевской и Полицейской³²². Этот дом был построен на месте, где прежде располагалась временная Свято-Николаевская соборная церковь.

Говоря о пребывании Поэта в Одессе, его первый биограф П.В. Анненков пишет: «К этой эпохе относится возникшее стремление Пушкина собирать книги, которое заставило его сказать так живописно, что он походит на стекольника, разоряющегося на покупку необходимых ему алмазов». В свое время я проанализировал состав сохранившейся, разумеется, не в полном объеме, пушкинской библиотеки и выделил французские и итальянские издания, предположительно приобретенные у перечисленных одесских книгопродавцев.³²³ Атрибуция некоторых представляется мне чрезвычайно убедительной: к примеру, «Исторический очерк торговли и судоходства на Черном море, или Путешествия и попытки установления торговых и морских сношений между портами Черного и Средиземного морей». Она написана упоминавшимся деловым партнером семейства Сорон, бароном Антуаном де Сен-Жозефом. Или, скажем, «Путешествие Луи-Элизабет де ла Вернь графа Трессана» – книга, гравированная Марком Коллином (!) и изданная в Париже в 1822-1823 гг. Сюда же хорошо подверстываются сочинения Шенье, Альфиери, Бокаччо, Дидро, Данте, Скотта, изданные во Франции и Италии в 1819-1823 годах. Позволю себе снова процитировать П.В. Анненкова: «Рядом с ним (Байроном. – О. Г.) стоял в эту эпоху А. Шенье, которым Пушкин восхищался почти столько же, сколько и первым...».

* * *

Вернемся, однако, к г-ну Врето. Небезынтересно, что в 1800 году он основал в своем доме первое в городе учебное заведение на 40-70 подростков, прообраз будущей коммерческой гимназии, в котором два учителя преподавали по-гречески и по-итальянски.³²⁴ При поддержке герцога Ришелье он способствовал переселению в Одессу около 300 греков из Архипелага, то есть островов Эгейского моря, служил российским генеральным консулом на родной Кифере, получил орден Святого Владимира четвертой степени, вырос в чине от коллежского асессора, что соответствовало чину армейского майора, до коллежского советника (полковника).

О недвижимости его соседей по Екатерининской – Марино, Прокопеусе и др. – мы поговорим в разделе, посвященном этой улице.

Дом Суровцева (Мясникова, Посылиных)

На другом углу этого квартала Дерибасовской (место № 69) обосновался Тульской губернии города Белева купец 3-й гильдии *Борис Никитич Суровцов (Суровцев)*, тоже одесский пионер. При самом основании города он построил две лавки на Вольном рынке (Старом базаре), одно время занимался торговлей мясом. В 1798 году за Суровцовым значатся строения, состоящие из «11-ти покоев и 3-х лавок». Эти помещения он сдавал в аренду, а сам «упражнялся в торговле питиями», был винным откупщиком в тот период,³²⁵ когда доходы от продажи питей поступали в городской бюджет. Дом и три лавки упоминаются в ведомости 1805 года как оконченные строительством,³²⁶ то есть первичные апарт-таменты в тот год как-то перестраивались. С домом на углу будущих улиц Дерибасовской и Ришельевской ситуация непростая. На планах 1802-1807 годов место четко обозначено застроенным, причем как раз угловое. Вместе с тем в целом ряде архивных документов говорится о том, что Суровцова с 1804-го года понуждают к застройке этого участка, а место отведено еще в 1795-м.³²⁷

А суть в том, что первые дома строились «без плана», по возможностям застройщиков. С открытием действий Одесского строительного комитета усилился соответствующий контроль, в особенности над постройками в самом центре. Суровцов не располагал необходимым капиталом для устройства регламентированного строения, а потому в течение без малого десятилетия оттягивал реконструкцию. Ему долго шли навстречу, проявляя снисхождение. Правда, еще накануне карантина 1812 года место решили продать другому лицу, но чума внесла свои коррективы. Наконец, терпение властей лопнуло, и 31 мая 1813 года Комитет постановил, что если Суровцов не начнет строительство со 2-го по 9-е июня, то место отберут категорически.

Строить начали, но в этот момент Борис Никитич преставился. Его супруга Наталия Ивановна и сын Никита от продолжения отказались, начатая постройка и место были проданы состоятельному одесскому 1-й гильдии купцу *Семену Семеновичу Мясникову*.³²⁸ Он занимался оптовой торговлей лесом, владел винным погребом, был одним из комиссаров в ходе ликвидации чумной эпидемии 1812 года, попечителем Соборной церкви. За вдовой

Суровцова и его сыновьями Никитой, Яковом и Федором в 1815-м узаконили две лавки на Старом базаре.

Амбициозный Мясников хотел в один теплый сезон 1814 года застроить более половины квартала, от Ришельевской улицы в направлении Екатерининской. При этом он указывает меру длины по Дерибасовской (Мясников называет ее еще по-старому, Гимназская) улице – 32 сажени. Архитектор *Франческо Фраполли* – он владел соседним местом № 71, меж Мясниковым и Вре-то, – справедливо заметил ему, что, по данной от Строительного комитета инструкции не может составить план на такое количество земли.³²⁹ Это и понятно, ибо мера каждого из четырех мест в квартале составляла 15 саженей, то есть указанная потенциальным застройщиком длина на две сажени превышала суммарную меру двух мест. Вот тут и становится очевидным, по какому поводу впоследствии развернулась затяжная территориальная война, каковую вела с Мясниковым вдова Фраполли Мария-Аделаида.

Откуда взялось сказанное превышение нормативов? Клубок событий плотен, но распутать можно. Дело в том, что смежное место № 70 в мае-июне 1814 года *по частям* приобрела жена Мясникова Варвара Гавриловна. Одну из этих частей, размерами 20 на 9 саженей продал ей бывший городской голова *Иван Иванович Кафажи* (*Кафажей*, *Кафаджи*), другую, 20 на семь с половиной саженей, ему же доверил продать Мясниковой херсонский купец *Григорий Афанасьевич Автомонов*, соответственно за семь и пять тысяч рублей ассигнациями. Таким образом, по купчим суммарная длина места № 70 составляет 16,5 саженей вместо положенных 15-ти!

Дом со службами на месте № 69 был окончен Мясниковым в марте 1815-го.³³⁰ Но отмотаем чуть назад. Как активный предприниматель итальянский зодчий Франческо Фраполли оставил своей семье приличное состояние, в том числе дом по Дерибасовской, № 13-й по современной нумерации. Симпатично, что название расположенного здесь ныне отеля «Фраполли» сохраняет память о первом городском архитекторе и его семействе. Впрочем, вызывает недоумение дата, обозначенная на воротах, – 1805. На самом деле первичная постройка была готова уже в феврале 1804 года – это недвусмысленно прописано в документах Одесского строительного комитета.³³¹ Что до сооружения ныне существующего здания, оно осуществлялось

Марией-Аделаидой в 1828-м. История застройки этого принадлежащего семейству места, как мы видели, не только несколько сумбурна и растянута во времени, но и насчитывает немало любопытных персонажей ранней биографии Одессы, в целом иллюстрирует обстоятельства первого этапа градостроительства.³³² В интересующее нас время (1824) дом Фраполли был оценен в 12.000 рублей,³³³ то есть постройки солидные, качественные, но еще одноэтажные.

Мы располагаем еще любопытнейшим архивным свидетельством авторитетных старожилов Федора Флогаити, Антона Феогности, Ивана Дедоменика и Лариона Портнова о ранней застройке этого квартала. Патриархи сообщают о том, «что где ныне состоит дом одесского купца Семена Мясникова и господина коллежского советника и кавалера Врета, места сии заняты прежними владельцами оных прежде выстроения дому титулярным советником Францем Фраполлием, ибо то гораздо позже застроено, как сказано выше сего, владельцами, а в то время, когда они были выстроены, Фраполли дома было пустопорожнее место...».³³⁴

То есть, как мы говорили, вперед застраивались угловые участки. В наше время оба места, недолго принадлежавших Мясниковым, а затем купеческому семейству из города Шуя, основателям и владельцам крупного машинопрядильного производства *Поси-линых (Посылиных)*, № 69-70 в IX квартале Военного форштата, носят общий № 11 по Дерибасовской улице – это здание Государственного банка, построенное на месте первичного дома. Соответственно дом Фраполли (Марини, затем Сепича), бывший № 71, это нынешний № 13, а Врето, № 72, – дом № 15.

Подводя итоги, скажем, что в первой половине 1820-х строения по Дерибасовской в этом квартале были довольно хорошими, опрятными, однако преимущественно одноэтажными.

Дом Греческого училища

Открылось в 1817-м. Детище мощной одесской греческой общины, каковой и финансировалось. В активе – то обстоятельство, что мы хорошо знаем, как выглядело это строение в 1820-х, в пассиве (хотя в контексте наших интересов это и не столь важ-



Улица Дерибасовская. Справа – дом Греческого училища

но) – кто его возводил. Из сохранившегося архивного дела 1847 года под заголовком «По прошению попечителей Одесского греческого коммерческого училища об утверждении фасада на построение дома» видно: недвижимость в IV квартале на местах № 23 и 24 досталась общине по купчей крепости, совершенной в Херсонской палате гражданского суда 9 июня 1817 года. Однако не указано, у кого именно она куплена. В том же деле сообщается следующее: «По журналу инженерной команды отмечены за секунд-майором Кирьяковым, коему выдан из оной открытый лист 19 августа 1794 г.».³³⁵ Информация о первичном отводе указанных мест Кирьякову подтверждается соответствующей ведомостью,³³⁶ однако невозможно с уверенностью говорить о том, что застройщиком был именно он. Некоторые нюансы, о которых речь пойдет ниже, несколько укрепляют наши сомнения. Впрочем, наверняка сказать трудно.

IV квартал ограничен улицами Дерибасовской, Екатерининской, Ланжероновской и Ришельевской. Места № 23 и 24 составляют половину длины квартала по Дерибасовской (ныне – участок дома № 14) и столько же по Екатерининской (ныне – участок

дома № 17). Застройка здесь, как и на соседних местах, началась рано, она довольно крупная и плотная. Длинные дворовые флигеля – явно магазины (амбары) при фасадных жилых домах, что отчетливо просматривается на ранних планах города (1802-1814). Крупная достройка 1847-го (позднее были и другие) на месте № 23 – доходный дом. Само по себе Греческое училище никогда и не требовало столь обширных площадей. Суть дела заключалась в том, чтобы на его содержание получать прибыль от аренды помещений в принадлежавших ему доходных домах, которые в этом смысле функционировали энергично и эффективно.

Виденный Пушкиным угловой дом – добротное здание в полтора этажа, на высоком цоколе, причем цокольный этаж снабжен окнами. Как видно из ряда сохранившихся ретроспективных изображений, он очень похож на левый фасадный флигель дома Жана Рено, о котором мы скоро будем говорить. В обоих случаях главный вход в бельэтаж снабжен массивной каменной лестницей, обрамленной перилами и снабженной навесом. Здесь, как и в расположенном напротив доме Врето, где, по стечению обстоятельств, находилось первое, фактически тоже греческое училище, помещения традиционно арендовали куаферы и часовщики.

Дом Поджио

Виктор Яковлевич (Витторио Амадео) Поджио – уроженец Пьемонта в Северной Италии, католик. В российскую службу вступил в 1770-х годах по протекции Иосифа (Хосе) де Рибаса, причем изначально по медицинской части (подлекарь). Участвовал в русско-турецких кампаниях 1787-1791 годов в качестве волонтера. Особо отличился под Измаилом, и за храбрость был произведен в секунд-майоры. В 1796 году вышел в отставку, посвятив себя градостроительству и обустройству институций местного самоуправления Одессы. В 1797 году избран в городской магистрат. Занимался подрядами по поставке камня и первыми крупнейшими градостроительными проектами: сооружением Городского театра и Городского госпиталя. Владелец одного из первых и лучших домостроений на легендарном перекрестке Дерибасовской



Ришельевская улица. Слева – дом Поджио (Кирико, Новикова)

и Ришельевской (впоследствии – дом Кирико, а далее – Новикова), в котором останавливался *А.В. Суворов*, и загородного хутора. *Отец декабристов Иосифа (1792-1848) и Александра (1798-1873) Поджио*. Скончался 29 августа 1812 года, возможно, от чумы. Жена: Магдалина Осиповна Даде, умерла в 1842 году.³³⁷

Поджио – один из немногих первопроходцев, получивших участки под застройку в августе-сентябре 1794-го, которые выполнили свою задачу. Он не только выполнил ее, но и перевыполнил: возведенный им на углу Дерибасовской (ныне тут дом № 12) и Ришельевской (ныне – дом № 4) улиц обширный двухэтажный дом был лучшим из лучших в юной Одессе. Постройки по периметру охватывали места № 21 и 22 в IV квартале Военного форшта-та,³³⁸ въездные ворота располагались со стороны Ришельевской, что видно из ряда синхронных планов. Ссылаясь на ряд источников, В.А. Чарнецкий склоняется к мнению, что Поджио построил дом даже ранее первой официальной раздачи мест, и квиток на отвод выдан ему задним числом.³³⁹ Это вполне вероятно, если учесть, что территория фактически находилась в российском



Иосиф Викторович Поджио



Александр Викторович Поджио

управлении с осени 1789-го, и в 1793-м здесь уже было построено несколько домов русскими купцами.³⁴⁰

Дом Поджио был настолько хорош, что арендовался городом «для приезжающих господ генералитетов под квартирование». Так, 7 октября 1800-го городской голова Иван Кафажи нанял его для этой цели на полгода за колоссальную по тем временам сумму 750 рублей.³⁴¹ Принято считать, что *герцог Ришелье* тотчас по приезде в Одессу остановился в смежном доме, о котором мы еще поговорим, но это не так. Первое время для него нанимался как раз дом Поджио, из расчета 600 рублей в полугодие за фасадные строения и по 35 рублей в месяц за флигель, причем расчеты велись с его супругой Магдалиной.³⁴²

После кончины Виктора Яковлевича дом достался его вдове и сыновьям. Любопытный сюжет. Иосиф Викторович Поджио был женат на представительнице известного рода Бороздиных, также связанного с Одессой, Марии Андреевне. Эта супруга, шантажируемая собственным отцом, не суме-

ла последовать за декабристом в Сибирь, вынуждена была получить официальный развод (злые языки, впрочем, утверждали,

что она сама отказалась от мужа, как и ее сестра, бывшая замужем за декабристом Лихаревым), и впоследствии вышла замуж за князя А.И. Гагарина, лучшего из адъютантов графа Воронцова. Уже после ее кончины Гагарин женился вторично на юной красавице, княжне Анастасии Давидовне Орбелиани, но вскоре его, безоружного, в собственной резиденции (он был тогда генерал-губернатором в Кутаиси) смертельно ранил князь Дадешкелиани, но это особый разговор.

В 1821-1823 годах чиновник довольно высокого ранга, статский, а затем *действительный статский советник* Лука (вероятно, Лучиано) Григорьевич де Кирико стал энергично приобретать в Одессе недвижимость (здания и сооружения, садовые участки и землю), в том числе купил у наследников и интересующий нас дом. В 1824 году оценка этого дома составляла 80.000 руб., а прибыли он давал ежегодно 5.000 руб. Это один из самых высоких показателей в Одессе тех времен. Для сравнения: другой престижный дом, приобретенный де Кирико у купца Е.Д. Ралли (который ранее купил его у капитан-лейтенанта Г.Е. Коронелли), представителя известного греческого семейства, в 1822 году, оценен лишь в 15.000 руб., правда, доходность его выше – 1.500 руб.,³⁴³ то есть 10% от оценочной стоимости (он располагался на Приморском бульваре). Это очень хорошие показатели, ибо лишь единичные помещения в городе приносили большую прибыль, да и то лишь хлебные магазины (амбары) за единственным исключением обширного доходного дома майора Андрея Буги, по той же Ришельевской улице.

Даже четверть века спустя дом Кирико, бывший Поджио, оставался одной из самых дорогих частных одесских построек. Он, скажем, оценен в три с лишним раза дороже, нежели сохранившийся по сию пору дом Прокопеуса («Два Карла»). Дом Кирико стоил больше, чем два дома богатейшего откупщика Маразли-старшего по Итальянской улице вместе взятые. В начале 1830-х дом принадлежал уже наследникам Кирико, судя по всему, его супруге, «Елене Антоновне дочери де Кирико». О Констанции де Кирико в ироническом контексте упоминает В.И. Туманский. Надо все же полагать, что он ошибся с именем, и говорит не о дочери, а о матери, Елене; дочери учились в Одесском институте благородных девиц и были вполне цивилизованны.

«Находившийся долго в Бухаресте генеральным консулом действительный статский советник Лука Григорьевич Кирико, армяно-католик, был просто человек необразованный и корыстолюбивый, – пишет желчный Ф.Ф. Вигель. – Жена же его, смолоду красotka, всегда в обществе изумляла его совершенным неведением приличий, какую-то простодушною, детски-откровенною неблагопристойностию в речах и действиях. Она мыслила вслух, никогда не смеялась, зато всех морила со смеху своими рассказами. Худенькая, живая, огненная, беда, бывало, если кто ее раздражит; несмотря на то, мистификациям с ней конца не было. Из анекдотов об ней составила бы книжица, но кто бы взялся ее написать и какая цензура пропустила бы ее? Я позволю себе привести здесь два или три примера ее наивного бесчинства. Описывая счастливую жизнь, которую вела она среди валахских бояр, говорила она мне, как и многим другим: «Все они были от меня без памяти, а как эти люди не умеют изъясняться в любви иначе как подарками, то и засыпали меня жемчугом, алмазами, шаями. Как же мне было не чувствовать к ним благодарности? Иным скрепя сердце оказывала ее; с другими же, которые мне более нравились, признаюсь, предавалась ей с восторгом». Раз поутру у Собаньской сидели мы с Паленом; вдруг входит мадам Кирико, объявляет, что намерена провести тут целый день и для того привезла с собою рукоделье. Живость разговора не позволила сперва заметить, в чем оно состояло; когда же Собаньская на столе увидела малиновое бархатное мужское исподнее платье, то почти с ужасом вскрикнула: что это такое, моя милая? «Да так, – отвечала она, – вы знаете, какой мерзкой скряга у меня муж; с трудом могла у него выпросить эту вещь; хочу ее здесь распороть и выкроить из нее шпинцеры для дочерей». С трудом могли ее уверить, что это уже слишком бесцеремонно. Из этого можно посудить о прочих поступках сей нарядной, даже превосходительной шутихи, которая, впрочем, кое-как выучилась по-французски и давала у себя иногда вечера. Две миленькие скромные дочки ее, Констанция и Валерия, перестали уже краснеть от ее слов, а показывали вид, будто их не слышат. Вообще служила она публичным увеселением, но Собаньская как-то особенно умела ею овладеть».

Полагаю, насчет необразованности Л.Г. Кирико Вигель перегибает. Возможно, он имеет в виду некоторую неотесанность человека, на протяжении многих лет находившегося в обстоятельствах, скажем так, недоцивилизованности. Сохранилась его обширная дипломатическая переписка 1800-1810-х – с А.Я. Итальянским, А.А. Жерве, И.Ф. Болкуновым, Ф.И. Недобой, Н.П. Румянцевым, которая вовсе не свидетельствует о его необразованности. Что до алчности, тут пока нечего возразить по существу.

С самых ранних эпох существования Одессы в верхнем этаже дома Кирико располагались элитарные увеселительные заведения: сначала коммерческое казино итальянца Луиджи Лемме, а затем знаменитая ресторация Маттео, славившаяся, опять-таки, итальянской кухней. Редкий мемуарист не упоминает об этом заведении: о нем повествуют известные некогда бытописатели Болеслав Маркевич, Осип Чижевич, Константин Скальковский, несколько представителей семейства де Рибас и др. В ресторане Маттео, между прочим, давали обед Н.В. Гоголю во второй его одесский визит, в 1851 году. На этой вечеринке присутствовал цвет «умственной Одессы»: Лев Сергеевич Пушкин – младший брат поэта, служивший тогда в местной портовой таможне, Николай Григорьевич Тройницкий – выпускник Ришельевского лицея, редактор «Одесского вестника», выдающийся общественный деятель, литератор, Николай Петрович Ильин – директор русской драматической труппы в Одессе (безоружным зарублен в Кутаиси, когда пытался защитить генерал-губернатора князя Гагарина – смотри выше). Совершенно очевидно, что обитавший в 1823-1824 годах в находившемся на противоположной стороне улицы доме Рено (бывшем князя Г.С. Волконского) А.С. Пушкин не мог не посещать упомянутое коммерческое казино. Это еще несколько «мемориальных симптомов».

Согласно архивным документам, 30 декабря 1832 года «торгующий в Одессе по свидетельству купца 3-й гильдии иностранец Франциско Синьорини» просил разрешить ему открыть гостиницу в первой части города, в первом квартале, при доме генерала Кирико. Вспоминая свой приезд в Одессу в июне 1828

года, «Геродот Новороссийского края» Аполлон Скальковский пишет: «Вся эта публика (собравшаяся возле Городского театра до начала спектакля. – О. Г.) кушала мороженое, приготовляемое тогда стариком Синьорини, вызванным, как говорят, самим адмиралом де Рибасом из «Толедских кондитерских» в Неаполе».

В 1830-х годах помимо высококлассных увеселительных заведений, включая кафе-кондитерские, в доме де Кирико помещались лучшие салоны мод, парикмахерские, часовые, ювелирные, оптические мастерские, музыкальные, оружейные, табачные и так называемые «Английские магазины». При этом традиционно наблюдается некоторый уклон как бы в «мужской набор спроса». Тут, например, работали наиболее востребованные в Одессе мужские портные, французы Лангле и Мишель, преемники прославившегося здесь еще ранее Тессье, а также греческий закройщик Ахилл Приор. Впрочем, параллельно функционировал и популярный дамский салон французской модистки Битру. Повидимому, именно здесь находился «музыкальный магазин», о котором упоминается в заседании Строительного комитета 10 мая 1821 года: здесь немалою ценою покупали «разные ноты для вокальной и инструментальной музыки» Сиротскому дому.³⁴⁴

Здесь трудился лучший ювелир времен Воронцова – Розегутти (Розегутта), великолепные изделия которого демонстрировались на первой одесской художественно-промышленной выставке 1837 года, приуроченной к визиту императора Николая I. Тут же занимался исполнением частных заказов механик Ришельевского лицея Карл Эдвард Фальк, впоследствии устроивший первый местный частный чугунно-литейный завод, и немецкий же оптик Штейнгардт, в дальнейшем служивший в Императорском Новороссийском университете. Довольно долго в доме Кирико процветала знаменитая кондитерская Адольфа Замбрини (он славился, кроме всего прочего, как искусный фехтовальщик), собиравшая самую изысканную публику, а на смену ей пришло аналогичное заведение Шаца, но уже с немецким уклоном. Любопытно, что много лет спустя, когда владельцем расположенного уже в Пале-Рояле кафе был Евгений Замбрини, его посещал А.П. Чехов.

Еще с тех времен, когда дом принадлежал наследникам Поджио, здесь располагался лучший в городе «Английский магазин», принадлежавший авторитетному негодянту и общественному деятелю Кортацци. В 1817 году он взял на службу приглянувшегося ему 16-летнего паренька, выходца из Вюртемберга, Вильгельма Вагнера. Юноша оправдал его надежды исключительным трудолюбием, честностью, сметкой, доброжелательностью, и 1 марта 1833 года, будучи старшим приказчиком, получил этот бизнес в свои руки: семейство Кортацци к этому времени занималось крупными внешнеторговыми операциями, и магазин уже не представлял для них прежнего интереса. Компаньоном Вагнера стал представитель известной греческой купеческой фамилии Михаил Петрококино, но довольно скоро они мирно разошлись, причем каждый сумел отлично реализоваться.

Следует уточнить, что же собой представлял «Английский магазин». Собственно говоря, это был салон роскошных, престижных, качественных зарубежных товаров. Перефразируя Пушкина: всё, чем для прихоти обильной торгует Лондон щепетильный. Прежде всего, блистательная английская посуда от Веджвуда, лампы, плафоны, столовое белье и серебро, мелкая пластика, галантерея, оптика, мебель и т. д. и т. п. Это вовсе не означает, что там не могли реализовывать богемский хрусталь, саксонские сервизы, китайский фарфор, позднее в ход пошли немецкие швейные машинки, канцелярские товары, велосипеды, французские кофемолки, папильотки, щипцы для завивания волос, эстампы, люстры, итальянское стекло и др.

Многие годы магазин Вагнера располагался в доме Кирико, а осенью 1865 года перешел в бывшие лицейские помещения, что в соседнем квартале по Дерибасовской. Произошло это через несколько лет после того, как Вагнер в 1858 году обменял принадлежавшую ему гостиницу «Европейская», примыкавшую к Городскому саду со стороны Преображенской, на комплекс старых строений Ришельевского лицея. С тех пор они и получили название «Дом Вагнера», там стремительно сформировался масштабный торгово-развлекательный городок, как бы наследовавший одряхлевшему Пале-Роялю. Но это отдельный сюжет.

В.А. Чарнецкий пишет: «В пушкинское время в этом доме была резиденция дуайена дипломатического корпуса в Одессе, *английского консула Джемса Эмсса*». ³⁴⁵ Речь тут идет о *Джеймсе (Якове Андреевиче) Емсе* (в русской огласовке встречаются разночтения: Иемс, Ямс, Ямес, Эймс, Эмсс, Жамес, Джемс), который унаследовал должность умершего 16 января 1819-го отца – Генри Сэвэджа (Гейнриха Сэмюэля) Емса, к слову, масона. Продолжительное время наряду с консульской службой Емс занимался масштабными внешнеторговыми операциями, состоял в гильдии. Фирма «Land-er and Yeames» часто упоминается как грузополучатель и грузоотправитель в сообщениях «Journal d'Odessa» за 1824-й и другие годы. Не был чужд благотворительности. Его супруга Елисавета Васильевна Емс состояла в Женском обществе призрения бедных до начала Крымской войны, была домовладелицей. В тот же период вице-консулами в Таганроге служили Александр (шведским и норвежским), Вильям (английским) и Генрих (испанским) Емс. ³⁴⁶

Согласитесь, любопытное соседство: Пушкин жил напротив резиденции Емса, в Клубной гостинице. Емсы – не какие-нибудь чопорные британские дипломаты, а расчетливые купцы, исполнявшие консульские функции. Младший провел в Одессе всю сознательную жизнь, начиная с 1798 года, насквозь пропитался ее коммерческим духом. Разумеется, он не мог не посещать регулярно Клубный дом, где помещались Биржевая зала, коммерческое казино, ресторация Отона при гостинице – то были центральные в городе места торговых и политических новостей, традиционные собрания деловых людей: негоциантов, маклеров, навигаторов и т. д. Трудно вообразить, что пути Емса и Пушкина не пересекались на таком крохотном пятачке.

Примечания

²⁷⁶ Записки Одесского общества истории и древностей. Т. III. – Одесса, 1853, с. 591

²⁷⁷ В.А. Чарнецкий. Древних стен негласное звучанье. – Одесса: «Друк», 2001, с. 28

²⁷⁸ ГАОО, ф. 59, оп. 2, д. 693, л. 1, 2, 3.

²⁷⁹ Там же, ф. 4, оп. 1А, д. 215, № 93.

- ²⁸⁰ Одесский вестник, 1833, № 29, 82; Новороссийский календарь на 1837 г., с. 163.
- ²⁸¹ Одесский вестник, 1831, 13, 16, 23 мая, № 38, 39, 41.
- ²⁸² Одесский вестник, 1829, 2, 23 февраля, № 10, 16; Новороссийский календарь на 1837 г., с. 166.
- ²⁸³ Одесский вестник, 1828, 27 октября, 29 декабря, № 86, 103-104.
- ²⁸⁴ Остафьевский архив князей Вяземских. Т. V. Вып. 2. – Письма В.Ф. Вяземской П.А. Вяземскому за 1824 г.
- ²⁸⁵ Антония Глассе. Пушкинская Одесса в письмах графини Е.П. Гурьевой. Новые материалы. – Санкт-Петербург – Итака, Нью-Йорк, 1995.
- ²⁸⁶ В.И. Туманский. Стихотворения и письма. – СПб., 1912, с. 266, 308.
- ²⁸⁷ Там же, с. 278.
- ²⁸⁸ Там же, с. 298.
- ²⁸⁹ Там же, с. 300.
- ²⁹⁰ Неизданные письма к Пушкину II. Публикации Л. Гарского, В. Нечаевой, Д. Якубовича. – М.: Журнально-газетное объединение, 1934, с. 607–616; Литературное наследство. Т. 16/18.
- ²⁹¹ К.П. Зеленецкий. Сведения о пребывании Пушкина в Кишиневе и Одессе. – Москвитянин, 1854. – № 9, Смесь, с. 7-10.
- ²⁹² Одесский вестник, 1831, 13, 16, 23 мая, № 38, 39, 41 и др.
- ²⁹³ Олег Губарь. Пушкин. Театр. Одесса. – Одесса: ВТПО «Киноцентр», 1993, с. 70-76.
- ²⁹⁴ Одесский вестник, 1827, № 33.
- ²⁹⁵ Journal d'Odessa, 1823, 24 novembre, № 3.
- ²⁹⁶ ГАОО, ф. 4, оп. 1А, д. 508 (дело утрачено, но его название вполне информативно); Там же, ф. 17, оп. 3, д. 706.
- ²⁹⁷ А.И. Серков. Русское масонство: 1731-2000. Энциклопедический словарь. – М: РОССПЭН, 2001, с. 409.
- ²⁹⁸ Journal d'Odessa, 1824, 12, 17 novembre, № 129, 131.
- ²⁹⁹ ГАОО, д. 627, оп. 1, д. 1, л. 25.
- ³⁰⁰ Там же, ф. 2, оп. 5, д. 259, л. 306 и др.
- ³⁰¹ Там же, ф. 2, оп. 5, д. 262, л. 331; Там же, д. 273, л. 11; Там же, ф. 59, оп. 1, д. 114, л. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 253, 254, 255-256.
- ³⁰² Там же, ф. 2, оп. 5, д. 278, л. 337 об. – 338, 364.
- ³⁰³ Одесский вестник, 1856, № 113.
- ³⁰⁴ ГАОО, ф. 2, оп. 11, д. 1, л. 47 об., 50 об.
- ³⁰⁵ Там же, ф. 2, оп. 5, д. 283, л. 235.
- ³⁰⁶ Там же, д. 16, л. 6 об.

- 307 Одесский вестник, 1830, № 8-9.
- 308 ГАОО, ф. 59, оп. 3, д. 185. – 3 л. (дело утрачено, но его название весьма информативно); Там же, д. 336. – 6 л.
- 309 Первая одесская выставка. – Б. м., 1837, с. 17.
- 310 Одесский вестник, 1828, 28 июля, № 60.
- 311 Там же, 1829, 18 (30) мая, № 40.
- 312 ГАОО, ф. 4, оп. 8, д. 561, л. 2, 11
- 313 Одесский вестник, 1841, 9 апреля, № 29.
- 314 Первые кладбища Одессы. – Одесса, 2012, с. 326, 461-462.
- 315 ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 274, л. 266-267, 480; Там же, ф. 59, оп. 1, д. 127, л. 715, 716, 717, 718.
- 316 Там же, ф. 4, оп. 1А, д. 133, ч. 2, № 601; Там же, д. 215, ч. 2, № 62.
- 317 Там же, ф. 18, оп. 3, д. 7, л. 59-60.
- 318 Там же, ф. 2, оп. 5, д. 281, л. 220.
- 319 Одесский вестник, 1831, 14 марта, № 21.
- 320 Там же, 22 августа, № 67.
- 321 П.Т. Морозов. Одесса в 1830 году. – В сб.: Одесский альманах на 1831 год. – Одесса, 1831; П. Морозов. Праздники Рождества Христова и Новый год в Одессе. – В сб.: Подарок бедным. Альманах на 1834-й год, изданный Новороссийским женским обществом призрения бедных. – Одесса, 1834, с. 99.
- 322 Одесский вестник, 1827, № 50.
- 323 Олег Губарь. Пушкин. Театр. Одесса. – Одесса: ВТПО «Киноцентр», 1993, с. 70-76.
- 324 Смольянинов К.Н. История Одессы. – Одесса, 1853, с. 139.
- 325 А. Орлов. Исторический очерк Одессы с 1794 по 1803 год. – Одесса, 1885, с. 138.
- 326 ГАОО, ф. 59, оп. 2, д. 13, л. 42-43.
- 327 Там же, ф. 2, оп. 5, д. 264, л. 117; Там же, д. 265, л. 285.
- 328 Там же, ф. 59, оп. 1, д. 75, л. 422-425; Там же, ф. 2, оп. 5, д. 266, л. 3.
- 329 Там же, ф. 59, оп. 1, д. 80, л. 100.
- 330 Там же, д. 88, л. 75, 76.
- 331 Там же, д. 4, л. 8-10.
- 332 Олег Губарь. Автографы Одессы. – Одесса: АО «ПЛАСКЕ», 2012, с. 390-398.
- 333 ГАОО, ф. 4, оп. 1А, д. 215, № 92.
- 334 Там же, ф. 59, оп. 1, д. 174, л. 34.
- 335 Там же, оп. 2, д. 1092. – 3 л.
- 336 Записки Одесского общества истории и древностей. Т. III. – Одесса, 1853, с. 591.

- ³³⁷ Первые кладбища Одессы. – Одесса, 2012, с. 302.
- ³³⁸ Записки Одесского общества истории и древностей. Т. III. – Одесса, 1853, с. 591.
- ³³⁹ В.А. Чарнецкий. Древних стен негласное звучанье. – Одесса: «Друк», 2001, с. 27.
- ³⁴⁰ Одесский вестник, 1889, 21 августа (2 сентября), № 222.
- ³⁴¹ ГАОО, ф. 4, оп. 1А, д. 2А, л. 41.
- ³⁴² Там же, ф. 2, оп. 5, д. 257, л. 37 об.
- ³⁴³ ГАОО, ф. 4, оп. 1А, д. 215, л. 8-14, № 96, 114.
- ³⁴⁴ Там же, ф. 2, оп. 5, д. 279, л. 405-406.
- ³⁴⁵ В.А. Чарнецкий. Древних стен негласное звучанье. – Одесса: «Друк», 2001, с. 27.
- ³⁴⁶ Первые кладбища Одессы. – Одесса, 2012, с. 307.



Андрей Добролюбский

Археологические очертания Джинестры

«...и таинственная Джинестра
явила свой лик из мрака столетий».
Олег Губарь

Археологическое открытие Джинестры произошло как-то постепенно, буднично, неторопливо и почти незаметно. И совершенно непреднамеренно. Многие находки были сделаны в разное время, разными людьми и при разных и случайных обстоятельствах. Поэтому попытка упорядочить все имеющиеся о Джинестре скромные остатки и свидетельства ее былого материального существования может показаться вполне уместной.

В конце 1990-х гг. при зачистке бастаионов крепости Хаджибей (1765-89 гг.) были найдены несколько фрагментов так называемой «красно-желто-ленточной» керамики. Среди них обращал на себя внимание обломок стенки со своеобразным волнообразным гребенчатым орнаментом. Тесто без особых включений, светло-коричневого цвета с оранжевым оттенком. Также выделялась массивная ручка красноглиняного сосуда. В месте ее прикрепления к прямой, в профиле, стенке оставшаяся глина не разглажена, а сформована в валики у краев прилепа. Сосуд покрыт светлым ангобом. На поверхности имеются следы заглаживания каким-то инструментом. Такая посуда уверенно датируется рубежом XIII-XIV вв. Сказанное позволяло думать, что здесь тогда находилось небольшое поселение, культурные напластования которого, видимо, были уничтожены в ходе строительства Хаджибейского

замка*. Такой приморский пункт на берегах нынешнего Одесского залива на итальянских румбовых (компасных) картах и портоланах (*итал.*: portolano – лоция) XIV-XV вв. именуется Джинестрой.

Тогда же, при шурфовке Хаджибейского посада в Карантинной балке, на склонах под Городской думой и в парке им. Т.Г. Шевченко (Александровском), в районе Пороховой и Сторожевой башен – нынешнего «Подворья Джинестры» – было найдено более двух десятков фрагментов керамики, которую с немалой вероятностью можно было бы относить к XIV-XV вв., то есть ко времени существования Джинестры. Впрочем, датировки и определения многих категорий и типов средневековой посуды Северного Причерноморья пока остаются не слишком внятными и уверенными. Профессиональные археологи, не говоря уже о краеведах, часто путают XV век с XVI-XVIII и даже с XIX веками и порой насмешливо называют такую посуду «культурой бабы Горпыны».

В последние годы (2013-2016) автор этих строк со товарищи занимается поисковыми археологическими осмотрами и обследованиями мыса и пляжа Ланжерон в районе дельфинария «Немо», его набережной и других увеселительных заведений, а также склонов Приморского бульвара, на месте создающихся «Стамбульского» и «Греческого» парков**. Это делается с целью выявить, собрать и, по возможности, зафиксировать имевшиеся здесь археологические остатки перед их окончательным уничтожением повсеместными строительными работами, ведущимися на этих участках.

Мы вовсе не уповали найти именно Джинестру, хотя эти осмотры велись не совсем вслепую. Можно было надеяться найти прямо здесь, на склонах, хоть какие-то переотложенные остатки средневекового культурного слоя, сохраняющегося, по нашему предварительному убеждению, на плато Приморского бульвара. Этот слой разрушался не только всем известными оползнями в XIX в.,

* Добролюбский А.О., Губарь О.И., Красножон А.В., Борисфен. Хаджибей. Одесса. – Одесса-Кишинев, 2002, с. 153-154, рис. 9.1, 11.1.

** Добролюбский А.О., Пикановская Л.В. Археология дачи Ланжерона // Дерибасовская – Ришельевская. Одесский альманах. Кн. 59. – Одесса, 2014, с. 22-25; Они же: Археологические поиски в песках Ланжерона // Дерибасовская – Ришельевская. Одесский альманах. Кн. 63. – Одесса, 2015, с. 43-50.

но и тогдашним интенсивным строительством. Так, арки справа и слева от Бульварной (Потемкинской) лестницы засыпались не менее четырех лет, с 1867-го по 1871-й, причем после 71-го – уже без санкций городского общественного управления, втихую. Грунт доставлялся домовладельцами – строительный мусор, выборки из котлованов под здания и проч. Это было им выгодно, поскольку укорачивало маршрут до свалки. Отсыпки делались, во-первых, чтобы пригрузить склон, снизить вероятность подвижек бровки плато, во-вторых, устроить общественные сады, что и было реализовано. В свое время склоны передавались в пользование хозяевам смежных домов по бульвару (консультация О.И. Губаря).

Наши чаяния оправдались. Среди собранных материалов имеются фрагменты не слишком выразительной, а потому трудно определяемой красно- и желтоглиняной неполивной керамики, которая, по предварительным оценкам, датируется достаточно широко – X-XV вв. Она условно именуется «керамикой византийского круга», которая включает «трапезундскую группу», а также посуду из Юго-западного и Юго-восточного Крыма (консультации С.Б. Буйских и И.В. Волкова). Между тем обнаружили и внятно датируемые экземпляры – это осколок импортного расписного глазурированного (так наз. «люстрового») сосуда иранского производства середины XIV в., а также несколько десятков обломков золотоордынской керамики первой половины того же столетия. Среди них – окатанные в море, но отчетливо определяемые фрагменты мисок, тарелок и кувшинов с желтой, зеленой, бирюзовой и коричневой поливой, часто на ангобной (*фр.*: engobe – покрытие из жидкой глины) подгрунтовке. Встречены и остатки так наз. кашинной керамики (изготовленной из смеси песка с известью). Сходная посуда известна на многих памятниках XIV в. в Причерноморье и уверенно относится к «золотой эре» Золотой Орды – ко временам правления ханов Узбека, Джанибека и Бердибека, вплоть до чумной пандемии 1346-49 г. и «Великой зяматни» (с 1359 г.)^{*}.

Площадь распространения находок – часть плато и склоны Приморского бульвара, а также устье Карантинной балки – позво-

^{*} Добролюбский А., Пикановская Л. Археология Джинестры // Всемирные одесские новости, № 2 (96), 2016, с. 6.

ляла полагать, что мы нашли территорию искомой Джинестры. Она должна была быть именно такой – «...могу легко описать, что это (поселение. – А. Д.) должно быть, но оно очень маленькое, само не выпрыгнет, – пишет автору этих строк известный специалист по итальянской колонизации Северного Причерноморья археолог И.В. Волков. – Скорее всего, поселение со слоем около 20 см (не больше), площадью до 5 га, а скорее – меньше. Керамика будет почти вся импортная, в соотношении приблизительно $\frac{1}{3}$ «трапезундской группы», $\frac{1}{3}$ группы клейма SSS, $\frac{1}{3}$ пифосы с кварцевым песком и пифосы с шамотом... Остальное по мелочам – желтая поливная с поддонами с сегментовидной полостью, Юго-восточный и Юго-западный Крым, немножко прочей поливы... Скорее всего, поселение будет (если найдется) только XIII века, без XIV-го. Даже в Азове за все время работ при больших десятках тысяч квадратных метров реально нашлось две ямы XIII в. на целый город, и всё. Что уж говорить о берегах Водяной балки. Ориентируясь на то, что есть в Приазовье, могу сказать, что эти ребята на самое видное место не лезли».** Поскольку мы нашли здесь обломки золотоордынской посуды XIV в., то это давало достоверную дату найденного поселения.

Задолго до этого, в 1980-х гг., я предположил, что Джинестра вымерла в пору катастрофической чумной пандемии 1346-49 гг. «Черная смерть», возникнув в Поволжье, расползлась по торговым путям и почти мгновенно охватила многие районы Евразии – от Восточного Китая до Англии. Именно эту эпидемию описал А.С. Пушкин в «Пире во время чумы». Ее жертвами стали более 80 миллионов человек.

Арабский писатель ал-Барди, умерший от этого чумного мора, успел написать об эпидемии в Золотой Орде: «О чуме, подобной этой, никто прежде не слышал. Не стало людей в домах... были брошены пожитки, утварь, деньги, но никто не брал их». Болезнь проникла в Северное Причерноморье и Византию, где «также обезлюдели деревни и города»***

** Письмо И.В. Волкова А.О. Добролюбскому от 11.07.2016.

*** Добролюбский А. Трагедия Джинестры // Вечерняя Одесса. 10.10.1987; Новицкий Е.Ю., Добролюбский А.О. Предыстория Одессы. Изд.2-е. – Одесса: «Абрикос», 2015, с.125-129.

Примерно тогда же О.И. Губарь, «привычно просматривая старую периодику по абсолютно другому поводу...», обнаружил сведения о том, что во второй половине 1860-х центр Одессы принялись наконец «усердно мостить уже не известняковым щебнем, а бугским гранитом – поскольку обруганные еще Пушкиным хрестоматийные пыль и грязь достали всех... В результате по Екатерининской улице, от Греческой до Дерибасовской, стали попадаться многочисленные костяки, маркирующие обширное кладбище. Положение костяков и кое-какой инвентарь свидетельствовали о том, что погребены христиане. А массовые захоронения, причем в два яруса, явно указывали на «моровую язву». Тогда же выяснилось, что такие же погребения обнаруживались в ходе строительства близлежащих домов и Городского театра, а гораздо позже – при прокладке различных коммуникаций. Маштабы эпидемии поражали...».*

Получается, что могильник «По Екатерининской...», случайно и мимоходом найденный в публичной библиотеке О.И. Губарем, прекрасно увязывается с «чумной» гипотезой. Видимо, его оставили жители Джинестры – небольшой фактории с якорной стоянкой, где население скучивалось буквально на пяточке – на нынешнем плато Приморского бульвара. Отсюда они в панике бежали в сторону Константинополя и далее, в Средиземноморье. Мы получили тому прямое доказательство. Отрадно было и то, что устанавливалось время предполагаемого бегства – 1348-49 гг. Впрочем, не исключается и более поздняя дата – вторая пандемия 1364 г. Или же третья – 1374 г. Датировкам нашей керамики это никак не противоречит. В любом случае, если кто-то из жителей Джинестры и ухитрился здесь выжить во время первой пандемии, то вторая и третья их уж точно добила. Как, впрочем, и саму Золотую Орду на этих территориях.

Казалось бы, полученные археологические сведения и наблюдения являются достаточным основанием для установления местонахождения Джинестры в районе Приморского бульвара

* Губарь О. И. 100 вопросов «за Одессу». – Одесса, 1994, с. 115-119; Он же. Что известно о средневековых предшественниках Одессы? // День, 29 августа 2008; Добролюбский А., Губарь О., Красножон А. Средневековая Одесса // Дерибасовская – Ришельевская. Одесский альманах. Кн.10. – Одесса, 2002, с. 7-10.

и Ланжерона. Между тем на упомянутых морских картах и портоланах Джинестра точно не локализуется – указывается лишь довольно обширная территория между Сухим и Хаджибейским или Куяльницким лиманами, или же соответствующий участок черноморского побережья.

Поэтому следует рассмотреть все возможности локализовать Джинестру – ведь для полноценной археологической экспозиции нашего побережья в XIV-XV вв. мы обязаны учесть все имеющиеся древности этого времени. Так, сравнительно недавно был открыт и при системной шурфовке поля изучен небольшой грунтовый могильник у Сухого лимана, в нынешнем поселке Совиньон, рядом с тамошним пивным заводом, по улице Пивоварной. Костяки лежали в продольных ямах, на спине, головами на запад (с отклонениями). Одно захоронение (погребение 2, женское?) было с каменным закладом, что, несомненно, подчеркивало более высокий статус умершего по сравнению с остальными. Кости были подвергнуты радиоуглеродному анализу, широкий диапазон дат – 1280-1430 гг., узкий – 1345-1370 гг. Никаких насыпей не прослежено. Сам факт нахождения здесь грунтового могильника ясно указывает на существование близ него стационарного поселения в середине XIV в.

Также было сделано и антропологическое обследование. Увы, все изученные усопшие были довольно молоды – один подросток (13-15 лет), три женщины (25-30 лет, 35-45 лет и 45-55 лет) и мужчина 30-35 лет. В целом, их черепа характеризуются большими размерами мозговой коробки, брахикранией, широким и несколько уплощенным лицом.

К сожалению, внятное «определение морфологического типа в серии Совиньон затруднено». Между тем крупные размеры черепного свода и лица, высокие орбиты и ослабленная горизонтальная профилировка лица, которая свидетельствует о его уплощенности, указывают на большую долю монголоидных признаков. Как бы там ни было, мы получили первые достоверные сведения о населении Джинестры в XIV в.**

** Нариси історії та археології Дністро-Бугського межиріччя / С.В. Іванова, А.С. Островерхов, О.К. Савельєв, П.В. Остапенко. – Київ, 2011, с. 137-150; с. 235-241.

Приведенные датировки могильников «По Екатерининской...» и «Совиньон» превосходно согласуются с имеющимися датированными указаниями на существование Джинестры на морских атласах, картах и портоланах того времени (Анонимный Морской атлас «Таммар Луксоро» (начало XIV в.), Морская карта Пьетро Весконтe (1311 г.), Морской атлас Пьетро Весконтe (1318 г.), Морская карта Франческо Пицигано (1367 г.), Каталанский атлас Абрахама Креска (1375 г.) и др.).

Сказанное позволяет достаточно уверенно, по археологическим соображениям, локализовать Джинестру как на Приморском бульваре, так и в нынешнем Совиньоне, на Сухом лимане. Наряду с этим на место пребывания былой Джинестры не менее обоснованно претендуют акватории нынешних Куяльницкого и Хаджибейского лиманов – по историко-географическим и топонимическим соображениям. А они таковы:

В Средние века, как и во времена античности, наши лиманы соединялись с морем судоходными протоками. Впоследствии, ближе к нашему времени, эти протоки затамповывались в связи с климатическими изменениями и соответствующими трансформациями динамики береговых процессов. Так принято считать, что пересыпи в устьях лиманов стали образовываться начиная с XIV в. Но еще тогда, как и ранее, навигаторы из Амальфи, Пизы, Венеции, Генуи, Анконы и других средиземноморских республик находили в этих лиманах безопасное убежище в ходе каботажных плаваний вдоль здешних берегов.

Это подтверждается и находками средневековых якорей, как адмиралтейского типа, так и типа «кошка». Они обнаружены как в Хаджибейском лимане, так и при добывании лиманной грязи в районе Куяльницкой грязелечебницы. Находки довольно крупных якорей позволяют полагать, что в лиманы могли заходить не только гребные галеры, но и более крупные суда – нефы. Единственное неудобство для средневековых мореходов заключалось в том, что вязкий донный грунт лиманов частенько «заглатывал» якоря, которые ценились в тех условиях необычайно дорого.*

* Губарь О. Что известно о средневековых предшественниках Одессы? // День, 29 августа 2008.

Другие соображения – историко-топонимические. Есть мнение, что Джинестра – искаженное наименование реки Днестр. Оказывается, средневековые мореплаватели (а вслед за ними и картографы) были убеждены, что реки, впадающие в одесские лиманы (куда более полноводные, чем сегодня), являются притоками Днестра (или, точнее, ответвлениями его разветвленного и обширного устья). Поэтому они изображали Малый, Большой или Средний Куяльники соединенными в верхнем течении с Днестром. Подобные ошибки отнюдь не редкость – так, практически на всех таких картах Южный Буг и Днепр показаны соединенными в верхнем течении. Такие неточности вполне объяснимы – навигаторы ходили вдоль берегов и не проникали на материк далее устьев рек, лиманов и бухт.

Упомянутые находки средневековых якорей в устьях лиманов сочетаются и со сведениями более чем вековой давности и о затопленных причалах в устье Хаджибейского лимана. В последние годы также появились сведения об остатках древних молов в акватории Куяльницкого лимана. Это позволяет уверенно локализовать Джинестру при устьях этих лиманов, а именно – на нынешней Жеваховой горе**, возможно, и в Лузановке.

Таким образом, мы имеем три пункта, или участка на одесском побережье, претендующих на место якорной стоянки, – акватория Сухого лимана, Приморский бульвар и Жевахова гора.

Между тем находки якорей в последние годы существенно участились вдоль всего одесского побережья от Лузановки до Сухого лимана. Немалая их часть собрана в так наз. «Музее якоря», который сейчас создается на Гидробиологической станции Одесского национального университета, которая находится на мысе Малый Фонтан. Многие якоря имеются и у коллекционеров. Карта их находок, составленная директором станции О.А. Ковтуном, показывает, что «большинство находок сделано в Одесской бухте и далее вдоль побережья, вплоть до Сухого лимана.....». Значительная их часть, по мнению И.К. Мельника, принадлежала судам Османской империи

** Добролюбский А.О. Где и когда были Джинестра с Качибеем? И где же тогда был Хаджибей? // Древнее Причерноморье. Вып. X. – Одесса: ОНУ, 2013, с. 215-219.

и кораблям Российского флота начала XIX в. Хотя имеются и более ранние, средневековые экземпляры.

Впрочем, большинство этих находок сделано в районе мыса Малый Фонтан. Сам О.А. Ковтун думает, что «это и случайно, и не случайно... мы погружались вдоль всего побережья, просто у мыса найдено якорей больше, чем в других местах»*.

Карта находок якорей пока лишь вероятностно корректирует предложенную здесь локализацию трех вероятных якорных стоянок Джинестры. Можно разве что допустить существование такой же стоянки и в районе Ланжерона и Малофонтанского мыса. Однако надежного «наземного» археологического указания тому пока не обнаружено.

Таким подтверждением могло бы стать археологическое обнаружение остатков маяков времен Джинестры. Но, увы, таковых не имеется. Несмотря на это, И.К. Мельник уверен, что в Джинестре, несомненно, был маяк. И даже моделирует его возможную конструкцию (по аналогии с маяком в бухте Виго на западе Испании): «...каменная башня высотой четыре метра и диаметром около трех имеет сплошную крышу и узкую прорезь, выходящую к морю. На противоположной стороне есть небольшой вход, куда древние маячники заносили дрова и уголь и жгли их после заката и до рассвета. Такой маяк, в зависимости от высоты его расположения, мог быть увиден с моря на расстоянии до пяти миль. Подобными маяками были обустроены все генуэзские гавани... Ранней весной приходит первое генуэзское судно, привозит тех, кто несет вахту, обслуживает маяк, форпосты, кто принимает и перевешивает пшеницу. Сооружаются хранилища для зерна и груза. Якорная стоянка существует весь навигационный период»**.

Со своей стороны, О.И. Губарь убежден в былом существовании генуэзского маяка на Жеваховой горе – «по свидетельству одесских археологов, во время исследования обнаруженного на этой возвышенности памятника античной эпохи было найдено также основание сооружения типа башни, напоминающее

* См. об этом: Мельник И.К. О якорях и не только... – Одеса: Фенікс, 2016, с. 32-39.

** Мельник И.Г. Маяки прошлого и настоящего // Моряк Украины, 21.05.2016.

средневековые замки». Со временем такой замок переместился, по его мнению, на Одесское плато – нынешний Приморский бульвар.

И в самом деле, еще в начале XIX в. профессор Э.Р. фон Штерн предполагал, что на Жеваховой горе находился какой-то античный «складочный пункт», а возможно, и остатки складских помещений итальянской Джинестры.

Сказанное означает, что археологические очертания Джинестры становятся все более различимыми и осязаемыми, а местонахождения ее якорных стоянок и поселков топографически совпадают с размещением таковых же в античную пору – Одессоса, гаваней Истриан, Исиаков, или Иаков, и Фиски. Последние локализуются примерно на тех же участках побережья – на Жеваховой горе и в Лузановке, на Приморском бульваре и на Ланжероне, а также (гавань Иако) возле устья Сухого лимана, в районе нынешнего поселка Совиньон^{***}. Значит, мы наблюдаем отчетливую топографическую преемственность античных и средневековых поселений на территории Одессы. Торговая жизнь на одесском побережье бурно кипела в пору Джинестры на тех же местах, что и во времена античности. Как, впрочем, и в наши дни.

^{***} См. об этом: Добролюбовский А.О. Археология Одессы. – Одесса: Optimum, 2012, с. 125-132.

Сергей Котелко

История одного памятника

Давно начатая мной работа по истории одного из особняков в Одессе, надеюсь, приближается к своему завершению. По мере продвижения вперед она переросла много стадий – сначала это был фотоочерк о красивом ренессансном особняке на Французском бульваре, 28. Затем, плененный благозвучностью фамилии его владельца – Анатра, я решил разузнать историю его владельца. Все мы, наверно, слышали об аэропланах Анатра, но хозяева особняка оказались из другой семейной линии, их жизнь нынешней Одессе мало известна. История владельца переросла в историю семьи, стала вырисовываться книга, всплывали все новые и новые факты, все они мне кажутся интересными, и появилась проблема – где же мне остановиться. Наконец я принял решение «остановиться – и всё тут», но произошла еще одна маленькая сенсация, и я понял, что надо ею поделиться, не дожидаясь окончания нескончаемой книги.

Зайдем издалека – перенесемся в XIX век. Удивительное было время – сейчас все говорят о Европе, о стремлении или жить, как в Европе, или уехать туда, а тогда все было наоборот: это европейцы массово ехали к нам. При этом только представьте себе Одессу начала XIX века – да, улицы центра города уже были прочерчены, но не обязательно застроены, а если и застроены, то не красивыми-домами, которые мы привыкли видеть, а в основном одноэтажными не слишком привлекательными постройками. Ни водопровода, ни тротуаров, ни канализации – ничего этого не было. Все это появится гораздо позднее. Прибавьте сюда еще и то, что это была для них совершенно чужая страна с другим языком и культурой. И вот сюда переезжали навсегда жители стран благополучной Ев-

ропы. Мне всегда было интересно, что именно движет человеком, который однажды решает бросить все и уехать в неизвестность. Но это другая история. Среди прочих европейцев приехал к нам и никому не известный Анжело Анатра. По имеющимся данным, это случилось в 1825 году. Я не буду сейчас особенно пересказывать перипетии его судьбы, скажу лишь, что, вероятнее всего, он прибыл к нам из города Мессины, что на северной оконечности Сицилийского острова, который, между прочим, был тогда в составе отдельного королевства, называвшегося или Неаполитанским, или Королевством сразу двух Сицилий. Впрочем, слова «сразу» в названии не было. А правила этим итальянским королевством французская династия Бурбонов, при этом король был сыном короля испанского. Сложно у них там, в Европе, было всегда.

Что было определяющим для Анатра в желании попытаться счастья в далекой Одессе, мне не известно. Может, жажда перемен или приключений, может, он скрывался от полиции, а может, его бросила возлюбленная, и он в пылу горячности решил ехать за тридевять земель? Неплохо бы, если б так! Но мы уже вряд ли это узнаем. Поначалу в Одессе Анжело продолжал дело своего отца Джузеппе – тот был то ли мелким судовладельцем, то ли корабелом, кораблестроителем. Анжело в Одессе тоже строил лодки, на эти лодки он перегружал товар, который доставляли сюда большие торговые суда, и перевозил его в порт. Долгое время Анжело приходилось достаточно сложно, быстрого успеха добиться не удалось. Видимо, спасали итальянский темперамент и настойчивость.

Дела пошли лучше, когда примерно в 1830-м году Анжело объединяет усилия с другим выходцем из Италии, господином Мокко – судовладельцем и экспортером пшеницы. Это тот самый Джиджи Мокко, о котором писал Осип Чижевич: «Известный одесский портывый боцман Джиджи-Мокки (Луиджи Мокко) устроил за свой счет батарею в конце Канатной улицы, из которой производили салюты прибывающим кораблям...». Позднее Анжело Анатра становится единоличным хозяином предприятия, занимавшегося торговлей и судоходством. Постепенно средства стали позволять строить сначала лодки большего размера, баржи, а затем и парусные суда...

В 1860-м году Анжело Анатра умирает, и умирать он уехал на родину, в Мессину.

Фамилию де-Рибас одесситам представлять не нужно. Так случилось, что один из потомков основателя города Иосифа де-Рибаса, внук его брата, Александр Михайлович де-Рибас, писал об Анжело Анатра. В моих руках – стащестилетняя пожелтевшая популярная тогда газета «Одесский листок» от 18 марта 1910 года, где на третьей странице Александр Михайлович де-Рибас в своей рубрике «Старая Одесса» говорит, что Анжело прибыл сюда в «тридцатые годы прошлого столетия, во времена Воронцова», и характеризует его как молодого итальянского моряка, «почти матроса». Почитаем дальше: «Из простого перевозчика и грузоотправителя за чужой счет Анжело стал крупным купцом-негоциантом. Он покупал в Италии фрукты, вино и др. ходкие в Одессе товары... продавал их здесь, а на вырученные деньги покупал пшеницу и вез ее... за границу».*

Скажу сразу: статья Александра Михайловича де-Рибаса – своеобразный некролог на смерть сына Анжело Анатра, Анжело Анжеловича, умершего в итальянской Ментоне. Кстати, его отец был последним из одесских Анатра, который был похоронен в Италии, – далее, где бы ни умер член семьи Анатра, его тело перевозили на их новую родину, в любимую Одессу. Тело Анжело Анжеловича доставили в Одессу, его похороны превратились в огромную процессию, шедшую от Малого Фонтана до центра города. И поэтому, наверное, статья де-Рибаса начинается красиво: «При входе в порт Мессины высоко на горе, над портом, красуется великолепный мраморный памятник, изображающий ангела. На монументе надпись на итальянском языке: «памяти Анжело Анатра»... Воздвигнут он братьями Анатра в память отца Анжело, положившего начало их благосостоянию в Одессе». ** Эта заметка мне попала несколько лет назад, я ее в книгу, конечно же, включил, но желание узнать больше не оставляло – тема судьбы всего, что связано с нашим городом за его пределами, мне очень интересна. И вот в этом году у меня в гостях была потомок другой знатной одесской семьи – мадам Кристин Бьянкон-Амбеликопуло.

* Александр де-Рибас. Страничка старой Одессы. Анжело Анатра. – Одесский листок, 1910, № 10.

** Александр де-Рибас. Страничка старой Одессы. Анжело Анатра. – Одесский листок, 1910, 18 марта, № 63, с. 3.

Ее очень интересует история ее семьи в Одессе. Мы быстро нашли общий язык. Как-то она обмолвилась, что говорит по-итальянски. Не знаю, почему, но мне этого было достаточно. Я попросил ее помочь мне найти ответ на очень интересовавший меня вопрос – сохранился ли этот памятник? Есть ли эта частичка истории моего города в далекой прекрасной Италии?

Первые данные были удручающие – Мессина была почти полностью разрушена в страшном землетрясении 28 декабря 1908 года, сопровождавшемся, к тому же, цунами. Тогда погибло около 60 тысяч жителей. Пострадали даже могильные камни. А целыми остались едва ли только два здания: тюрьма и психиатрическая больница. Кстати, спасли город моряки эскадры Балтийского флота, которая проводила учебные стрельбы на Сицилии. Узнав о трагедии, эскадра сразу пришла в порт Мессины. Моряки спасли тысячи жизней, за что позднее им поставят в Мессине памятник... Затем были бомбардировки 1943 года. Я понимал, читая об этом, что, по-видимому, все, что осталось от памятника Анжело Анатра, – это несколько строк в «Одесском листке». Почти смирившись с этой мыслью, я занялся книгой дальше. Но вдруг от мадам Бьянкон Амбеликопуло приходит известие совершенно неожиданное. Это была краткая справка о скульпторе:

«Rocco La Russa (1825-1894), пламенный итальянский патриот, а также ценимый скульптор, закончил свое образование в Академии Альбертина в Турине. Был директором в художественной школе в Реджио и получил много заказов от муниципалитета и буржуазии Реджины».

Главное – в конце:

«На Большом кладбище Мессины художник создал памятник Анжело Анатра в 1873 году».

Получалось, что об этом памятнике в Мессине знают! Значит, памятник действительно был, и теперь даже известен его автор. Невероятно. Кто же этот Рокко Ла Русса? Оказалось, весьма известный итальянский скульптор второй половины XIX века. Достаточно сказать, что именно ему был заказан «Памятник Италии» – монумент в ознаменование единства государства Италия. Он же потом поставил памятник Гарибальди... Рокко Ла Русса был очень востребованным, и значит, дорогим скульптором Италии.



ANGILO ANATRO
NATO A PALERMO IL 10 GENNAIO 1800
DI LINGUA E DI RELIGIONE ROMANA
MORTO A PALERMO IL 10 APRILE 1860
ALL'ETA DI 60 ANNI
IL 10 APRILE 1860
IL 10 APRILE 1860
IL 10 APRILE 1860
IL 10 APRILE 1860

ANGILO ANATRO
NATO A PALERMO IL 10 GENNAIO 1800
DI LINGUA E DI RELIGIONE ROMANA
MORTO A PALERMO IL 10 APRILE 1860
ALL'ETA DI 60 ANNI
IL 10 APRILE 1860
IL 10 APRILE 1860
IL 10 APRILE 1860
IL 10 APRILE 1860
IL 10 APRILE 1860

Здесь нужно дать пояснение, что ко времени смерти Анжело Анатра в 1860-м году их семейное дело в Одессе еще не достигло какого-то выдающегося уровня, хотя семья уже позволила себе воздвигнуть каменный дом на Успенской, 25, правда, одноэтажный. Но вот к концу 1860-х и в 1870-х их коммерческие дела значительно улучшаются. После отца дело приняли его шестеро сыновей, в истории Одессы активную роль играли четверо из них – Иосиф, Антон, Анжело и Варфоломей Анжеловичи Анатра. В 1867 году они основали «Торговый дом Братья Анатра», который экспортировал около десяти тысяч четвертей различных сортов пшеницы, ржи и др.* Позднее его деловыми партнерами стали такие гиганты, как, скажем, фирма Louis Dreyfus.** Затем братья Анатра обзавелись собственными судами. И еще больший успех приходит в 1870-е годы, когда было основано мельничное предприятие и расширено пароходство. Таким образом, в начале 1870-х гг. у наследников Анжело Анатра появились средства, чтобы нанять известного итальянского скульптора и увековечить память их отца.

Итак, скульптор известен, и памятник в Мессине был. Изучая спутниковые снимки Мессины, я нашел порт – правда, нет там «высокой горы», о которой говорит де-Рибас. Но неподалеку – старое кладбище, и оно действительно не так уж и далеко от воды... И вот в начале декабря мне приходит письмо – ответ из мэрии города Мессины, отдела кладбищ и парков (хорошее совмещение, однако).

Приведу его полностью. Хотя бы затем, чтобы показать, как нужно относиться и к памятникам, и к людям. Потом поясню.

Город Мессина

Техническая зона

Департамент кладбищ и парков

Официальная информация

Памятник Анжело Анатра

Основа (база) с фронтонами. Скульптура изображает плачущего (угнетенного) человека в полный рост. Рельеф с похоронными символами.

* Виталий Нахапетов. «Как из гнезда орлиного...». – Харьков, 2007, с. 11.

** Олег Губарь. 101 вопрос об Одессе. – Одесса: Optimum, 2006. – Вопрос № 45: Откуда родом старая одесская фамилия Анатра?



Подпись Рокко Ла Русса (1873 г.)

Вырезан из белого мрамора – 350×163×192

Реставрирован в 2003 году

Детали восстановления:

Обработка с помощью очистителя высокого давления до 10 атм. Обработан водой и неагрессивными растворителями, наполнение и затирка трещин между плитами с последующей шлифовкой. Приведение в порядок повреждений склеиванием.

Надписи на памятнике:

«Здесь находится тело АНЖЕЛО АНАТРА, который родился 3 февраля 1807 года в Палермо в семье Джузеппе и Кармелы Моска, а умер в Мессине 30 апреля 1860 года. Тело временно пребывало в церкви Порта-Сальво. Преисполненные скорбью и жалостью вдова и дети в последний раз прощаются с усопшим 8 февраля 1874 года среди этих похоронных мраморных плит, где теперь мирно поживает тело.

Всегда готовый пожертвовать собой, он превратил жизнь в стремительный поток; он бесстрашно пускался в бурные волны, чтоб спасти плачущих утопающих; всегда был готов любой ценой помочь нуждающимся, спасая их, как братьев, от гибели. Он был вместилищем любви и покоя, прибежищем вежливости и дружбы, храмом благоденствия, двери которого всегда были открытыми для всех».

Дальше – самое главное: сам памятник! Три фотографии – правда, не лучшего качества, сделанные еще старой цифровой техникой в 2004 году. Две с одного и того же ракурса, одна – с другого угла.

Итак, памятник Анжело Анатра, Анжело Иосифовичу (так у нас переделывалось имя его отца – Джузеппе) Анатра в Мессине есть! Эти несколько строк де-Рибаса оказались сущей правдой, и далекая история позапрошлого века обрела свои реальные черты в виде памятника из белого мрамора, пережившего семью Анатра. Он установлен на старом кладбище Мессины, он пережил все катаклизмы XX века и по-прежнему украшает собой мир. При этом, анализируя ответ из Мессины, я не могу с уверенностью

утверждать, что тут речь идет именно о том самом памятнике, о котором написал де-Рибас, – на постаменте не ангел, а девушка, местоположение – не у входа в порт, а на старинном кладбище... С другой стороны, кладбище все же находится на небольшом холме, высокой горы над портом Мессины никогда не было, и это писание де-Рибаса могло быть художественным образом. А порт не так уж далеко, да и девушка, видимо, хороша, как ангел. Надо также сказать, что Cimitero Monumentale di Messina, или Grande, Большое кладбище в Мессине, где находится этот памятник, – одно из самых известных старинных кладбищ Европы и одно из самых важных кладбищ-памятников Италии с точки зрения архитектурно-исторической ценности. И вряд ли Анатра делала бы своему отцу сразу два памятника в одном городе вдали от дома. Так что, можно с определенной долей уверенности сказать, что те самые несколько строк, написанные в заметке Александра Михайловича де-Рибаса сто лет назад, были именно об этом памятнике, стоящем в прекрасном городе Мессине, откуда почти двести лет назад к нам приплыл простой итальянский моряк Анжело Анатра. Памятник стоит до сих пор, за ним ухаживают, когда нужно – реставрируют, и выглядит он прекрасно. А вот мы то наследие, которое оставила нам эта семья, сберечь не можем. Дача сына Анжело, Анжело Анжеловича, на Малом Фонтане давно уничтожена. Один из домов Анатра, на углу Пушкинской и Жуковского, – уничтожен, а сейчас такая же судьба грозит прекрасному ренессансному особняку внука Анжело Анатра, Владимира, что на Французском бульваре, 28, с которого, собственно, и началась вся эта история...

Р. С. Обещал рассказать, почему меня поразил итальянский ответ: когда в Одессу приехала мадам Кристин, она, конечно же, хотела найти могилы своих предков, и я заранее официально обратился в соответствующую службу города, что на Греческой. Всё записали, даже взяли мой телефон. И что? И ничего. В итоге мы сами все нашли, причем искать особо и не надо было – семья Амбеликопуло была достаточно богатой, и их семейное захоронение расположено практически прямо возле кладбищенской церкви...

Александр Дорошенко

«Художник нам изобразил глубокий обморок сирени...»



Лев Межберг

Дачи

Как же вы говорите, что Льва Межберга не стало, что он умер, что закрылись его глаза? – если мы это видим, то видим именно его глазами, и уже потом различаем что-то свое!

И снова долгим днем,
В саду, в сияньи листьев,
Где шляется пчела
Над лестницей, в пыли

Вода горит огнем,
И в бездне летних истин
Навек душе тепла
Верна судьба земли

Борис Поплавский

Гости съезжались на дачу*

«Кто-нибудь когда-нибудь прочтет и станет весь как *первое утро в незнакомой стране*. То есть, я хочу сказать, что я бы его заставил вдруг залиться слезами счастья, растаяли бы глаза, – и, когда он пройдет через это, мир будет чище, омыт, освежен...»

Владимир Набоков. Приглашение на казнь

Исчезнет понятие «дача»**. Это старое и еще дореволюционное слово (в старой России дачей называлась взятка). Дачи, собственно, есть везде. Но наша фонтанская дача – это мир, особый и чудный. Нигде не бываемый больше. Это не был просто район летнего отдыха, как бывает в иных городах, – была это особая форма жизни. Иная ее психология и качество. То, что строят сегодня нувориши на Фонтанах, это не дачи, – так, дворцы за глухими

* Александр Пушкин.

** Слово «дача» это часть нашей истории, и первоначально оно означало «дарованное царем». В советское время это восстановилось по смыслу, и то же самое означало награду за послушание от государства.

стенами с вертухаями в угловых охранных будках с надменными хоульскими мордами.

Дачи на Фонтане – это были районы одноэтажных домиков, строенных из ракушечника, с толстыми стенами, просторными верандами в окружении основательных и толстых колонн, с мезонином на крыше. В таких домиках в летнюю жару было всегда прохладно, и хорошо дышалось – дышал ракушечник. У каждого такого домика был участок земли, густо засаженный фруктовыми деревьями, вишнями, черешнями, абрикосами и всякими понижу овощами. Там была веранда у входа и, если позволял участок, белела из дерева сделанная беседка среди зелени кустов и деревьев. Среди розовых клумб и жужжащих на солнце шмелей. Вечерами там собиралась семья и гости, горела над столом лампа, летела на ее свет мошкара, и шло застолье с чаепитием. Дождем намочила листва и низко к влажной земле наклонялись отяжелевшие ветви, а запах роз становился особенным, дождевым и пряным.

Дачная неповторимая незабвенная наша жизнь.

Где шляется пчела / Над лестницей, в пыли

Это так было всегда, и задолго до нас – есть на полотнах Костанди и Дворникова наши дачи, до революции, – веранда, утро, стол, и на столе накрыт чай. Узкий самовар с ручками из слоновой кости.

«В аллеях, укрытые зеленью, белели плетеные кресла. Обеденный стол был покрыт цветами, окна обведены зелеными наличниками. Перед домом просторно стояла деревянная невысокая колоннада».

Исаак Бабель. В подвале

И стулья там стояли такие же (они еще уцелели с тех времен, венские, гнутого дерева, постаревшие и поэтому попавшие в опалу на дачи, уступив место новым в четыре ноги наглем, но все еще и надолго крепкие и верные дачные наши стулья. Венскими их звали по имени первой крупной фабрики Тонета в Вене.

Сколько себя помню, они жили с нами, безропотно сносили на себе покачивание подростков, тяжесть посадки ученого мужа и веселье застолья. Иногда на них становились ногами, прибавляя картину или развешивая занавес на окнах, и тогда они покорно скрипели своими изящными сочленениями. Но иногда, я помню... Как много слышали они и увидели за это прошедшее столетие! Теперь с нами они тоже уходят).

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени...

Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом сумрачном развале
Уже хозяйничает шмель*

Чаще всего эти дачные домики разделены были на четвертушки, и с каждого угла открывалась отдельная дача со своим участком земли. Ограждены были участки деревянными палисадниками, крашеный штакетник утопал в зелени и колючках непроницаемо глухих кустов, чтобы никто не заглядывал посторонний в дачную жизнь.

(На калитках висели таблички с именами владельцев, и как-то я по дороге на море, перечтя эти имена, сочинил эпиграмму: «Здесь живет один Андреев, он живет среди евреев».)

Выбирались на дачу с мая (но разговоры об этом событии начинались много раньше, с первыми теплыми днями весны), переезжали женщины с детьми, а мужчины на дачу наезжали после работы, и только в отпуск все собирались вместе. Несколько недель перед выездом на дачу туда ездили по воскресным дням приводить все в порядок. Белили и красили, поправляли заборы, сжигали прошлогоднюю листву. Так работали весь день, а вечером садились перекусить и выпить. Пахло паленой листвой, руки были в следах не отмытой краски... Боже мой, как вкусно все было после дня, проведенного в работе на дачном воздухе!

* Осип Мандельштам. Импрессионизм. 1932.

Весенний трамвай, открытый настежь вагончик, весело бегущий на Большой Фонтан:

В аллеях столбов,
По дорогам перронов –
Лягушечья прозелень
Дачных вагонов;
Уже, окунувшийся
В масло по локоть,
Рычаг начинает
Акать и окать...
И дым оседает
На вохре откоса,
И рельсы бросаются
Под колеса...

Эдуард Багрицкий. Весна

А ты сидишь, запахнувшись в теплую полу и воротник куртки, щуришься от солнышка, куришь. А трамвай пишет зигзаги и выписывает восьмерки, и они всегда так необычны для нас, жителей прямоугольных городских улиц, так пленительны!

Написал – и решил, прислушавшись к холодному заоконному дождю: в ближайшие дни, когда распогодится, когда выглянет и сразу все согреет и высушит солнце, отложу все дела, прихватчу собаку, и поедем мы с ним на Фонтаны, поедем по-старому, не наспех таксомотором, но, добравшись до вокзала, сядем в открытый летний трамвай. И – поедем! Выставит в открытое окно любопытный нос моя собака. А там, за этим окном – запахи – свежей травы и дымка от паленой прошлогодней листвы. Рука моя ляжет любовно и нежно на шею собаки, поглаживая и перебирая его курчавую шерсть.

Потом нанимали машину и переезжали. Машина нужна была потому, что боялись на зиму оставлять на даче холодильник и телевизор, из-за зимнего воровства, и нужно было захватить с собой много вещей. Теплую одежду на случай дождя и холода,

всякие одеяла и пледы. Переехав, устанавливали все на места, расставляли кресла и шезлонги, и начиналась дачная жизнь.

Одни ходили на пляж поутру, встав спозаранок, и тогда могли встретить солнце, как оно поднимается и накатывается на море и пляжный песок, постепенно все согревая. И можно было плыть навстречу солнцу, по солнечной дорожке. Другие ходили вечером, когда спадала дневная жара и убавлялось число пляжников. Пляж становился чистым от людей, тихим, и море становилось похожим на море. И тогда можно было уплыть далеко-далеко и плыть по лунной дорожке. Такую лунную дорожку море протягивало только тебе, она была узкой и рассчитанной только на одного тебя. Всегда брали с собой большое махровое полотенце, потому что холодно было купаться ранним утром и поздним вечером.

Мы любили купаться в шторм в его высоких и рвущихся к берегу волнах, накатывающих равномерно, мы с веселым смехом подныривали под эти набегавшие волны, приносившись к их высоте и ритму, но вдруг из очереди одинаково огромных рассчитанных волн внезапно вырастал несущийся к берегу вал, вдвое крупнее их всех, и накрывал он тебя с головой, сбивал с ног, схватив и вынеся к берегу, мокрого, барахтающегося, веселого и испуганного. В такую высокую волну проще было уплыть в море, навстречу шторму, там волны не могут, упершись в дно, вырасти несоразмерно, там можно, умеючи, но с оглядкой на берега, слегка поиграть с рассерженным морем. И временами, оказавшись меж двух, одной прокатившейся и второй набегающей на тебя волной, ты переставал вовсе видеть берег, и вокруг были только волны и над головой низко несущиеся свинцовые облака. И замирало сердце от восторга и страха...

А если внезапно налетал летний сокрушительный в ярости ливень, когда некуда было спрятаться на открытом пляже, мы прятали в кульки и сумки одежду, а сами бежали к морю, где все равно было мокро, но всегда теплее, чем в потоках хлещущего наотмашь дождя...

И всегда весело смеялись, то ли обманув, то ли обнявшись с дождем...

(Так корабли в налетевшем внезапно шторме рубят якоря и уходят в бушующее открытое море от смертельно опасных береговых скал.)

Но некоторые, настоящие дачники, купаться ходили редко, или вообще несколько раз за весь сезон. Потому что круты наши морские склоны, труден спуск и еще труднее подъем. Потому что на даче, в ее прохладной зелени, и так хорошо – ветерок с моря, свежий и вкусный, покой, уют. Да и забот много – полить и обиходить кусты роз и всяких других цветов, накормить семью.

«Наступил вечер. Прошелестела летучая мышь».

Море внизу стало черным, оттеняясь белизной гребешков волн. Потянуло прохладой. Ах, эти дачные вечера... Небо, опрокинутое, звезды, мерцающие в темной его синеве, и на соседней даче музыка... и женский голос, поющий о разлуке... Но только надежда на скорую встречу делает желанной разлуку.

С дачей был связан и временный переход на другой базар. Такие базары были на всех станциях Фонтана, небольшие, удобные. Самыми крупными были базарчики на седьмой, десятой и шестнадцатой станциях. И всегда что-то поручалось привезти из города работающим членам семьи.

Были и еще купания – ночью. По темному и крутому склону к морю сбегала веселая компания, вставшая из-за праздничного стола. Был первый-второй час ночи, воздух был еще теплый, и море, внизу внезапно оказывавшееся прямо у ног, еще хранило дневное тепло. Оно было темным, глубокого темного цвета, много темнее ночного воздуха и поднимающихся склонов. Оно было живым и рокочущим. Море многократно отражало наши веселые голоса, и смех отражало – так весело прыгает по воде брошенный горизонтально плоский поднятый с песка камень. Так купались мы молодыми и красивыми и поэтому часто купались голыми, бросив кучей одежды на песке. Потом, наплескавшись и насмеявшись в прохладной теплоте морской воды, мы всегда долго искали эту одежду и не всегда все там находили. Темнота пляжа была вязкой и влажной, в нескольких шагах все терялось во мгле,

и мы часто не досчитывались на время какой-нибудь пары, аукая их и ругая наконец-то нашедшихся. И затем весело поднимались вверх по крутым склонам, шли босыми в мокром песке ногами, и голоса наши, как падающие с горы веселые камешки, многократно отражались от моря, неба и нашего неповторимого счастья.

(Этот морской песок на ногах – высыхали ноги, и он осыпался без остатка. Но не совсем – как-нибудь, залезая в ванну, присмотришься внимательно – и ты непременно увидишь песчинку на сгибе ноги, на голеностопе, слева, на левой ноге – – – это памятный знак – – – это наше море и звук его неповторимой волны, именно той, услышанный однажды летней ночью, а все, что ты слышал в длинной своей жизни, это другое, и оно не в счет. Это метка, ты и я, мы отмечены каждый нашим морем, в единственную дарованную нам ночь, в разное время нашей жизни, каждому, если он достоин, наше море дарит такую песчинку – и ты постарайся ее не потерять!)

Как легко дышалось на крутом этом подъеме, как вкусен и прохладен был морской воздух, как ласково гладили наши ноги ветви кустов... И сыпались с неба звезды над нашими головами, но мы даже не пытались их пересчитывать и подбирать, в уверенности, что так будет всегда, – ночное и ласковое море, и веселые голоса друзей. И этот подъем среди падающих, задевая наши плечи, звезд.

И потом в темноте ночной комнаты трудно было понять источник мерцающего пульсирующего света, где он, и вдруг на подушке ты находил маленькую звездочку, запутавшуюся в волосах подруги...

Странно и то, что перестали падать теперь эти звездочки, так много было их раньше, и все казалось – еще будут и будут...

Так жили на дачах. Иногда летом на неделю мог зарядить дождь. Становилось прохладно и очень сыро. К морю можно было идти только с зонтиком, одевшись во всякие свитера и ветровки, потому что на море был ветер, и он гнал с остервенением белые от злобы волны, разбивая волнорезы, пляжные топчаны и руша ограды. На море хорошо было смотреть сверху, с обрывов. В такие дни дачники ходили часто друг к другу в гости, выпить и поговорить. Шли гуськом, узкими дачными дорожками, и мокрые ладо-

ни кустов норовили погладить щеку, лизнуть в шею, и все пахло влагой и мокрой землей...

А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули – бог их прости! –
От пятидесяти
На сто,

И выигрывали,
И отписывали
Мелом.
Так в ненастные дни
Занимались они
Делом.

А.С. Пушкин. Эпиграф к «Пиковой даме»

В такую погоду хорошо пила водочка под маринованный крепкий и хрустящий огурчик, под раскаленную с жару колбаску, под великое и любовное чувство дружбы. Ходили в кино – на десятую или шестнадцатую станции. Смотрели там всякую дрянь.

Боже мой, как хорошо бывало на даче в дождливую неделю! Как тихо и сладко читалось под монотонность падающего на землю дождя. Дождь был рядом с тобой, не где-то на улице, но вот здесь, он стоял за дверью, как пришедший к тебе, уставший от одиночества гость. Открой дверь, выйди к нему на веранду поговорить, постой рядом с ним, покури. Ночной ветер порывами гнет к земле тяжелые от воды и уставшие сопротивляться ветви, и земля от воды уже тяжелая и сырая. Ветер забрасывает внезапно горстью воду дождя на веранду, тебе в лицо, чихает собака, и странное чувство возникает, что это, увидев тебя, так развлекается ветер, с тобою играя. Ему не холодно и не сыро – ему весело!

Ночной дождь как неожиданное письмо от далекого друга, как колыбельная песня, и в ней нехитрый и простенький мотив:

«От любви бывают дети,
Ты теперь один на свете.
Помнишь песню, что, бывало
Я в потемках напевала?»

«Ах, мой милый Августин,
Августин, Августин,
Все прошло, все...»

– так наши далекие предки засыпали в своих пещерах, так во всех временах своего детства и юности утешался монотонным капельным звуком дождя человек – – – великие пространства вселенной начинались у его порога, не имевшие измерений, – – – и спокойнее становилось в дожде измученному страхами сердцу, и верилось ему, что беды его преходящи, что мир велик и мудр и что «утро вечера мудренее»!

(Велик и непрост, под стать нам, наш русский язык – «мудренее» или «мудрёнее» может быть предстоящее утро – всего две точки над буквой, но каким различным оно будет, это предстоящее нам утро!

Впрочем, неважно – сегодня главное, что оно будет, наступит.)

В трюмо отражается чашка какао,
Качается тюль, и – прямой
Дорожкой в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо.*

Мы еще поглядим – почитаем

«Пачками вывозились на дачу коричневые томики иностранных и российских авторов, с зачитанными в шелк заразными страницами...

Некоторые страницы сквозили, как луковая шелуха...

* Борис Пастернак.

В корешках этих дачных книг, то и дело забываемых на пляже, застревала золотая перхоть морского песку, – как ее не вытряхивать – она появляется снова.**

Иногда выпадала готическая елочка папоротника, приплюснутая и слежавшаяся, иногда – превращенный в мумию безымянный северный цветок...

Мы еще поглядим – почитаем».

Осип Мандельштам. Египетская марка

И читать – читать!

Полки книжные были удивительны на этих дачах. Десятилетиями туда свозили все, от чего освобождали парадные книжные полки городских квартир. Старые и потрепанные, дореволюционных изданий и часто уже без корешков, подшивки журнала «Нива» соседствовали с послевоенными подшивками «Огонька» (а там Сталин и маршальская шинель Ворошилова, и требовательный Каганович, и интеллигентный видом Лаврентий Берия, единственный, кроме Анастаса Микояна, интеллигентного вида человек в этой камарилье, и дети, первоклашки, выводящие первое в жизни слово «Сталин»...). А там Дюма в утраченном переплете и почему-то многотомный Брем с животными. Но вот сразу несколько военного времени «Огоньков», а это первая мировая война, и в ней чужая и такая далекая жизнь...

Какая-то молоденькая дама на углу улицы 1914 года, в повороте угла, и ее случайный взгляд на фотографа, доставшийся неожиданно мне. Молодая, стройная, и в глазах что-то такое – но ведь уже никогда нигде ее не встретить – не взять за руку – не заговорить – не рассказать – не понять, что там было, в этих глазах. Ах, это все дождь... ночной дождь...

Ночью, в дождь, один на даче, как Робинзон в своей пещере на этом острове (интересно, как это он там более двадцати лет обходился без женщин вообще, до появления Пятницы в его жизни? ...и это какая наглость колонизаторская – назвать живого

** У Осипа Мандельштама не было своего родного моря, и эта морская песчинка, скорее всего, из Крыма.

человека Пятницей! – а не каким-нибудь другим более подходящим днем недели).

В те времена дачи мало рознились, так, одни были чуть побольше и побогаче, но все это было вровень, дачной великой республикой. И поэтому выросшие здесь дети не знали розни богатства и отчуждения бедности. В этих дачных районах основным было море, там, внизу, равномерно любящее всех и всем принадлежащее.

На этих дачах выросло множество поколений горожан, разлетевшихся теперь по всем горизонтам земли, сколько их есть. Начиналось это детским ночным криком на одной из дач, и соседи так узнавали о новом поколении дачников. Потом в очередной дачный сезон малыш ковылял уже по продольной дачной аллее, местному бульвару, и все его видели и знакомились. Потом начинал бегать, ездить на трехколесном велосипеде, упрямо въезжая в дачные заборы, и дружить начинал со сверстниками, даже если родители знакомы не были вовсе. И так возникало великое дачное братство.

И первая любовь зарождалась здесь, на этой дачной аллее, ведущей к морю и счастью. И просто – брала шестилетняя девчушка приятеля с аллеи за руку и приводила к себе на дачу, показать своих кукол, и сидели в сторонке родители, осторожно поглядывая на эту новую автономную жизнь, и шутили себе втихую – а шутить-то было и незачем!

И воздух этих незабвенных дачных вечеров, полумрак аллеи с пятачками света, выхваченными из темноты чередой качающихся лампочек, звездное небо, опустившееся к притихшей земле... И ты идешь прямо в прохладном пространстве неба, чуть сторонясь пролетающих мимо звездочек, и слышишь тихие голоса, проникающие со всех сторон, из темноты скрытых за темными кустами дач, то тут, ручейком радиоразговора, то там, веселым смехом и женскими голосами... и перебор гитары... то ли еще Галич, то ли уже Высоцкий... и тонкая упругая звонкая нить нескончаемой песни сверчка... Эта песня, на темной аллее, об одиночестве, о том, что все еще сбудется, это сладкое чувство покинутости, предвещающее неизбежную встречу...

Приклеены к стеклам
Влюбленные пары, –
Звенит палисандр
Дачной гитары:
«Ах, вам не хочется ль
Под ручку пройтиться?
Мой милый». «Конечно.
Хотится! Хотится!»

Еще как хочется!

Старый сверчок пел Буратино о тепле домашнего очага – пусть нарисованного, пусть в нарисованном этом котле не варится мясо и вообще ничего не варится, а дым, идущий из котла, не пахнет никакой вкусной пищей, но это твой дом, где тебя любили и любят, где тебя ждут глухой ночью, в ветер и злой бесконечный дождь, где тебя заботливо спросят, не устал ли... Ты переступишь порог, сбросишь мокрую одежду, наденешь сухую... сядешь к столу, возьмешь в замерзшие руки раскаленную чашку чая. И растворишься во всем этом, ни к чему не прислушиваясь, ничего не отвечая. И внезапно услышишь старую добрую песню сверчка – – – ты вернулся домой!

Никогда не позволяй себе даже думать, что дом твой разрушен, что тебя в нем никто больше не ждет!

Никогда не ругай свой старый дом. Услышав такую хулу, не вступай в пререкания с неблагодарным глупцом – отстанись. И не ной... Все там осталось как было, пока благодарно бьется наше сердце, пока, не лукавя, помнит. Память сердца – большего нам не надо. И никому не дано! «Это было, было в Одессе ...» – с тобой и со мной!

Было!

Но, когда вспомнишь, внезапно, среди дел и суеты мира, по непонятной причине и без повода вовсе, вспомнишь ночную песню дачного сверчка – не беги к фотографиям и книжкам, чтобы подлечить память, – просто подними трубку и набери номер, и спроси друга, спроси его: «Ведь это правда, на нашей дачной аллее, там, где она делает поворот вправо, по пути к берегу обрыва

когда-то стояла скамейка, покрашенная в зеленый цвет, со спинкой, и краска местами на ней облетела?». И друг твой на далеком ином континенте, подскочивший от полночного звонка, испугавшего жену, спящую рядом, прикрывая ладонью трубку и отдышавшись от внезапности вопроса, скажет тебе: «Точно...».

И тихо добавит, никак не обидевшись: «А ты знаешь, ведь совсем недавно я тоже ее вспомнил, ведь как это странно – там на спинке еще была надпись...».

И потом, погасив свет, и на вопросы раздраженной жены ничего не ответив, он долго будет лежать, твой старый друг, в темноте ночной комнаты – чуть улыбнутся его губы, и послышится ему тихое-тихое пенье сверчка на дачной ночной аллее... он увидит фонарь, качающийся на легком ночном ветру у поворота аллеи прямо над зеленой скамейкой, где вечность назад он впервые поцеловал тоненькую и стройную девушку... и ощутит на своих губах вкус ее еще детских губ... он почувствует влажный и охлаждающий шею ветер с моря, от берегового обрыва... он даже услышит монотонный скрип фонарной подвески, которую... давно надо бы смазать!

Где бы ни оказался такой фонтанский житель, он помнит, как весной зацветает вишня, и затем все остальное начинает цвести и ронять лепестки на землю. Никогда не уследить, как начинается цветение, но всегда внезапно и сразу видишь в полном цвету дерево и поражаешься – когда же успело! Он помнит запах сжигаемой прошлогодней листвы. Не знаю, на что похож этот запах, что-то в нем есть такое – то ли слова в нем растворены, сказанные под этой листвой прошедшим сезоном, однажды теплой ночью или ранним прощальным утром, то ли смех, отзвучавший тогда и впитавшийся в зелень деревьев, и еще запах моря, донесенный сюда снизу, уже осеннего моря, остывающего и печального, и смирившегося с неизбежным приходом зимы.

Для жителей любого глухого угла и места земли понятие «уровень моря» условно, книжная заумь, для нас – вопрос обихода, – только мы живем прямо над уровнем моря и знаем, насколько нам нужно к нему спуститься из Города, либо как круто и долго надо будет подниматься к себе домой. И даже уровень океана выравнивает себя по уровню нашего моря.

Итальянский свидетель падения белой Одессы

В 1933 г. одно из крупнейших итальянских издательств – Mondadori – выпустило в свет книгу воспоминаний отставного офицера Альдо Мандрилли (Mandrilli) с прихотливым названием «Tra manicimio e bolscevismo» («Между сумасшедшим домом и большевизмом»). Шел 11-й год фашистской эры, провозглашенной Муссолини в 1922 г., и издатель, как полагалось, в выходных данных это аккуратно проставил: 1933 – XI (христианская эра обозначалась по традиции арабскими цифрами, а эра фашистская – римскими).

В предисловии, написанном популярным в ту эпоху писателем Алессандро Варальдо (он сочинял детективы, умело приспособив традицию Конан Дойля к духу муссолиниевского времени), рассказывалось о возникновении книги – случайная встреча с интересным рассказчиком-ветераном, его отказы писать воспоминания («я не писатель!» – «это и хорошо!»), последующий интерес издателя. Датируя свое предисловие, Варальдо вообще обошелся без христианской эры: *Рим, декабрь XI*.

И этот Одиннадцатый год фашистской эры (она катастрофически закончилась на своем 23-м году) дает себе знать в тексте – особенно в его первой части, про «сумасшедший дом». В ней рассказывается о доблести итальянской армии, сражавшейся против австрийской ради «исконных земель», о вражеском плене, о симуляции безумия, причем – как будто опережая дух времени – Мандрилли прикидывался безумным социалистом, произнося абсурдные речи перед воображаемой толпой. В итоге австрийские врачи признали-таки его сумасшедшим, и через швейцарский Красный Крест он вернулся в Италию весной 1918 г. – за полгода до окончания войны. Австрийский плен при этом стал судьбоносным – там же были русские солдаты, у которых Мандрилли немного научился языку. Это определило его траекторию на последующие полтора года.

Не успев отпраздновать победу Антанты, он в ноябре 1918 г. отправился в Архангельск в составе итальянской военной миссии, пытавшейся вместе с другими союзниками оказать помощь белому движению. Вялая интервенция встретила сильную оппозицию в самих странах Антанты, и после ряда поражений осенью 1919 г. союзники бесславно покинули Северную Россию.

Полгода спустя мемуарист снова оказывается в России, уже в Южной, и присутствует при трагическом финале белого движения. И тут не обходится без позднейшей «фашистской этики», особенно очевидной в послесловии, эпиграфом к которой можно поставить известные слова дуче: «Большевизм – русская болезнь». Нельзя, однако, исключить, что мемуаристу «помогали» опытные редакционные работники издательства. При этом ряд цветистых эпизодов, к примеру, «игра в кукушку», явно украшен воображением автора. Вообще, Мандрилли, судя по его же тексту, отличал авантюризм не без выдумки: в австрийском плену он прикидывается безумцем, в одесском порту – итальянским консулом.

Невозможно установить источники военной статистики о Белой и Красной армиях, им приведенной: Мандрилли мог вести собственные записки, а мог и прорабатывать позднейшие публикации, о чем свидетельствуют его ремарки, в частности, про похищение генерала Кутепова; в целом мы не ставили нашей задачей проверку его данных про расстановку сил под Одессой и прочих его сообщений.

Современного читателя не может не покорибить несколько антисемитских выпадов мемуариста, необоснованных и в целом не свойственных для итальянского народа. Учитывая, что книга выходила «по благословению» писателя режима Алессандро Варальдо (вероятно, именно он редактировал текст ветерана), можно предположить, что антисемитские пассажи в одесской главе – дань фашистской идеологии, в начале 30-х гг. становившейся тоталитарной для Италии.

Из обширных мемуаров, в три сотни страниц, мы выбрали для перевода ее одесскую главу, снабдив нашими комментариями.

Наша благодарность – Джованни Терранова (Тренто), указавшему на редкую книгу, и Игорю Сапожникову (Одесса), сделавшему ряд ценных замечаний к нашему переводу.

Михаил Талалай

Альдо Мандрилли

Одесса 1920

Глава из книги «Между сумасшедшим домом и большевизмом. 1917-1920» (Милан, 1933). Фотографии репродуцированы из этого же издания



Альдо Мандрилли. Фото д'Алессандри. Рим

В начале января 1920 г. я поднялся на борт парохода «Карниола» Триестского Ллойда*, который отправлялся из Бриндизи в Константинополь.

У меня был приказ Комиссариата Военно-воздушных сил отправиться на юг России с важной и деликатной миссией. Целью моей командировки являлась штаб-квартира [А. И.] Деникина в Таганроге, небольшом городке в Южной России, на северо-восточном берегу Азовского моря. Мой вояж туда проходил в условиях некоторой секретности, так как социалисты и коммунисты в то время осуждали вмеша-

тельство Италии в русский вопрос на стороне антибольшевистского движения.

В целом поездка эта в определенном смысле была авантюрой, ведь тогда, на последнем этапе [Гражданской войны], точных известий о контрреволюционном движении, возглавленном Деникиным на юге России, к нам не поступало.

В качестве базы мне назвали Новороссийск, где стоял наш крейсер «Этна»**, флагман Итальянской миссии под командованием

* Корабль, принадлежавший до первой мировой войны Австрийскому Ллойд, с названием Dampfer V, после окончания войны и присоединения Триеста к Италии был переименован в честь итальянского региона Карниола и приспособлен для военных нужд.

** Построен в 1880-е г., списан и пущен на лом в 1921 г.

генерала [А.] Бассиньяно. Более точную информацию мне должен был дать в Константинополе наш военно-воздушный атташе, старший пилот Станцани.

Путешествие, пусть и поспешное, меня весьма занимало: плавание через длинный Коринфский канал, Пирей, Афины, и самое сильное впечатление – вход в Дарданеллы, по длинному фарватеру, отмеченному буями.

Эту зону именовали мрачным именем «кладбище кораблей». Там и на самом деле виднелись затопленные трубы, корабельные мачты над волнами, остовы суден и памятная доныне подводная лодка с огромной пробоиной в борту, сидевшая на мели, а также огромный затонувший пароход, у которого был виден только задржавшийся вертикально в небо нос, похожий на лезвие гигантского топора.

Вдоль холмистых голых берегов еще виднелись траншеи и переходы, брошенные пушки, обрывки колючей проволоки, разбитые форты – казалось, что битва стихла недавно: пейзаж цепко хранил трагические черты гибели и разрушения. Все пассажиры задумчиво взирали с борта на эту местность, где как будто еще царила смерть: нас захлестнула волна грусти. Пароход шел медленно и осмотрительно – видны были отметки многих плавающих мин, делавших навигацию крайне рискованной.

Мы приплыли в Константинополь на закате. Падал необычно сильный снег, покрывший весь город – стройные шпили мечетей и минареты, теперь белого цвета, четко выделялись на фоне свинцового неба. Швартуясь в Галате, мы слышали муэдзинов, звавших правоверных на вечернюю молитву.

После установления контакта с итальянскими представителями у нас состоялось несколько бесед с комиссаром-командором Маисса, главой итальянского посольства. Константинополь был занят тогда союзными войсками – интенсивная жизнь захлестывала этот интересный город.

Нам пришлось задержаться тут на некоторое время в ожидании итальянского корабля, который последовал бы через Черное море в российские порты. Я воспользовался ожиданием, чтобы вникнуть в российскую ситуацию и осмотреть город и его окрестности ради знакомства с бытом населения, пока однажды не по-

лучил извещение от Итальянского мореходного бюро об отплытии в Одессу 15 января парохода Триестского Ллойда «Палацки».

Проведя анализ собранной информации, я пришел к выводу, что контрреволюционное движение Деникина переживает не лучшие дни, несмотря на то, что дипломаты и другие люди из российского посольства в Константинополе уверяли меня самым официальным образом, что все идет успешно и что юг России вскоре предоставит независимость Украине и создаст свое независимое правительство, полностью изгнав оттуда большевиков. На самом деле другие источники (французские и английские) сообщали об отступлении Деникина из Ростова и Таганрога и о его попытках укрыться в Крыму и Новороссийске. Однако никто не был в состоянии дать правильную оценку текущей ситуации.

Невзирая на это, прежде чем отправиться в Таганрог, я твердо решил сначала отплыть в Одессу, дабы лично убедиться в положении вещей. В Одессе, думал я, все прояснится, и тогда, по необходимости, на русском или ином пароходе я поплыву далее к цели моей поездки.

В тот зимний сезон Черное море было похоже на кастрюлю с кипящей водой, настоль оно было подвержено штормам. Оставив Кавак*, мы встретили такую бурю, что чуть не были выброшены на береговые рифы. Слава Богу, нам удалось достичь Варны в Болгарии, где мы подождали пару дней, пока море не успокоилось.

После краткосрочного посещения румынского порта Костанца мы наконец подошли к Одессе. Здесь нас встретили толстый слой льда, покрывший всю бухту, и ужасная снежная буря. Неплохо для первой встречи! Вечером мы встали на рейде, не заходя в порт: капитан решил отложить швартовку на утро.

Теперь расскажу непосредственно об Одессе, не отвлекая читателя описанием путешествия, моих спутников, моих впечатлений и размышлений, – мне кажется, это уведет нас в сторону от сути повествования.

На следующее утро, сразу после швартовки, на борт нашего корабля поднялось несколько русских офицеров. Находившийся среди них генерал (его звание я узнал по погонам) спросил

* Ошибка автора: Кавак (Кавак-Тепе), крепость на европейском берегу Дарданелл, не лежит на пути из Константинополя в Черное море.

через переводчика-француза об итальянском посланнике. Меня это крайне удивило, так как моя миссия была засекречена и, более того, ее целью являлась вовсе не Одесса, а Таганрог.

Тем не менее я отнесся к этому обстоятельству как к свершившейся реальности и представился генералу. Со своей стороны, он представился как посланник генерала Шиллинга*, главнокомандующего всеми контрреволюционными силами Украины и Одессы, славшего мне приветствие. Такой быстрый контакт, несомненно, благоприятствовал моей миссии.

Сойдя на берег, где собралась толпа зевак, и сев в автомобиль «Ланча», я был сопровожден в лучший отель Одессы – в *«Международную гостиницу»***.

Первым делом я связался с итальянским консульством и узнал, что консул, в свою очередь, на несколько дней отбыл в Константинополь, оставив вместо себя одного чиновника. Представьте себе мое удивление, когда в его лице я обнаружил своего старого знакомого, Паоло Росси, с которым – в качестве переводчика итальянского корпуса – я встречался в Мурманске. Тогда он носил форму итальянского офицера, хотя был лейтенантом российской артиллерии (будучи итальянцем, он родился в России). Теперь Паоло Росси ходил в штатском и работал в итальянском консульстве. При этом он был женат и жил вместе со своими родителями***. «Мир тесен!» – воскликнули мы почти одновременно после приветствия.

Два дня спустя я представился генералу Шиллингу, командующему войсками белых в Одессе. Это был блестящий офицер, решительный и энергичный, не лишенный дипломатического дара. Наша беседа продолжалась долго – почти два часа, так как я хотел узнать о многих вещах, о которых Шиллинг предпочитал не рассказывать, и наоборот. Все-таки мне удалось добиться почти всего желаемого – остальное я разузнал в других местах.

* Николай Николаевич Шиллинг (18 декабря 1870 – начало 1946), участник белого движения, эмигрировал в Чехословакию, где и скончался уже после прихода туда Красной армии (был арестован СМЕРШем, но выпущен на свободу по старости).

** Здесь и далее слова, выделенные нами курсивом, даны автором по-русски (латинской транскрипцией).

*** Ныне капитан артиллерии 8-го тяжелого [полка] в Риме. – **Примеч. автора.**



Казачи генерала Деникина

Положение оказалось намного хуже того, что я представил себе в Константинополе. Большевицкая армия, согласно информации, добытой от пленных и от доверенных эмиссаров, составляла вкуче, на разных фронтах, около 550 тыс. солдат и 180-200 тыс. орудий. Ради скрупулезности приведу перечень подразделений этих сил без указания их дислокации, так как у меня не было возможности ее уточнить (в дальнейшем уточню силы красных, противостоящих непосредственно Деникину):

- 35 дивизий стрелков
- 25 дивизий пехоты
- немецкая дивизия
- 11 экспедиционных дивизий
- 5 дивизий кавалерии
- 7 бригад стрелков

- 2 бригады пехоты
- 4 бригады кавалерии
- 13 подразделений *Сводного* (маршевые войска)
- 2 подразделения кавалерии
- 40 групп, составленных из полков пехоты и кавалерии бывшей царской армии.

Пехотные дивизии состояли из трех бригад, каждая из трех полков. Полки насчитывали примерно по 200 солдат, за исключением особых полков, численность которых достигала 500 человек.

Против красных, среди других добровольческих армий, была армия Деникина, которая начала свою попытку освободить Россию с группой в несколько тысяч человек. Постепенно в нее влились казаки Дона, Кубани и Терека, а также люди из освобожденных регионов и те, которым удалось бежать из большевистской России на Дон и Кавказ. Эта армия насчитывала около 200 тыс. человек.*

Ситуация добровольческих войск в отношении амуниции и снаряжения была катастрофической, несмотря на то, что Англия посылала обильную и разнообразную помощь. Одесса стала тогда центром всех конфликтов на Украине – ею стремились овладеть войска Махно и Петлюры. Деникин занял город в октябре 1919 г., официально пообещав сделать его столицей независимой Украины в случае оказания ему помощи в борьбе с большевизмом. Однако в тот момент на Украине вступили в противоборство самые разные силы. Этим воспользовались большевики, которым удавалось достичь успехов то там, то сям. Известия о поражении Деникина на Восточном фронте вдохновили большевистскую пропаганду: их стали искусственно раздувать.

После недели пребывания в Одессе и ряда встреч с генералом Шиллингом и другими представителями властей я освоился в далеко не блестящей ситуации и решил дожидаться какого-то нового события, которое смогло бы окончательно меня просветить.

Городская жизнь в целом являла признаки полной заброшенности. Широкие пустые улицы, покрытые толстым слоем льда,

* Мы не стали своей целью проверку военно-статистических сведений у автора и целиком оставляем их на его совести.

вызывали чувство грусти. Прилавки многочисленных магазинов были пусты, а портовые предприятия, в том числе «Анатра» (собственность одного итальянца),** закрыты.

Местные деньги не имели никакой стабильной ценности: рубль, прозванный «колокольчиком» (по аллегорической фигуре женщины, звонящей в два огромных колокола,*** – намек на Россию, призывающую своих сыновей против большевизма), был лишен какой-либо гарантии и покрытия.

Однажды, отправившись на послеобеденную прогулку, я оказался у какого-то строения, похожего на тюрьму. Я обратился к офицеру, вероятно, караульному, который согласился, сдавшись моей настойчивости, показать мне это грустное здание. Камеры были битком забиты многочисленными заключенными, лежавшими на тощих матрасах из грязной соломы, дрожавшими от ужасного холода и истощенными голодом.

Среди них были большевики из Одессы и окрестностей, схваченные с оружием в руках; обыкновенные воры, арестованные во время кражи; убийцы; дезертиры – всех понемногу. В коридоре виднелось два трупа, прикрытых тряпками.

Пусть тут и содержались враги контрреволюционного режима, они, как мне думалось, заслуживали более гуманного отношения. Сопровождавший меня офицер как будто прочитал мои мысли.

После этого он решился показать мне темный и длинный подвал. Как только мы переступили его высокий порог, в нос ударило такое зловонье, что я невольно отступил назад. Затем, движимый любопытством, я все-таки прошел внутрь, стараясь что-либо увидеть. Ноги заскользили по ужасной жиже.

Это «подвал смерти», сообщил мне провожатый. Здесь большевики, взяв Одессу, расстреляли сотни граждан согласно указаниям «чрезвычайки». Чтобы на улице не были слышны выстрелы и крики жертв, заводились моторы автомашин, поставленных у подвальных окон. Грязь на полу была смешана с кровью; на стенах, изрешеченных выстрелами, остались кровавые пятна.

** Авиастроительный завод. (От редакции. О деятельности семейства Анатра, происходившего из Мессины, см. в этой книге в статье Сергея Котелко «История одного памятника».)

*** В тексте по-русски; однако автор передает звучание слова так: kalakala.

Офицер рассказал мне о нескольких ужасных эпизодах, как будто пытаюсь оправдать бесчеловечное содержание пленных большевиков.

Под сильным впечатлением я вернулся в гостиницу. Там меня ждал Росси с тревожными новостями: итальянцам следовало немедленно покинуть Одессу – и в этот раз он передавал мне отнюдь не слухи. В этом я убедился, когда на следующее утро посетил Шиллинга. Несколькоими туманными фразами он поведал о нависшей опасности, умоляя меня обратиться в Итальянский Верховный комиссариат в Константинополе о посылке сюда транспорта для эвакуации людей.

Чтобы убедить меня, Шиллинг подтвердил ряд сведений о наступлении большевиков: перед огромной картой мы проанализировали разные возможности. Для вящей документальности сообщу читателям некоторые цифры военной реальности того региона.

Большевики имели на том фронте, в Южной зоне, 5 армий и еще одну резервную общей численностью 180 тыс. человек. Их командирами были Карцедринцов*, Дыбенко, Бодров, Ворошилов.

Южное войско Деникина также состояло из 5 армий численностью 156 тыс. человек. Это были: Кавказская группа под командованием генерала Врангеля; Первая Донская армия под командованием генерала Иванова; Вторая Донская армия под командованием генерала Мамонтова; Группа Маныч под командованием генерала Кутепова (исчезнувшего в Париже); Северная Кавказская группа под командованием генерала Ляхова; автономный Степной корпус; автономная Крымская дивизия. Добавлю, что у большевиков были серьезные резервы, в то время как Деникин задействовал абсолютно все свои силы. Нам была очевидна вся тяжесть положения.

Новости о возможной эвакуации населения видимым образом разнеслась по городу: в следующие дни я заметил сильное оживление на улицах. Люди спешили туда-сюда, по улицам неслись сани, кафе заполнились посетителями, среди которых выделялись вечно сплетничавшие женщины – они, к тому же, как-то неуместно и неумно кокетничали.

* Эту фамилию не удалось идентифицировать.

На минуту мне показалось, что город захлестнуло какое-то безумное веселье, прежде похороненное под кошмарной неопределенностью. «Жизнь живем только раз!» – слышал я часто эту фразу, с которой многие встречали неизвестность, впадая в фатализм, замеченный мною уже в Архангельске у народа, так часто подверженного разного рода трагедиям.

Развернулась мелкая торговля, и я увидел частое повторение сцен, знакомых мне по эвакуации из Архангельска. Все пытались продать хотя бы что-то из того, что имели, – много или мало, но ради твердой валюты: ее поиск превратился в лихорадку. Предметы теперь не имели определенной цены и стоили столько, сколько за них дадут в валюте.

На этой ситуации наживались евреи, делавшие немислимые барыши и забывая свои склады всеми видами товаров. У них можно было увидеть всё – горностаевые шубы, картины известных мастеров, ювелирные украшения, хрустальные сервизы.

Добровольческие войска стали отступать в сторону Одессы, и в мою гостиницу вторглась толпа офицеров, ветеранов Киевского фронта. Они произвели на меня удручающее впечатление: это были юнцы, не обладавшие полагающимися офицеру дисциплиной и поведением. Незаметно их слушая, я пришел к выводу, что первыми, кто не верит в контрреволюционное движение, были они сами. Их поддержка Деникину диктовалась лишь собственными интересами. Над старыми офицерами – таких было немало, кто верил в возрождение России, противостоя пораженческому настроению, потешались или же их просто избегали.

Расскажу один лишь эпизод, свидетельствующий о том, что эти офицеры, как я полагаю, могли служить как большевикам, так и добровольцам. Я пил чай в ресторане гостиницы, когда ко мне приблизились два незнакомых мне офицера, капитан и лейтенант.

– Вы иностранец, правда? – спросил капитан.

– Да, я итальянец.

– Тогда вы, должно быть, любитель редкостей, – заявил капитан, вытащив из широких штанов пакет.

Я молча наблюдал.

– Это российские награды, которые я получил на немецком фронте, – капитан, развернув бумагу, извлек два Георгиевских креста (соответствует нашим медалям за воинскую доблесть) и крест Св. Анны. – Хотите купить? Отдам задешево, но за иностранную валюту.

Я молча наблюдал, однако чувствуя в себе волну возмущения от этой подлой торговли.

– Это золото, – вмешался лейтенант, – мы гарантируем.

Я больше не мог сдерживаться и, отчетливо выговаривая слова, тихо произнес:

– Хочу вам сказать, что и у меня есть военные награды, но вместо того, чтобы их продать, я бы предпочел умереть с голоду и покончить самоубийством. Если вы дошли до того, то вы – более не солдаты, и вашей родине не на что больше надеяться.

Офицеры смотрели на меня с удивлением, но не нашли что ответить. Помолчав, лейтенант, нагло улыбаясь, вытащил из кармана своей куртки кольца с бриллиантами, запустив их на стол:

– Я вижу, что вы сентиментальны. Купите у меня хотя бы это, отдам за немного, но хочу иностранную валюту.

– Оставьте меня в покое! – заявил я голосом, не допускавшим возражений. – Я не еврей и не спекулянт!

Они ушли, что-то бормоча между собою, – я уже не мог их слышать. «Где же старые русские патриоты?» – спрашивал я себя. Где старые офицеры героических войск в Карпатах и на Мазурских озерах? Эти юнцы не любили своей родины.

Я рассказал о случившемся некоторым офицерам из Главного штаба, с которыми успел подружиться. Однако они не выразили ни малейшего удивления. Царящий хаос, неумелое управление, раздавленный полной неопределенностью патриотизм – все это приводило к тому состоянию вещей, против которого в данный момент не следовало предпринимать радикальных мер. Мне показалось, что и мои друзья пребывали в горестном разочаровании. Я был уверен, что они что-то знали, но не желали мне сказать из-за избыточной предосторожности.

Должен подчеркнуть, что в русской контрреволюции существовали, к сожалению, два противоположных начала – сентиментализм и патриотизм наряду со спекуляцией и жадной поживы.

Наша гостиница вскоре превратилась в штаб-квартиру всех веселых женщин Одессы, устраивавших оргии разных жанров вместе с офицерами.

Одной ночью я услышал в гостинце выстрел: одевшись и схватив револьвер, я быстро спустился вниз по лестнице.

Судя по всему, стреляли в ресторане, куда я и направился. Там в коридоре я увидел офицера, раненного в плечо и истекавшего кровью, а также двух полураздетых дамочек, пытавшихся его перебинтовать.

Я подошел, чтобы незамедлительно оказать помощь, но, приблизившись, обнаружил, что вся троица была невероятно пьяна.

– *Играют в кукушку!* – заявила мне одна из двух дам, дыша на меня отвратительным перегаром *водки*.

Я понял, в чем дело, и в раздражении передернув плечами, вернулся в свой номер.

Игра в кукушку – это макабральное развлечение, распространенное преимущественно у казаков. Расскажу о ней – может, кто-то из читателей захочет развлечь этой игрой своих гостей.

В первую очередь, перед игрой следует хорошенько выпить – все ее участники должны быть непременно пьяными. Нужен большой и пустой зал – если в нем что-то было, то это выносятся прочь. Игроки, назовем их так, становятся вокруг и устраивают считалочку, основанную на обычном подсчете поднятых пальцев на руке. Тот, на кого выпал жребий, становится в центр зала с заряженным револьвером. Остальные размещаются вдоль стен, принимая самые разные позы: стоят, сидят, стоят на коленях. По сигналу выключают свет – темнота должна быть полной.

Тогда один из игроков, тоже выбранный по жребию, кричит: *ку-ку!* – и тот, что стоит в центре, стреляет на звук.

Включают свет. Если кричавший «ку-ку» ранен, то он покидает зал... или его уносят. Если он остался цел, то теперь он занимает место в центре, а стрелявший прежде становится у стены. Так игра продолжается, или должна продолжаться... до полного «истребления».

И в этой игре, как и во всех, есть свои правила, свои исключения, свои хитрости, но не желаю долго о ней распространяться. В конце концов, это дело вкуса: кому нравится покер, кому – *кукушка*.

Однажды утром, отправившись в штаб, я узнал, что грузины, соединившись с «зелеными»*, а также войдя в союз с большевиками, в начале января заняли грузинский берег. Одесская радиостанция перехватила телеграмму Чичерина, который призывал население Грузии подняться против Деникина, обещая ему свободное и независимое правительство. Те же «зеленые» стали проникать и на Украину и, кажется, сговорились с Петлюрой о захвате Одессы.

Тогда же произошли некоторые инциденты, спровоцированные неприятием присутствия в Одессе французов со стороны русского населения. Я узнал, что недовольство Францией было вызвано ее попыткой высадить в Одессе несколько тысяч бывших русских военнопленных, имевших явные большевистские тенденции. Этой высадке энергично воспротивилось русское военное судно «Кагул». К тому же, французам приписывали первую сдачу Одессы в руки большевиков. Мне было непонятно разобраться во всех этих событиях и пытаться предугадать их последствия. Ситуация, уже достаточно хаотичная, ухудшалась с каждым днем.

Шестого февраля Деникин выступил с *Тихорецкой* радиостанции с обращением ко всем иностранным представительствам: «Битва на Одесском фронте переживает труднейший этап тчк В Одессе и Крыму собралось множество беженцев больных и раненых при полном отсутствии транспорта тчк При неуспехе операций им всем неминуемо грозит катастрофа гибель от рук большевиков тчк Обращаюсь к чувству гуманности ваших народов и прошу ваши правительства выслать пароходы для эвакуации Одессы и возможно Крыма тчк Такую помощь никогда не забудут и она даст возможность продолжать борьбу с максимальным спокойствием и уверенностью тчк Деникин».

Тут же в Одессе было объявлено осадное положение: командовать стали военные.

* «Зеленые» были разочаровавшимися большевиками и вообще дезертирами из двух воюющих армий; иногда они нападали на тех же большевиков, иногда – на контрреволюционеров. Если кратко, то они были вульгарными бандитами, без всякой дисциплины, но с оружием. О них вспомнили недавно газеты, так как [Павел] Горгулов, убийца французского президента, вроде бы был именно «зеленым». – **Примеч. автора.**



Беженцы, ютящиеся на пристани

На следующее утро ко мне в гостиницу прибыл один из адъютантов Шиллинга, умоляя меня поехать с ним по одному драматическому делу. Той ночью произошла атака на один городской район, где находилось множество магазинов и складов, и он был разбит и сожжен. Кажется, район назывался *Молдаванский*.

Приехав туда, увидели два медицинских автомобиля американского Красного Креста, которые собирали раненых. Никогда не видел такого вандализма и разрушения. Сломанные двери, разбитые окна, сожженные магазины, выброшенные товары, там и сям трупы. Одного повесили на пороге собственного дома, другому проломили голову; на лицах мертвых раздетых женщин отразился предсмертный ужас. Один *поп*, весь в ожогах, сидел мертвым на пороге своей церкви. Полученные сведения говорили о том, что напали «зеленые».

Однако точно понять, что именно происходило в эти последние дни перед падением Одессы в руки большевиков, было не просто, особенно иностранцу. Уверен, впрочем, что никто никогда не сможет узнать всю истину...

Тем временем отчаянный призыв Деникина подействовал на ряд держав, в одесский порт стали прибывать пароходы.

Одним из первых прибыл «Палацки» Триестского Ллойда, вместе с итальянским торпедоносцем «Джакомо Медичи», под командованием командора Веша. Из Константинополя прибыли также два американских транспортных корабля и один английский. Теперь в порту стояли пароходы под флагами разных стран.

В последующие ночи на улицы нельзя было выходить: в городе стреляли так, как будто шли бои. От взрывов тряслись стекла, а по утрам на мостовых валялись трупы.

Я без колебаний решил отплыть на «Палацки», который стоял на крайнем причале в западной части порта, ожидая погрузки беженцев согласно указаниям военного командования города.

Шел второй день моего пребывания на борту парохода, когда я чуть было не лишился жизни в одесском порту. В тот вечер я задержался в городе после заката в тщетной попытке поговорить с генералом Шиллингом. Я должен был пешком дойти до «Палацки», сиявшим огнями в отделении. Пройдя вооруженный караул, стоявший у входа в порт, я очутился в совершенно безлюдной зоне. Под ногами скрипел снег. Внезапно я увидел темную фигуру, нырнувшую за груды ящиков, затем – другую, проделавшую сходный маневр.

Решив, что это воры, я на всякий случай взял в руки револьвер, который носил в кармане шубы. В темноте я разглядел, что две фигуры вышли вперед, как будто намеревались перерезать мне дорогу. <...>*

Не задерживаясь ни на минуту, я поспешил к кораблю. Поднявшись на палубу, обнаружил, что я стал весь мокрым от пота, как будто побывал в бане. На следующее утро, снова вернувшись в город, я нашел место нападения, но кроме застывшего сгустка крови на снегу, ничего не нашел.

Генштаб и городская префектура были буквально забиты публикой самого разного сорта. Люди заполняли анкеты, ставили печати в паспортах и занимались прочими формальностями.

* Выпущен необыкновенно долгий рассказ (на трех страницах) о нападении на автора трех бандитов: после их выстрелов он упал, укрывшись за ящиками, откуда поразил одного, другие же убежали.

Я уже видел подобные сцены в Архангельске, однако в Одессе все было более интенсивно и нервно.

Расскажу один короткий эпизод: пусть он сам по себе и незначителен, однако имеет глубокий социальный смысл. К префектуре подъехали нищие сани с тощей клячей и с убогим *извозчиком*. С саней сошла изящная госпожа в норковой шубе, так странно контрастирующей с бедным экипажем. Я стоял рядом и мог хорошо слышать разговор:

– *Сколько?* – спросила госпожа, открывая сумочку.

– *Сколько вы хотите,* – смиренно ответил извозчик.

Госпожа протянула ему несколько русских банкнот, лишенных какой-либо ценности.

– *Так мало?* Дайте мне на чай, – протянул *извозчик*.

Этого ему не следовало говорить: госпожа, покраснев от гнева, снова сунула руку в сумку и, свернув банкноты в комок, швырнула его в лицо извозчика:

– *Возьми, тряпка!* – крикнула и ушла.

Думаю, что если извозчик еще не был большевиком, то в тот момент он им стал!

Я рассказал об этом Росси, но тот, улыбнувшись, заявил, что все это не имеет особого значения, так как с извозчиками из-за их жадности и грубости всегда обходятся без деликатностей.

Развитие событий подтверждали телеграммный призыв Деникина к эвакуации, однако никто не мог точно предвидеть, когда большевики захватят город. Американцы уже погрузили основную часть своего конторского имущества и медицинского оборудования, а также многих беженцев. Товары, которые недавно прибыли из-за границы, вновь перевезли на пароходы. В порту шла невиданная прежде лихорадочная работа под контролем заинтересованных лиц.

«Палацки» тоже взял на борт беженцев, а также грузы итальянских экспортеров. Время поджимало: новости становились все более тревожными. Росси, решив уехать в Италию, тоже поднялся на борт корабля со всем своим семейством.

Утром 20 февраля, несмотря на попытки отговорить меня, я отправился в город. Жажда новостей, горячее желание увидеть



Ожидание визы в консульстве

все своими глазами пересилили благоразумие. Я хотел также попрощаться с моими друзьями из штаба и поблагодарить их за теплое ко мне отношение. Не доходя до главной площади, я услышал дикие возгласы:

– Большевики! Большевики! Идут! Идут!

Стало ясно, что конец близок, и толпа устремила в порт. Мчались сани, груженные сундуками; люди тащили санки с узлами и прочей поклажей; бежали целые семьи. Это были те, которые до самого последнего момента тщились иллюзией, что большевики в Одессу не вернутся. Все быстро двигалось передо мной, как трагический кинофильм. Как можно описать в нескольких строках увиденное?

В порт вела одна-единственная улица, которая теперь была забита экипажами, санями, людьми – толпа все росла,



Подъем по трапу на «Палацки»

и теперь она уже не могла двигаться ни вперед, ни назад. Протиснуться сквозь нее не было никакой возможности. Вдали раздалась сирена моего парохода – через час он должен был отплыть.

Мое положение было незавидным, и я клял свое неуместное любопытство. Неожиданно близ меня раздался звук клаксона. Это был автомобиль американского Красного Креста, с трудом прокладывавший себе путь. Он и стал моим спасением!

Машина, как я и предполагал, была битком забита, однако когда она поравнялась со мной, я вскочил на подножку и прокричал шоферу:

– Allo! I am the Italian consul!

Шофер любезно отсалютовал и открыл дверцу внутрь, где я обнаружил раненых и врачей. Машина застряла среди толпы.

В этот момент я услышал свист снаряда, который пробил грузы, однако не взорвался. Большевицкая артиллерия начала обстреливать порт. Американский врач осознал весь трагизм положения и жестко приказал шоферу любым способом продвигаться. Вскоре мы все-таки въехали в порт, где было попросторнее. Поблагодарив, я побежал к «Палацки».

В порту я увидел и готовый к отплытию миноносец «Джакомо Медичи». На причале у своего парохода я увидел шумную толпу. Наш экипаж стремился не пустить на борт людей, которые лезли по канатам. Капитан, увидев меня среди толпы, приказал нескольким морякам проложить мне дорогу. Последним на борт поднялся синьор Де Поллоне, агент Триестского Ллойда, который и дал команду к отплытию.

Вдали раздавались звуки стрельбы, вздымался дым от пожаров. Вопль отчаяния раздался с пристани, когда мы отплыли. Какой-то дюжий молодой господин сумел повиснуть на тросе, и его подняли на палубу.

Пароход был битком забит беженцами: они сидели в спасательных шлюпках, на лестницах, на канатах. Раздался свист снаряда, упавшего в море в нескольких метрах от носа корабля. Выстрелы вдали становились все интенсивнее – мне послышался и треск пулемета.

Бешеная борьба развернулась у причала, где стоял миноносец*. С командного мостика мы видели ужасные сцены, но не могли никак вмешаться. «Палацки» умелым маневром оторвался от пристани: мы увидели, как какой-то человек упал в море, среди волн и льдин – сброшенный толпой или от отчаяния.

В море рядом с нами упал снаряд, затем два других. Возможно, нам приказывали таким образом оставаться в порту. «Вперед на полном ходу!» – скомандовал капитан «Палацки», и пароход, раскачиваясь от вращения своих винтов, вышел в море, груженный разбитыми иллюзиями и горем.

Ружейные выстрелы и глухой рев пушек над несчастным городом еще долго сопровождал наше плавание.

* Командор Веша, с которым я встретился несколько дней спустя в Константинополе, рассказал мне, что корабль был обстрелян, и два его моряка получили легкие ранения. – **Примеч. автора.**

Послесловие

Теперь, после того как я привел читателя в малоизвестные пространства, представив перед ним малый фрагмент великой русской трагедии, я хотел бы закончить мой объективный и, насколько возможно, исторически достоверный рассказ рядом соображений – возможно, они не лишены интереса, так как мне лично довелось быть очевидцем событий, а итальянцев там тогда было крайне мало.

Начну с того, что интервенция в Россию со стороны союзников имела две определенные цели – политическую и экономическую. Она произошла только лишь после того, как возникла уверенность, что Ленин и Троцкий, используя свое влияние на массы, будут действовать в ущерб Антанте. Ее политическая цель, в свою очередь, тоже делилась на два взаимосвязанных направления – оборонительное и наступательное.

Оборонительная цель была вызвана тем, что в разных странах Антанты во время войны возникла атмосфера усталости и недоверия, приводившая к крайней раздражительности населения и, следовательно, к возможным революционным взрывам большевистского толка.

Наступательная цель состояла в том, чтобы вырвать из рук большевиков общественную власть в России, которую они узурпировали.

Экономической целью, вне сомнения, было обеспечение гарантий для союзников в отношении взятых у них старой Россией огромных займов: их категорически отказывались выплачивать Ленин и Троцкий.

В тот момент только особая психология русского народа могла сделать возможным утверждение большевизма.

Народ этот, живший в стране, где не знали ее границ и где могла царить вечная весна или вечная зима, народ, живший для мечты и мечтавший о жизни, был ввергнут в великую войну, понеся тяжелые жертвы – и кровью, и достоянием.

Народ изначально сражался ради традиционных ценностей, а не по убеждению или вдохновению, не понимая глубинных причин войны, от которой он устал и в которую более не верил.

Слово «царь», вмещавшее в себя идею и родины и веры, было единственным, что оправдывало возложенные на народ жертвы. «Царь-батюшка» был всем.

Как только этот символ исчез, растоптанный большевизмом, русский народ, почувствовав себя свободным от какой-либо жертвенности, в отчаянии бросился к приманке революции – равенство политическое, общественное, экономическое.

Когда Ленин со всей его влиятельностью бросился поносить войну, русскому народу показалось, что пришел новый, желавший ему только добра пророк: ему стали слепо повиноваться.

Большевизм утвердился только потому, что вожди-большевики захватили власть над массой, которая – из-за природы русского человека – «должна» была кому-то подчиниться.

Поэтому в борьбе с большевизмом не было смысла воевать с массами, нужно было воевать только против вождей. И это, вероятно, не было оценено должным образом. Антанта бросилась в русскую авантюру, будучи самонадеянно уверенной в своем успехе. Однако союзнические войска, уставшие от долгой войны, не имели воли к борьбе за дело народа, с которым не чувствовали никакой близости. Антанта, насколько я могу судить, не смогла заняться серьезной и эффективной антибольшевистской пропагандой.

Подобный подход вызвал только недоверие среди аморфных масс, более того – успешная большевистская пропаганда сумела возбудить ненависть к чужеземцу, который решил вмешаться во внутренние дела России.

Я уверен, что если бы союзники действительно захотели бы задушить большевизм в зародыше, то они смогли бы это сделать – нужно было деятельное их сотрудничество, разумно основанное на общих целях.

История в итоге разъяснит причины, почему то или иное не состоялось. Мы не имеем права по еще таким свежим следам реально выявлять и тем более судить ошибки, если таковые были. Только тот, кто сможет собрать и выстроить в порядке все элементы той бурной эпохи, будет в состоянии дать миру верное суждение.

Публикация и перевод с итальянского
Михаила Талалая

Одесский календарь

94 Евгений Голубовский
Обостренное чувство такта

Обостренное чувство такта

Разговор со скульптором Георгием Франгуляном



Международный конкурс на создание памятника Исааку Бабелю в Одессе выиграл московский скульптор Георгий Вартанович Франгулян. Я мог бы сказать – тбилисский скульптор, поскольку детство и юность мастера прошли в Тбилиси. Я мог бы сказать – армянский скульптор, и это тоже правда. Но Георгий Франгулян сегодня – человек, отвечающий на вызовы мирового искусства, думаю, ему тесно в любой национальной квартире. Достаточно вспомнить, где установлены его монументальные скульптуры.

Памятник Петру Первому в Антверпене, Александру Пушкину в Брюсселе, «Ладья Данте» в Венеции, императрице Елизавете в Балтийске, в Москве – Святославу Рихтеру, Борису Ельцину, Араму Хачатуряну, Булату Окуджаве на Арбате, Иосифу Бродскому в районе американского посольства.

Это монументальные работы, а на выставке в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, где Георгий Франгулян как бы частично воссоздал свою мастерскую, был блистательный ряд его камерных скульптур, восходящих к античным образцам, но осмысленных в ХХI веке как «новая античность», картины маслом (скульптора манит цвет), рисунки... Кстати, его персональные выставки проходили и в Италии, и во Франции, и в Бельгии, далее – везде...

Два дня пробыл в этот раз Георгий Франгулян в Одессе. И мне показалось, что необходимо познакомить одесситов, где бы они сейчас ни жили, с мастером, который с детства влюблен в наш город. С мастером, чей памятник Бабелю на улице Жуковского стал одной из визитных карточек нашего города.

– Георгий Вартанович, давайте начнем нашу беседу в лоб: что такое, по вашему мнению, хороший скульптор?

– Во-первых, это большая редкость. Увы, это не то, чему обучают в институте. Это овладение языком, видением не предмета, а пространства. Я мало с кем могу говорить из тех, кто окончил скульптурное отделение, на одном языке. Мне кажется, что и я только овладеваю этим языком, так что не до того, чтобы почитать на лаврах. Слишком сложные задачи должен в работе решать хороший скульптор, он должен быть архитектором, живописцем, графиком. И в результате – скульптором. Ведь приходится работать в пространстве. Сама ситуация диктует тебе выбор стиля, манеры, а значит, пластическое решение. Скульптор должен тактично выступить на фоне существующей, не им созданной среды.

Следовательно, должно быть обостренное чувство такта. И все это естественно для хорошего скульптора.

– Мешает ли «литературность» сюжетов монументальной скульптуре? В какой мере скульптура должна «рассказывать», в какой – «показывать»?

– В монументальной скульптуре литературность должна быть. Но языком пластики я должен суметь передать идею. И этот язык должен быть прочитан зрителем без слов. На языке чувств. Не сюжет должен доводить, а тема. Образ, созданный мной, метафора должны восприниматься зрителем естественно, как не требующие литературного объяснения.

Даже в античном искусстве преобладает композиционное воздействие на человека. Кстати, как и музыка, даже если она написана программно, все равно действует прежде всего на чувства. Скульптор должен обуздать сюжет, как мустанга. Это очень сложная задача. Нужно владеть языком символов...

– Георгий Варганович, вы упомянули античную скульптуру. А с кем из мастеров прошлого – от Фидия до Генри Мура – вы ведете тайный диалог в своей мастерской?

– Более 45 лет я занимаюсь своей профессией. Был период постижения, который и сейчас продолжается. Но уже не как ученик с учителями, общаюсь с великими. Недавно в Риме я смотрел на статую работы Микеланджело. Смотрел не со слепым восхищением, как в молодости, а осозная, как достигнут результат, более того, поймал себя на мысли, что замечаю просчеты гения. И тут я подумал, что вошел в мировой цех скульпторов. Каждый должен осознать: или нужно все бросить, или стать звеном истории искусства. Это и есть миссия настоящего художника. Иначе это не искусство, а ремесло.

– А теперь вопрос более конкретный. Как у вас рождается замысел той или иной монументальной скульптуры?

– Вначале возникает предложение что-то сделать. А затем – у меня, во всяком случае, – огромная концентрация мысли, чувств, переживаний. И начинают появляться образные решения, точность видения. Я могу сравнить это с тем, что называют озарением. Кстати, это один из самых счастливых мигів в работе скульптора. Потом ощущаю средy, думаю, как соприкасаться

с ней, как вписаться в нее. Скульптура – не предмет. Это решение пространственной задачи. Ты лепишь пространство, создаешь новое пространство – это все скульптура. Кстати, хорошие архитекторы – всегда скульпторы. Зимний дворец – это скульптура, весь Гауди – это скульптура. Это оркестр объемов.

– Замысел возник. В какой степени заказчик мешает или помогает? Были ли сложности с памятником Б.Н. Ельцину и его семьей?

– Признаюсь, чаще всего мне везет. Более комфортно, чем в работе над памятником Б. Ельцину, я себя редко чувствовал. Мне позвонили, объяснили, что и семья, и правительство хотели бы, чтобы я сделал надгробие Борису Николаевичу. Я спросил, есть ли какие-нибудь ограничения, пожелания. Никаких! И тогда, посмотрев пространство, учитывая, что не遠деке памятник Э. Неизвестного на могиле Н.С. Хрущева, я нашел образ, который меня устраивал. Никакого портрета, никаких украшений. На могилу наброшен триколор – российский флаг. Здесь работает цвет, византийская мозаика. Когда родные увидели проект, первым ощущением Татьяны и Наины Иосифовны был шок! Но они поверили в то, что это образ куда более значимый, чем Ельцин на танке. Затем меня поддержали в правительстве. Так что, заказчики становятся друзьями.

– Взаимоотношения художника и власти...

– Всю жизнь я ощущал себя независимым человеком. Гордым человеком. Не раз говорю интервьюерам: я самодостаточен. Свои убеждения ни с кем не обсуждаю, мой художественный мир не зависит от власти. Я это знаю, и власть уже это знает.

– Что для вас Одесса и что для вас Бабель?

– Одесса – город, очень близкий по духу Тбилиси. Масштаб города, его дворы, любимые мной платаны. Впервые я увидел Одессу, когда мне было 6 лет. И первое впечатление не замутилось. Я пронес его сквозь годы, хоть бывал здесь много раз. И сейчас у меня в Москве на стене висят картины одесских художников. Я не коллекционер. Но «Апостол» Александра Ройтбурда и «Армения» Сергея Лыкова стали частью моего мира. Когда я их покупал у них, этих молодых ребят еще толком никто не знал. Но, видите, не ошибся. Для меня Одесса – это концентрация радости. Тут и мягкость человеческой среды, и плотность воздуха, и добрый запах жилища.

Бабеля я начал читать еще в школьные годы. Конечно, тогда не задумывался над его судьбой. Я просто упивался красками его мира. Сейчас читаю иначе – по несколько страниц, его нельзя читать залпом. Это как выдержанное вино. Не расплескать все чувства. Естественно, в зрелом возрасте я понял, что Бабель – фигура трагическая. Как он ни выглядел внешне, но наедине с собой он не мог быть благополучным. Конечно, он ощущал, что система его давит и может раздавить. Поэтому писал «в стол», для денег пробавлялся кинопроизводством, журналистикой. Но и то, что создано после «Конармии» и «Одесских рассказов», – литература высокой пробы.

– Оглядываясь назад, какие из своих монументальных скульптур вы оцениваете выше, какими менее довольны?

– Я не люблю оглядываться назад. Возможно, из трусости. Конечно же, боюсь увидеть недостатки. Но, конечно, умею смотреть на себя со стороны. Иногда радуюсь – как мне такое удалось, иногда огорчаюсь – как же я мог не заметить... Но в целом для меня важно то, что впереди. И поэтому вершину я определил одну – историю искусств. Для меня неважно стилистически, какое течение – «архаика» или «кубизм», какой жанр. Для меня важнее всего – целостность и такт. Если это есть, значит, все в порядке.

– Раз для вас важнее всего, что впереди, так действительно, что впереди, Георгий Варганович?

– В моей жизни всегда два праздничных мгновения: когда придумываешь и когда осуществляешь. Может быть, памятник Бабелю – одна из последних монументальных работ. Меня все больше увлекают камерные скульптуры. Начал делать работы из стекла, много рисую. Какое это счастье, когда в этот же день перед тобой законченная работа!

И все чаще вспоминаю слова, услышанные мной в Равенне. Я для одной старинной базилики делал распятие. Приехал кардинал, духовные лица. Они долго заседали. Затем ко мне вышел кардинал и сказал: «Сын мой, это прекрасное произведение искусства, духа и веры». Как это важно, чтобы во всем, что делаешь, была гармония... И с миром, и с самим собой.

Евгений Голубовский
Фото Анны Голубовской

Проза

- 100** Аманда Михалопулу
Отец и собака
- 105** Янина Желток
В Берлин едет Зоя
- 109** Анна Михалевская
Тодосий
- 113** Сергей Кравцов, Екатерина Бойчук
Отмычка Соломона

Аманда Михалопулу

Отец и собака

Аманда Михалопулу – участница Международного литературного фестиваля в Одессе в 2016 году. Именно ей была оказана честь – предоставлено право выступить с программным эссе на открытии фестиваля. Уезжая из Одессы, греческая писательница предложила нашему альманаху этот свой рассказ.

Я встретила своего отца возле Потсдамской площади через три года после его смерти. По утрам я ходила в библиотеку берлинского культурного центра «Культурфорум». Ровно в девять двери открывались, и каждый раз я готова была побиться об заклад, что смогу занять отдельный столик у окна, расположенный прямо за местом дежурного библиотекаря. На столе стояла табличка, гласящая: «Библиотекарь», – но я никогда никого там не видела. Дежурный служащий лишь изредка появлялся, толкая перед собой тележку со сданными книгами, и снова исчезал.

Я торопилась побыстрее войти в библиотеку, сдать в гардероб перчатки и шапку и нырнуть в читальный зал с книгами по искусству. Первым делом нужно было повесить пиджак на спинку стула. Только тогда, закрепив таким образом свои права на этот стол, я отправлялась в туалет или к кофейному автомату – бросить евро в обмен на чашку кофе.

На обратном пути я уже издалека начинала с гордостью оглядывать свое место. Спрятанный за библиотечными шкафами, удаленный от длинных монастырских столов, где теснились студенты, словно ученые монахи, часами сидевшие над своими бумагами, мой стол ждал меня.

Белокурая девушка, с которой мы когда-то соперничали в борьбе за этот стол возле окна, сидела, как обычно, в большом читальном зале и смотрела на меня с обидой. Она выглядела хрупкой и печальной. Сначала она упускала свой шанс из-за того, что шла в туалет или слишком долго задерживалась у кофейного автомата, пытаясь найти монеты на дне сумки. А потом с этой девушкой, скорее всего, произошло то, что случается со всеми людьми, когда они постоянно переживают неудачу: она уверовала, что стол у окна по праву принадлежит мне.

Что ж, тем лучше. Я всегда получала книги, необходимые мне для работы (в то время никого не интересовали чепчики Шардена, палитра Фрагонара или отрезанная голова Караваджо), а если какая-то из них уже была на руках, легко заменяла ее другой.

Наконец я закончила со своими заметками. Теперь для вдохновения и тренировки мне нужны были только портреты.

Поворачивая с Потсдамской на улицу Герберта фон Караяна, я увидела отца. На поводке он вел нашу собаку, Сергея, которого еще десять лет назад был вынужден бросить на горе Пендели. Сергей сошел с ума и начал кусать нас. В последний раз он прокусил мне локоть. Пока мы ехали до больницы, лоскут кожи и мясо свисали с руки так, что была видна кость. Когда врачи наложили швы, мы приняли решение. Отец отвез собаку на гору. Там он подальше зашвырнул палку, Сергей бросился за ней, чтобы принести обратно, отец сел в машину и повернул ключ зажигания. Должно быть, ему было трудно. Мой отец не бросал никого и никогда. До самой своей смерти, конечно.

Я была уверена, что это он, и не только из-за собаки. В течение двух лет учебы в аспирантуре я непрерывно изучала автопортреты художников. Сатир Шиле, женщина-олень Фриды Кало, Гойя, которого поддерживает его лечащий врач. Диссертация, которую я готовила к защите, пока носила рабочее название «Портрет и псевдопортрет – изобретение личности». Я изучала исследования по психологии, феноменологии, неврологии, посвященные вопросам проекции, фиксации и изобретения самого себя.

Отец был примерно в десяти метрах от того места, где я застыла. Он шел по другой стороне улицы, засунув руки в карманы

анорака цвета хаки, точно так же, как делал, когда был жив. Под курткой – пуловер, который моя мать купила ему на последний день рождения, желтый лакостовский свитер с узором из кос. Те самые бежевые вельветовые брюки с отвисшими коленями. Его ботинки были мне как будто незнакомы. Только перейдя на ту сторону, не зная еще, что и как ему скажу, я вспомнила его любимые бежевые ботинки «Себаго». Мать хотела их выбросить. Но он сказал ей: «Если поменять шнурки, будут как новые».

Я подошла вплотную. Он яростно смотрел на горизонт своими маленькими глазками, словно желая содрать с него шкуру. Мне понадобилось всего несколько секунд, чтобы подойти к нему и преградить дорогу, но за эти мгновения я успела заметить, что он нервно засопел и начал откашливаться. Это был тот сухой звук, то «кхмм», который мог издать только мой отец. Длинные бакенбарды, косматые брови. Его волосы толком не поседели, но он причесывал их так по-стариковски, словно давным-давно поседел, – отец был точь-в-точь таким, как я его помнила. Сергей наострил уши и зарычал – все как всегда. Я так и не увидела его в последний раз. Но зато отца – да: я поцеловала его ледяной лоб, а затем гроб опустили в могилу. Сначала я плакала подолгу, потом чуть меньше и, наконец, вернулась к своей прежней жизни. Мне никогда не встречались привидения или тени, ко мне не приходили вещие сны. А теперь он идет навстречу и даже не смотрит на меня. И это было понятно: мир моего отца недоступен для нас, оставшихся здесь.

«Папа», – проговорила я.

Между нами был только один шаг, да что там – полшага, и если бы не его исключительная реакция, он наступил бы мне на ногу. Отец посмотрел с недоумением. Сергей обнюхивал меня и скулил.

«Папа, – снова сказала я. – Ради всего святого... что, что это такое?»

Он пробормотал что-то по-немецки. Это был именно его голос. Он говорил на немецком лучше меня, хотя я шесть лет учила этот язык в университете.

Мой отец не знал немецкого. Вспоминая о второй мировой войне, он произносил слова, которые выучил за время Оккупации,

с ужасным акцентом. Отец и его друзья, измученные ненавистью и голодом, разрывались между двумя полюсами бытия: они резали шины немецких грузовиков и в то же время выпрашивали «айн бисьен брот» – «немного хлеба» – у немецких солдат. Папа говорил, что не держал зла на немцев, что люди меняются к лучшему. Чтобы доказать это, он навещал меня в Берлине в первые годы моей учебы. Его восхищало все: тротуары, липы, соборы, парки и деревянные игровые площадки для детей.

«Папа», – пыталась сказать я, но голос изменил мне.

Отец спросил меня по-немецки, все ли со мной в порядке. Я смотрела на него, не отрываясь, пытаюсь найти хоть что-то, что было бы не так. На щеке у него была все та же приплюснутая родинка, на безымянном пальце – его обручальное кольцо.

«Как это у тебя получилось?» – спросила я его снова, на этот раз по-гречески. А он поинтересовался, не нужна ли мне помощь. «Да, нужна, конечно. Я хочу понять, как вообще это возможно, как ты это делаешь». «Это же Сергей», – добавила я уже по-немецки.

«Вы его знаете?» – спросил мой отец.

Я бросилась ему на шею. Обняла его, вдохнула аромат лосьона после бритья в ямке возле шеи. Я знала этот аромат, и мне так хотелось, чтобы это мгновение длилось еще немного, и разговоры были не нужны. Отец решительно оттолкнул меня, но я все поняла и без его участия, и без напоминания Сергея, который начал угрожающе рычать. Я отстранилась. Мне было очень хорошо известно, на что способна наша собака.

Папа в отчаянии опустил руки. Он смотрел на меня так, словно я ненормальная. Я отступила назад, но, отходя, не отрывала от него взгляда. Он чуть склонился вправо, словно по-прежнему тащил рабочий портфель. Как, как у него это получилось? Он вышел из могилы и заглянул домой за одеждой? А затем поднялся на гору Пендели и нашел Сергея? Почему он оказался здесь и жил рядом со мной, в Берлине? Отец говорил, что ему нравится этот город. Должно быть, он любил и меня – по-своему. Здесь мы вместе ходили в оперу – напряжение было почти невыносимым, но нам не нужны были слова. Должно быть, он быстро выучил язык и жил в какой-то маленькой квартирке, смотря телевизор и питаясь по-спартански.

Кому я могла бы рассказать об этом, чтобы меня не сочли сумасшедшей? Надо было сфотографировать его на мобильный, тогда у меня, по крайней мере, было бы доказательство. Я вышла на Потсдамскую улицу. Отец и Сергей исчезли. Я побежала, крича и пытаясь дозваться их. Прохожие смотрели на меня с изумлением. Когда посреди европейских площадей с их морозным воздухом раздается пронзительный крик, кажется, будто кто-то снимает фильм, всегда один и тот же. Люди растворяются в толпе, за ними следуют другие, и в фильме те, кто исчез, никогда не возвращаются. Поэтому и музыка всегда печальна, или ее нет вообще.

С поникшей головой я вернулась в библиотеку. Проходя мимо окна, я подняла глаза и увидела ту белокурую девушку. Она сидела на моем месте. Книги лежали в беспорядке, а ее улыбка была полна торжества.

Греция



Янина Желток

В Берлин едет Зоя

По-прежнему было жарко. Зое хотелось собраться и сделать что-то полезное, но она не могла. «Впечатление, будто меня разорвало на десятки кусков, и куски эти теперь валяются там и тут по саду. Собрать их вместе невозможно. Написать одно предложение – победа глобального масштаба. Подмести пол на кухне – подвиг», – думала она.

Целыми днями Зоя рылась в сетях. Зависала на Фейсбуке и проверяла через Скайсканер, куда можно улететь самолетами из соседних городов. Выходило, что можно очень дешево улететь в Италию и в Исландию из Польши, Венгрии и Румынии. В Берлин тоже недорого. Еще Зоя смотрела, как попасть в Бразилию. И снова вспомнила про свою старинную мечту о кругосветном. Бросить все – и в путь. Может быть, в декабре? Или в марте?

Зоя искала путешествия днем, а ночью жаловалась знакомым, что дико грустно, и непонятно почему.

Подруга Вероника, жительница Милана, написала с Камчатки (как она там оказалась-то?), что «в декабре и в марте в Италии холодно и сыро, все экономят на отоплении, приходится дрожать, так что, со стартом путешествия по Европе лучше подождать до тепла».

За два дня до ливня Зоя выпила ледяного вина на ярмарке и погрузилась в особенно холодную волну уныния. Тут один приятель прислал Зое чудесное письмо. Ответ на вопрос «Что делать с унынием?». Точнее, там было сразу три ответа.

Итак, он написал:

1. Уныние пройдет само.
2. Влюбись, если получится.

3. Если хочешь, можно съездить на выходные в Берлин. Там такая классная выставка – испанское искусство 17 века. Мне совершенно не с кем поехать, а одному все же не так интересно.

А этот приятель, тот, что в Берлин, был просто ее коллегой. Однажды они обсуждали за ужином ее идеи для проекта, где он трудился. Потом поговорили на более веселые темы, чем просто работа. Чуть-чуть про мужей и жен. Ну и всё. Угостил ее ужином – и славно.

Но если вместе в Берлин, то это совсем другой расклад.

Тут она почувствовала, что уже не скучно.

Зоя залезла в Скайсканер и нашла самолет, и проложила свой маршрут. Итак, послезавтра надо сесть на львовский поезд. Из Одессы он уходит в пять вечера, а приходит во Львов в пять утра. В шесть из Львова стартует автобус в Жешув. В 10 утра она в польском Жешуве. Взлет в 13:50 в пятницу, в 15:00 она в Берлине. Обратный лоукост приземляется в Румынии. Как уехать из этих Тимишоар, не совсем ясно, и все же понятно, что оттуда она тоже выберется на автобусах и поездах. В принципе, можно съездить. Но зачем ей туда? Испанское искусство ведь никуда не денется! И еще более важный вопрос – достаточно ли вдохновляет ее юноша, чтобы ради него идти на траты и что-то врать семейству?

Она написала: «Хахаха. Билеты я нашла на ближайшие выходные. В пятницу могу быть в Берлине, в воскресенье билет обратно. Но, честно, совершенно неохота ехать. Почему не хочешь ехать сам?»

И отправила письмо.

Он не ответил сразу.

Зоя думала о том, что если сейчас он станет уговаривать ее, стараться и убеждать, она, скорее всего, согласится. И через три дня будет в Берлине. А что?! Она уже десять лет не была там. Там прекрасные музеи, дешевые хостелы, много шаурмы и полно немцев, с которыми можно наконец поболтать на немецком. Язык требует практики – это аксиома и основная причина ее отъезда в немецкую столицу. Главное объяснение и оправдание для семьи.

Будет ли он уговаривать? Этот удивительно воспитанный и благородный парень. Когда их представили друг другу, Зое даже показалось, что он настолько хорош и умен, что она не до-

тягивает до него даже в качестве сотрудницы. Высокий, тонкий, светловолосый, отец четырехлетнего сына. Женат. Пожаловался Зое на прохладный ветерок типа сквозняка, который чувствует дома. «Наверное, так теперь будет всегда», – сказал он, виновато улыбнувшись. Зовут Андрей. Конечно, Андрей. Любимое имя Зои. Андрей обожает Берлин и немецкий, много лет учит язык, но говорить стесняется. В ее мозгу такие славные парни проходили под кодовым словом «лорды».

И в Берлине тоже он не будет уговаривать Зою. Он предложит покушать вот в этом красивом заведении на Унтер-ден-Линден, а выпить кофе в другом, около зоопарка под Мариенкирхе. Во время делового обеда он уже сказал Зое, что она красивая. В Берлине он придумает еще пару таких же вроде бы ни к чему не обязывающих комплиментов, типа «загорелые руки» или «ух какие! сильные плечи». Он купит ей какую-то штучку. Он пригласит ее к себе в гости между прочим, но обязательно. Такой мальчик, спокойный и знающий себе цену, будет наблюдать за женщиной, пока она сама не залезет к нему в кровать. В ситуации «Берлин и Гойя» она не видела другого развития событий.

Она снова открыла мессенджер. Ответа не было.

Ага. Он решает. Ну, пусть решает. Я тоже не люблю уговаривать мужчин.

А вот еще интересный вопрос. Сколько стоит поехать в Берлин оттуда, где он сейчас. Из города, где они обедали летом. Она открыла Скайсканер и набрала: Берлин Пятница. Двадцать тысяч туда и обратно. Вот ведь как легко можно узнать, во сколько ему обойдется такое путешествие. И в то же время совершенно нельзя понять, сколько это для него. Приблизительно неделя работы в офисе. Или две. Предположим, полмесяца работы – и это только билеты на самолет. Вроде бы много. Но жизнь там – она совсем не такая, как тут, и эти 20 могут быть для кого-то «нисколько», а для другого – «Гигантские Бабки»!

Тут Зоя почувствовала легкую волну, которая толкает путешественника в спину перед дорогой. Путешествие в столицу! Путь в Берлин! Он где-то шумит, Берлин! Все говорят, что там весело. А она отвечает, что вряд ли. Возможно, за десять лет там что-то изменилось в сторону радости. Может быть, Зоя будет там

в конце недели! В Берлине! Однажды, когда Зоя заканчивала школу, старичок сосед принес ей вырезку из газеты. Этот был заголовок из советской газеты. Там было написано «В Берлин едет Зоя». И тогда, когда Союз только кончился, это выглядело как волшебное заклинание, фантастическое предсказание. Но сейчас – просто смешно – можно поехать туда хоть послезавтра. И на три дня, и на месяц. Теоретически – да! Никакого повода не нужно. Виза есть, немного денег тоже. Вот ведь как приятно изменилась ее жизнь. В Берлин едет Зоя!

Если бы в этот момент пришло его письмо – она бы точно согласилась на этой веселой волне. Но ничего не пришло.

Перед тем как заснуть, Зоя посмотрела прогноз погоды. Прогноз был неожиданным: дождь утром, дождь днем, дождь вечером. Очень странно, дождя не было много недель! Сложно поверить, что он наконец пойдет.

Зоя уснула спокойно. Она решила не ехать. Время ответа просрочено!

Зоя проснулась от шума листьев. Это был даже не дождь, а ливень. Где-то в шкафах лежали спрятанные весной сапоги и куртка, но где – Зоя не могла спросонья вспомнить. Зоя успела закипятить чайник, когда отключили электричество. Нет электричества, значит, нет и Интернета. Что он написал?

На кухне кто-то из котов нагадил в раковину.

Снаружи стало вдруг очень холодно, внутри очень спокойно. И неважно, что он написал, потому что в такую холодину, да еще под дождем, она не собирается никуда ехать.

Зоя надела два свитера, куртку, шарф, новые резиновые сапоги, полностью белые и на белой подошве, и пошла на кухню. Кто тут нагадил, хулиганчики мои?!

Что же он ответил? Как он отвертелся?

Вечером Зоя нашла письмо.

Андрей писал, что мог бы поехать в пятницу через неделю. «В эти выходные я не могу в любом случае». Ага! А ведь там было написано «на выходные». Отличная отговорка. Благородный выход из игры. Но уже не имеет значения. Проехали. Обиды, печаль и уныние исчезли. Их смысл ливень.

Анна Михалевская

Тодосий

Посвящается моему дяде, погибшему в Великую
Отечественную войну

Круговая порука рода. Вчера не сделал, сегодня не вспомнят. Сегодня не вспомнят и завтра сами не смогут сделать. Не из вредности и неумения, а будет некогда и незачем. Может, и некому.

Стоит человек на сцене, он горд успехом – получилось, свершилось, всего добился сам! Но кто посчитает опыт неудач всех тех стремившихся и не успевших, два шага не добежавших до сокровенного счастья, прерванных войнами, революциями, скитаниями по чужбине? Имен их не сочтешь, они – это ты и твоё место в мире. Каждый по капле много сотен лет собирал тебе на приданое драгоценности своих неудавшихся жизней – держи, это все, что у тебя есть! Не так уж много, но большего и не нужно.

Кажется, что время движется по прямой, но иногда оно замыкается в круг. Вчера прошел мимо любви – к женщине, к жизни, к истине – она встретится сегодня, а не примешь – постучится завтра к твоим детям, внукам, правнукам, и кто-то да откроет ей двери.

* * *

Тодосий смотрит на нее и улыбается. Впервые с момента приезда в город он действительно хочет улыбаться, а не кривить рот в усмешке, слушая по-деревенски незатейливые разговоры родственников. Он не презирает их, даже по-своему любит и еще немного жалеет... или завидует – им ведь так немного надо.

А с Таей все по-другому. Они живут в соседних комнатах, и он подкарауливает ее, облокотившись на шершавую штукатурку стены, в руках – блокнот с новым, написанным за ночь стихотворением. Выходя, она непременно обернется, чтобы отыскать его горящий взгляд, и отрепетированное перед зеркалом кокетство отступит в тень, оставив поле боя за робкой победительницей, первой любовью.

«Заговорит, промолчит? Все же профессорская дочка», – гадает Тодосий и медленно подходит к раскрасневшейся девушке, чувствуя, как у самого загораются щеки. Ему не по себе. Дырявые ботинки жмут, доставшиеся от дяди штаны висят мешком, липнет к телу латаная рубаха. Но он не желает ждать! Новые штаны Тодосий купит потом – когда прославится, а вот Тая может уехать завтра в другой город, выйти замуж, забыть о нем. Он не гонится за долгой и счастливой жизнью, ему достаточно мига, а после – хоть пожар, хоть потоп.

Они легко подружились, да и в чем могло быть препятствие? Хаос войн и революций изодрал в клочья приличия и обычаи, выставив человеческие натуры напоказ: одним не нашлось чем прикрыться, а другим – что скрывать. Время больших потерь и больших возможностей. Но Тодосий не складывал и не вычитал своих шансов – он пошел за Таей потому, что хотел этого, не задумываясь, куда приведет дорога.

Кто-то обустроивался в разрушенном революцией мире, кто-то бредил морем, кто-то коммунизмом, а Тодосий был одержим писательством. Эта его склонность произросла сама собой на неблагодатной почве деревенского быта – в нищей семье родился мальчик, который складно писал и мыслил, рвался в школу, как его сверстники – в игры, и научился мечтать к тому времени, как другие смирились с безысходностью. Тодосий подрастал, жадно глотая книги, какие смог отыскать в бывшей церковной библиотеке. Не имея мудрости ученой и полагаясь целиком на житейскую, родители не стали чинить сыну препятствий. Стоило юноше немного окрепнуть для самостоятельной жизни, они благословили сына и отправили учиться в город. Так Тодосий и оказался в коммунальной комнате дяди, по соседству с профессорской семьей, по соседству с Таисией.

Скучая в школе журналистики, Тодосий оживал рядом с Таей, взахлеб пересказывая девушке истории вымышленных героев, искренне веря, что сам однажды станет таким. Тая внимательно слушала, заражаясь верой Тодосия и все больше погружаясь в их мир – один на двоих.

В солнечном пропахшем морем городе было трудно не думать о любви, не верить в счастье и не мечтать о славе. Тодосий не хотел признания на века, ему достаточно мига. Когда другие спокойно работали, женились и растили детей, строптивая натура выворачивала Тодосия наизнанку, заставляя искать, ошибаться, падать, вставать, снова искать и стремиться к тому, чего не было и, возможно, не будет. Он не знал: благословение это, проклятие? Уверился только в одном – он выбьет из мира признание! Его усилия не пройдут даром!

Но мир не спешил покоряться дерзкому мальчишке – дурманил голову ароматом весны, бросал в глаза пыль раскаленных улиц, заставлял карабкаться в окна Таи, напускал бессонницу, путал мысли. Юноша не находил себе места, он был влюблен.

Раз Тодосий даже подрался за Таю с хулиганами. Изрядно поколоченный, он все-таки вышел победителем. А после жадно ловил восхищенные взгляды девушки и закрывал глаза от удовольствия, когда Тая прикасалась к его руке, накладывая повязку на рану. «Вот он, миг счастья, и сколько их еще впереди!..» – мечтал Тодосий, разомлевший от ушибов и заботы Таи.

Летние вечера сменялись один другим – ласковые, предательски безмятежные – в пору радоваться да жить, вот только как? Тая с Тодосием тянулись друг к другу, но, оставаясь наедине, терялись. Они не могли найти слов и, мучаясь неродившимся пониманием, крепко сжимали руки, надеясь, что пройдет, отпустит, станет легче. Но легче не стало: на следующий день эхом пронеслось по городу слово «война».

Они стоят в обнимку на бульваре – так что Тае заметны строчки стежков на новой, вышитой ее руками рубашке Тодосия. Она запоминает каждую мелочь – смоляная прядь волос, упавшая на лоб, хищный птичий нос, прищуренный чуть насмешливый взгляд, пальцы нащупывают шрам под локтем юноши – этого должно хватить

надолго, может, на всю жизнь. Рядом мелькают люди – плачут, кричат, куда-то бегут, а они молча изучают друг друга, против всякой данности надеясь сохранить, спасти, уберечь.

Сначала не верилось, а потом пришел страх. К войне нельзя привыкнуть, в ней можно только выжить, или погибнуть, так и не смирившись. Тодосию тоже было страшно, но он знал, как сражаться, – раньше юноша вел бои с безликой силой обстоятельств, а теперь у врага появилось лицо.

«Так даже проще, – думал Тодос перед боем, и огонек его папиросы беспокойно подрагивал в темноте. – Вот он, мой миг, а после...»

Когда Тая держала в руках письмо Тодосия, в котором непогода размыла все слова, его автора уже не было в живых. А днем раньше в беспощадных кострах страха перед новой бедой догорел последний блокнот со стихами юноши.

Семью профессора репрессировали. Вдребезги рассыпалась Тайна жизнь – по лагерям, тюрьмам, чужой земле. Но осколок остался. Драгоценный осколок непрожитого счастья. Тая вернулась в родной город, научилась жить заново, родила сына. Настоящие чувства не убить. Их можно втоптать в пыль, но они прорастут снова. Сквозь корку обугленной земли. Сквозь горе и потери.

* * *

Историю Тодосия я узнала гораздо позже, чем научилась превращать слова в мысли и чувства. И не случись того разговора вовсе, я вряд ли бы стала относиться к своему увлечению с меньшим или большим рвением. Но теперь, делая новый шаг, я знаю, что иду по дороге, где когда-то легко ступал окрыленный мечтой, непокорный обыденности юноша Тодосий, так мало и так ярко проживший среди людей. И я верю – придет день, когда обугленные строки Тодосиевых сочинений, давным-давно исчезнувшие в прожорливой пасти войны, снова будут придуманы и написаны. Помните? Время иногда замыкается в круг.

Сергей Кравцов, Екатерина Бойчук

Отмычка Соломона*

Соломон и Крестовоздвиженский

Всю дорогу Соломон репетировал разговор с Крестовоздвиженским. В этом проекте Дионисий был тупым попом, не верящим в джиннов. Он приводил веские аргументы, которые почему-то сподвигали батюшку к обращению в милицию. Соломон уже давно бы плюнул и вернулся в свой кабинет, но ужас от мысли, что в нем кто-то сидит, гнал его дальше, через двор, в подвал. И когда дверь ему открыл высокий блондин, чем-то похожий на Джеймса Бонда, главный аргумент уже возник в голове Соломона.

– Добрый вечер, Соломон Давидович! – улыбнувшись, сказал молодой человек, пропуская Соломона в прихожую.

Там стояло зеркало в старинной резной раме в стиле ар-нуво и рогатая венская вешалка, завешанная темными шелковыми одеждами. Молодой человек, видимо, секретарь, тонко улыбнулся и ушел звать Дионисия. На секунду Соломону показалось, что на белой рубашке секретаря он увидел револьвер в наплечной кобуре, – но нет, ему это только показалось.

Дверь распахнулась, в прихожую вышел сияющий Дионисий в черной с белым сутане. Соломон бросился к нему как к родной мамочке и пролепетал:

– Изгоните джинна, немедленно, пожалуйста...

Дионисий изумленно поднял одну бровь и сказал:

– Никифор, сделай одолжение, свари нам кофе, и с булочками.

* Продолжение. Начало в кн. 64-67.

Никифор возвел очи горе, вздохнул и, бурча себе под нос: «Великое достижение отечественного экзорцизма...» – отправился на кухню варить кофе.

Они прошли в мастерскую. Но это был не тот задрипанный подвал, в котором Дионисий принимал Петю. В мраморном камине пылал огонь, на каминной полке тикали бронзовые часы на гнутых ножках, усыпанные гирляндами цветов и амурами. Вместо допотопного телевизора в углу стояло бюро орехового дерева. Его ящички и дверцы были покрыты интарсией в виде пионов. На бюро лежал старинный церковный манускрипт, и чернолаковый чернильный прибор мерцал золотыми фениксами. Стены украшали картины с цветами и женщинами в платьях Серебряного века. Дионисий усадил Соломона в полосатое викторианское кресло у камина и сел рядом в такое же.

Соломон вдруг успокоился. То ли обстановка в мастерской у попа оказалась достаточно светской, чтобы считать его человеком широких взглядов. То ли возможность откинуть голову на спинку кресла и говорить, спрятав лицо за ушками подголовника, но вдруг в голове Соломона все встало на свои места. «Наверное, он действительно изгнал джинна», – подумалось ему.

Дионисий сидел рядом и ждал, пока гость освоится и начнет говорить.

А Соломон осматривал мастерскую. В углу красивым зеленым цветом светился аквариум, в котором плавала большая голубая мерцающая рыба. У окна стояли два солидных дубовых мольберта. Под стенами на тумбочках располагались подсвечники и безделушки из бронзы и фарфора – такие штуки Соломон в детстве называл «кренделябры». В полуоткрытой двери темной соседней комнаты виднелся огонь лампы перед иконой Божьей Матери в золотом ореоле оклада. Да и сам Дионисий оказался вовсе не в сутане, а в темно-синем шелковом халате поверх белой рубашки с галстуком-бабочкой и черных брюк.

– Я ждал вас, Соломон Давидович, – сказал Дионисий, заподозрив, что, совсем успокоившись, гость уснет, – и готов вам помочь, а возможно, вы поможете мне. Я давно за вами наблюдаю и не могу понять: как вы, интеллигентный человек, попали в такой переплет?

– Да, так получилось, знаете, жизнь коварная штука. А скажите, вы точно изгнали джинна, и ни во мне, ни вокруг джиннов нет?

– Внутри вас точно никаких джинов нет, поверьте мне на слово, я уже тридцать лет этим занимаюсь. А то, что тут есть, джинном можно назвать только по недоразумению.

В аквариуме громко плеснула рыба.

– А если джинн здесь появится, вы опять его изгоните?

В это время в дверях комнаты появился Никифор с подносом, на котором стояли три чашки с блюдами, высокий серебряный кофейник, молочник и сахарница. В другой руке у него было сложное сооружение вроде пирамиды из тарелок с бутербродами и печеньем.

– Не-е, ну если меня опять будут изгонять, то никакого кофе. Не хочу я жить на кухне. Завели моду: чуть что – «изыди, изыди»... Живу я здесь. И кофе, и булочки с корицей тоже хочу.

– Никифор, не ворчи. Никуда твои булочки не денутся. Дай поговорить с человеком по душам.

– А что, он джинн? – пролепетал Соломон.

– Да, джинн, но вы его не бойтесь. Это длинная и запутанная история, но я вам ее расскажу, чтобы вам не было страшно. Тем более Никифор не даст мне соврать.

Никифор

С Никифором Крестовоздвиженскому повезло удивительно. Ему попался очень редкий тип джинна, пожалуй, единственный с которым ему не угрожала смертельная опасность. Конечно, все, что ему рассказал Никифор про бесов скопидомства, было чистой воды враньем. На самом деле он был из маринов, народа благородного и воинственного, и даже в большей своей части принявшего ислам.

Будучи сыном придворного высокого чина, вел жизнь бурную и легкомысленную – что было не редкостью среди золотой молодежи. Но при этом был из тех лучезарно-обаятельных плутов и шалопаев, чьи проделки так развлекают посторонних и являются сущим бедствием для близких и родственников. Демократичность и непереборчивость в знакомствах ужасали его папеньку. Но Никифор был в родстве со всем миром и не желал видеть в нем никакого зла, даже того, что причинял сам.

Ему долго все сходило с рук, пока он не влип в совершенно темную историю, в которой фигурировали чужие жены, крупные взятки и даже евнух гарема султана.

Мать Никифора билась в истерике, папаша всерьез подумывал, не покончить ли счеты с жизнью. А сынок, не дожидаясь, пока грянет скандал, напросился на аудиенцию к султану и провел с ним разговор так, что султан то гневался, то хохотал до колик в животе. А потом велел убираться с глаз долой и больше во дворце не показываться. Конечно, это был полный крах карьеры придворного, но Никифор и не собирался ее делать.

Более того, он выполнил приказ своего повелителя срочно, и не дожидаясь подробного разбирательства – иначе ему было не сносить головы. Так он очутился в Одессе. Здесь было тепло. Произносить имя Божье над едой и выпивкой народ в основном и не помышлял, а близость к Черному морю давала надежду, что его здесь искать не будут. Черное море было местом затопления джинов в кувшинах. Так что, расчет был верный: мало кто любит селиться возле кладбища.

К людям Никифор относился, как интеллигенты относятся к кошкам, а посему если и доставлял неприятности, то скорее по непониманию, чем по долгу джинна. Крестовоздвиженского он уважал и побаивался, хотя и регулярно норовил сесть на голову. Дионисий эти поползновения лениво пресекал.

Из рассказов Никифора выяснилось многое, о чем Крестовоздвиженский догадывался и сам. Оказалось, что нечистых так же много и они так же разнообразны, как и живые существа видимого мира. И есть среди них как совсем простые, типа наших комаров, так и сложные и разумные, например джины. Подавляющая их часть представляет опасность для человека. А так как они невидимы, то сортировать их нет никакой возможности. Зира Никифор терпеть не мог, считал выскочкой и тихо презирал.

Соломон и Крестовоздвиженский

– Ну что ж, я вам расскажу, коль скоро джины для вас не новость. Приняли меня коммерческим директором. Поначалу все это было очень интересно. Мне продемонстрировали действие

ламп. Я побывал в турецкой кофейне середины девятнадцатого века. Я там сидел и пил замечательный кофе из маленькой чашечки, запивая холодной водой. Очень вкусно. При этом я понимал турецкий язык, как будто он был моим родным. И напоследок хозяин кофейни Саид-эфенди преподнес как почетному посетителю на подносе пакетик с зернами кофе.

Когда я очнулся, то сидел все в том же кресле, а в руках у меня был этот самый пакетик.

– Очень интересно, очень реально, – сказал я, – даже этот пакетик. Вы все предусмотрели.

– Это наш, так сказать, «рекламный ролик», – пояснил «ушастый». – А вот презент из наших видений обычно вытащить невозможно, да и запрещено это.

Это я после понял, что только при множестве повторений иллюзия может стать реальностью, но это уже признаки халтуры в нашем деле.

– Так вы не знали, что работаете в конторе под патронатом джинов? – спросил Крестовоздвиженский.

– Нет, конечно. А если бы мне тогда сказали – не поверил бы. Я решил, что это какие-нибудь фокусы с гипнозом, внушением... А кофе мне просто в руку положили для полноты эффекта. Кстати сказать, за кофе я к этому эфенди еще не раз наведывался. Согласился я у них быть исполнительным директором. Работы не много. Фирма была тогда не сильно раскручена. Сотрудников несколько.

– Знал я вашу команду с самого начала, – согласился Крестовоздвиженский. – Хороший хлопец у вас масло наливал. Не смог я его уберечь.

– Да, к Василию претензий не было, и вдруг этот несчастный случай.

– Ага, автобусом на него наехали. А курировал это мероприятие один из знакомых вашего шефа. Его специально из Джинистана вызвали.

– Тогда я еще этого не знал. Несчастье большое. Хорошо, что у него родственников не было. Вот после этого «ушастый» меня вызвал и говорит: «Надо, Соломон Давидович, нового наливальщика в нашу фирму взять. На нашего Василия на переходе автобуса наехал и насмерть», – и вздохнул тяжело.

– Он что, на красный свет переходил? – спрашиваю.

– Нет, говорят, переходил он очень даже правильно проезжую часть на зеленый свет, а у автобуса тормоза отказали. Такое вот несчастье. И хотелось бы, чтобы вы поглядывали на ангела-хранителя претендентов – очень неприятно опытных сотрудников терять из-за всяких пустяков.

– А как же я этого ангела увижу? – спрашиваю. – Я их никогда не видел. Может, и нет их вовсе.

– Да есть они у каждого, – объясняет мне «ушастый». – Нужно только присмотреться.

– Мариночка, подойди сюда, пожалуйста, – позвал он нашу психологичку, которая сидела за столом в соседней комнате.

– Мариночка, постой, пожалуйста, на фоне вот этой двери, – попросил он зашедшую Марину.

– Вот смотрите, – сказал он затем мне, – смотрите не на Марину, хотя она вполне заслуживает внимания, а на дверь за ней. Тогда вокруг Марины вы увидите ее ауру.

Я увидел тонкую серую оболочку, надетую на голову Марины.

– А у правого плеча виднеется светлый столб такого же роста, как она сама, – это и есть ангел-хранитель. Он у всех есть. У всех людей, – поправился «ушастый». Это я потом понял, что он имел в виду.

– Мы, – говорит «ушастый», – вчера объявления развесили, так что, может, сегодня кто-нибудь и клюнет, то есть придет.

Вот тут-то Петя и пришел. Я как глянул, так и обомлел – у Пети за правым плечом столб висит светящийся. Аж блики на паркете.

И стал он у нас работать. Вот тогда-то я с Петей и познакомился. Ангел-хранитель у него очень уж выдающийся, я таких у людей и не видел.

Каюсь, развлекался я, гуляя по улицам и разглядывая ангелов-хранителей у людей, а потом надоело.

Позже я с Рафлом познакомился. Как-то заходит «ушастый», а с ним странный человечек в зеленом пиджачке. «Ушастый» говорит:

– Вот наш новый сотрудник. Его зовут Рафл. Он у нас будет заказы клиентам развозить.

Я смотрю, а ангела-хранителя у этого человечка нет. Я позже захожу к «ушастому» в кабинет и говорю:

– Вы тут на ангеле-хранителе настаивали, а у нового сотрудника его вовсе нет. Хорошо ли это?

А «ушастый» о чем-то своем думал, в окно глядел, и как бы между прочим отвечает:

– А у джинов их и не бывает.

– Как – у джинов? – я подумал, что шеф шутит. А он обернулся, посмотрел на мою растерянную рожу и продолжает:

– Ты что, Соломон, еще не понял, что хозяева этой конторы джины? Самые натуральные, как в сказке из 1001 ночи. Вот поэтому-то мы все и можем. Так что, пользуйся, Соломон, повезло тебе. Хозяева тобой, в общем, довольны.

Вышел я в сильном недоумении, не поняв, это шутка такая, или я на самом деле в сказку влип.

Проанализировав события последних дней и не найдя ничего сверхъестественного, я решился на эксперимент.

Когда нахальный новый сотрудник в своей дурацкой курточке появился в контору...

– Я всегда ему говорил, что курточка дурацкая, – вставил свое мнение Никифор.

– Так вы его знаете? – удивился Соломон.

– Не так нас тут много, чтобы всех не знать, – пояснил Никифор.

– Да, конечно, – медленно проговорил Соломон, собираясь с мыслями.

– Так вот, я у него так прямо и спрашиваю: «Ты случайно не джинн?». Думаю, в крайнем случае оберну все в шутку. А этот наглый тип мне отвечает: «А вы, небось, думали, что я лепрекон? Конечно, джинн из рода Гулей».

– Докажи, – не унимался я, чувствуя, что выгляжу как идиот.

Гуль уменьшился в два раза и ушел в стену. Через минуту ко мне в кабинет ворвалась возмущенная Марина со словами:

– Соломон Давидович, скажите, пожалуйста, этому придурку, чтобы он без стука ко мне через стены не заходил!

Я был поражен произошедшим, и возмущение Марины проигнорировал.

– Мариночка, ты что, знаешь, что они джины? – спросил я.

– Конечно, знаю, – ответила она, – я тут давно работаю. А Рафл не джинн, а свинья, – и ушла к себе.

Я продолжал работать в конторе, хозяевами которой были джины. На зарплату жаловаться было грех. Вещи, которые поначалу

казались невероятными и загадочными, становились простыми и обыденными. Особенно если не задумываться об их сущности.

Я общался с клиентами, большая часть из которых, как говорится, с большими тараканами в голове, ругался с Рафлом, пил хороший кофе из турецкой кофейни позапрошлого века... Кстати, у вас кофе не хуже.

– Еще бы, – подтвердил Никифор.

– И тут начались неприятности, – продолжил Соломон, сделав маленький глоток из чашечки. Как-то «ушастый» вызвал меня и, как всегда, глядя в окно, сказал:

– Поступила команда – с Петей заканчивать.

– Как, он нам уже не подходит, опять будем искать нового человека? – попытался уточнить я.

– Искать будем потом, а сейчас Петю нужно убить. Я не люблю говорить это слово, но иначе вы, кажется, не понимаете.

– А за что же его? – только и смог выдавить я.

– А ты пойдешь у них спросишь? – ответил «ушастый». – Я не пойду.

При этих словах «ушастый» ткнул пальцем в потолок. Он был явно расстроен.

– И вообще, лучше, когда тебе кого-то заказывают, а не наоборот, – произнес он банальную фразу. Вряд ли он над ней долго думал.

– А поменяться эта пара может в любой момент, – продолжил я его мысль. И мне стало как-то не по себе.

Видя мое состояние, «ушастый» решил пояснить:

– Та не дергайся ты, – сказал он, – никто тебя не заставляет в Петю стрелять или там ножом резать. Разрабатываешь обстоятельства, типа несчастного случая, все организуешь, а исполнители найдутся. Ты думал, Петин предшественник без нашего участия обрел жизнь вечную?

Стало мне от этого крайне противно. Первое, что пришло в голову, – решительно отказаться, выйти, хлопнув дверью, и больше сюда никогда не приходить. Но это состояние быстро прошло. Я сказал:

– Подумаю, – и вышел, аккуратно закрыв за собой дверь.

– Срок до четверга, – донеслось вдогонку.

Я сидел в кресле и объяснял себе, что я, в отличие от джиннов, «гомо сапиенс», то есть «человек разумный», и должен что-нибудь придумать. И от этого мне становилось еще противней.

– Конец вашей истории нам в общих чертах известен, – прервал его самобичевание Крестовоздвиженский, – вы хотите сказать, что организовали покушение так, что оно не состоялось, и этим обманули ваших заказчиков? Это вряд ли. Наверное, у них был еще какой-нибудь вариант развития событий помимо вашего.

– Ничего подобного, – возразил Соломон Давидович, – я как раз все организовал самым лучшим образом. Я все проверил. Даже сходил на то место, где автомобиль Петиного приятеля должен был наехать на люк. Я даже покачал люк ногой. Единственное, на что я надеялся, – это на Петиного ангела-хранителя. И он, надо сказать, оказался на высоте. Я очень хотел, чтобы в мой план вкралась маленькая ошибочка. Ведь каждый может ошибиться на пару секунд. Но когда они с грузовиком разминулись на пятнадцать минут, я понял, что вмешался еще кто-то, кто не хочет Петиной смерти.

– Да, это была Галина, – уточнил Крестовоздвиженский, – по крайней мере она подходит под ваше определение.

Соломон Давидович чуть не улынулся краем рта, но возражать не стал.

– Да, конечно, и она тоже, – согласился он.

– А как же совесть? – вполне серьезно спросил Никифор.

– Совесть мучает живых, – ответил Соломон Давидович. – Либо тебя мучает совесть, либо нет. Я выбрал первое. Наверное, из страха.

Соломон Давидович говорил медленно, держа чашечку кофе обеими руками и вглядываясь в черное колеблющееся зеркало напитка. Ему показалось, что кто-то смотрит на него из чашечки. Соломон Давидович осторожно поставил чашечку на стол и отодвинул от себя.

– Страх начал меня преследовать вскоре после начала общения с джиннами. Я бы их бросил давно, но они же везде, – Соломон Давидович покосился на Никифора.

Никифор сделал вид, что этого не заметил.

– Вот так я и балансировал между довольно сытым существованием с одной стороны и каждодневной боязнью за себя с другой. Пока события не начали развиваться стремительно.

– Вот с этого места, пожалуйста, поподробней, – попросил Крестовоздвиженский.

– Так вот, – продолжал Соломон Давидович, все-таки выпив глоток кофе из чашечки, – во-первых, к нам прислали киллера. Странно,

что не профессионального, а так, по лицензии подкармливаться. Но имена в лицензии – Петино, что понятно, а также нашего клиента Редькина. Что с киллером произошло, вы, наверное, знаете не хуже меня. Но могло быть и мое имя! И опять же – милиция!

Эти гады джинны начали дублировать реальность, стали работать готовыми затасканными штампами. И вот результат – наши клиенты начали погибать. Одного нашли дома с перекушенной глоткой. Ему лев перекусил. Этот фрукт любил славу и женщин. Сначала слава на арене, а потом восхищенные женщины, ну, где-нибудь еще. Что-то у него на арене не состоялось. И, я думаю, с женщинами тоже.

– Да уж, – согласился Крестовоздвиженский.

– А второй утонул, тоже в своем кресле. Он любил летать на облачке над морем. Авария с облачком – и утонул. Бывает. Но чтобы втащить этот сюжет в реальность, нужно его так затаскать, как наш вот, с кофе, – Соломон Давидович показал на чашечку. – Зацепок никаких, но все странно погибшие – клиенты нашей фирмы. А тут еще ваш друг Рафл потерял лампу с заказом. А менты ничего лучшего не придумали, как зажечь ее в отделении.

– И что же там было? – поинтересовался Никифор. – В смысле, какой это был заказ?

– Слава богу, ничего опасного, – Соломон поморщился. – Одна дама за неимением своего возжелала совершенный бюст немереного размера и всяческое его использование с любовником.

– Я думаю, милиционеры вряд ли обсуждали этот сеанс, но осадок остался... – заметил Крестовоздвиженский.

– К нам приходили, спрашивали, чем мы занимаемся, не наши ли клиенты погибли. Пока ничего страшного, если джинны меня не предадут. Захочет Зир закрыть дело, так меня сдать проще просто. Вот и получается: или меня сами прикончат, или ментам сдадут. Но самое противное то, что могут посадить какую-нибудь сволочь.

– Могут, – согласился Крестовоздвиженский, – но в данном случае, уверяю вас, в вашем теле находится только одно сознание, и оно пока ваше. Что вам можно посоветовать? Правоохранительных органов вам бояться не следует, пока вы нужны устроителям фирмы, а вот от них можно, конечно, ожидать, как вы сами давно поняли, самых разнообразных пакостей. Но, похоже, что это тоже ненадолго.

Крестовоздвиженский переглянулся с Никифором, что не укрылось от внимания Соломона Давидовича.

– Вы что-то недоговариваете, – забеспокоился он, если в его положении можно было беспокоиться еще больше. – Я чувствую, что меня ждет еще какая-то гадость. Можете мне так и сказать. Мне уже все равно.

– Вот такой человек нам и нужен: чтобы он ничего не боялся и, в сущности, чтобы ему нечего было терять, – порекомендовал Никифор Соломона Давидовича Дионисию.

– Вы думаете, что вам действительно нечего терять? – серьезно спросил Крестовоздвиженский Соломона.

– Ну, давайте же, говорите, какая еще мерзость меня ожидает, – не выдержал этих недомолвок тот.

– Рассказывайте, – передал жестом руки эстафету джину Дионисий.

– Дело в том, уважаемый Соломон Давидович, – начал повествовательно джинн, – что нас с вами угораздило жить на окраине обитаемых земель Джиннистана. Если вы не знаете, сразу скажу, что границы государств у джиннов не совпадают с границами стран человеческих, и система правления в этих государствах – монархия. Сюда, на границы и ничейные земли, имеют привычку сбегать или переселяться различные по общественному положению джинны с, так сказать, сложной судьбой.

Крестовоздвиженский улыбнулся в усы.

– И не надо в меня пальцем тыкать, – предварил высказывание на свой счет Никифор.

– Так вот, в результате интриг при дворе и возможности дворцового переворота один очень важный джинн вынужден был искать убежища в нашей местности. Причем, чтобы сохранить инкогнито, он поселился не в виде человека или там собаки, а в самом человеке, причем так, что этот человек ничего про это не знает.

– Так, значит, в меня все-таки кто-то подселился и временами выходит, чтобы не попадаться на глаза, например, вам? – сделал скоропалительный вывод Соломон Давидович, обращаясь к Дионисию.

– Вывод интересный, но неправильный, – остановил его Крестовоздвиженский. – Высокое придворное лицо избрало своей резиденцией Петю Пчелкина. Вот к чему я вел свой рассказ.

– Но ведь у него такой ангел-хранитель! Я сам его видел! – удивился Соломон Давидович.

– Одно другому не помеха, – пояснил джинн. – Подселение не наносит никакого вреда подопечному этого ангела. А может, даже облегчает ему жизнь. Вы думаете, Галина, Петина женщина, с какой стати вдруг вспылала интересом к рыбной ловле?

– Однако... – удивился Соломон Давидович. – А скажите, еще кто-нибудь из джиннов знает, что в Пете кто-то сидит?

– Мы, например, знаем, а кое-кто догадывается, а может, и знает. Ваш «лепрекон», например.

– То-то он Петю так от приезжего гуля спасал, – сопоставив информацию, сделал вывод Соломон. – А я думал – дружба и бескорыстие его посетили.

– Ага, «бескорыстие», и вы еще добавьте «человеколюбие» гуля, хи-хи-хи, – Никифору такое допущение показалось крайне забавным.

– Но дело как раз не в том, дорогой Соломон Давидович, кто где живет, хотя это тоже небезынтересно вам, например. А в том, кто и как этого джинна ловит, – заметил Никифор, отсмеявшись. – А ловят его серьезно и централизованно при помощи частого невода, или «ловушки», как мы эту конструкцию называем. Как она работает – не суть важно. Ну, там котел с золотом, плавят его в нужное время, и там еще кое-что по мелочам. Главное то, что когда эта конструкция начинает работать, ни один джинн в округе не сможет устоять, чтобы, не бросив все, к этому котлу не кинуться. Запах у него такой привлекательный или еще что, я точно не знаю, но только все мы там будем.

Меджида, понятно, отловят. А я еще не сказал, что его Меджидом зовут? Ну, не это главное, а то, что укрывается он у Зирова работника. То есть Зиру тут никак не отвертеться. Получит он «цугундер» с печатью на горлышке и будет дайвингом, как сейчас говорят, в Красном море лет двести заниматься. Ну, и смолы ему горячее. Но неприятность в том, что контору его ликвидируют. И вас, уважаемый Соломон Давидович, в первую очередь. То, что они имеют такую возможность, вам, я полагаю, доказывать нет нужды.

– Пожалуй, – согласился Соломон Давидович. – Но где-то должен же быть выход, и мне кажется, что вы его знаете и пытаетесь меня к нему подвести. А раз подводите, предварительно запугав, то выход не из приятных. Но тут вы совершенно правы – я спосо-

бен согласиться на многое, чтобы выкрутиться из создавшейся ситуации, – расставляя точки над «і», продолжил Соломон. – Я готов выслушать ваш совет, каким бы неприятным он ни был.

– А вот тут вы, дорогой Соломон Давидович, ошибаетесь в своих предположениях дважды. Во-первых, мы не знаем выхода из этой ситуации, а во-вторых, пока от вас ничего героического не потребуется.

– А что же может от меня потребоваться, если вы не знаете, что делать? – удивился Соломон.

– Вот то-то и оно, – стал пояснять Никифор, – выключить эту ловушку или помешать ее запуску могут только силы очень высокого полета.

– И вы предлагаете мне к ним обратиться? Вы думаете, что со мной кто-нибудь из ваших будет говорить? – поинтересовался Соломон Давидович.

– Там, конечно, никто с вами говорить действительно не будет, – Никифор ткнул пальцем в потолок, – но прямо здесь есть один оригинальный, я бы сказал, выживший из большей части ума джинн.

Соломон Давидович оглянулся. Кроме них троих и рыбы в аквариуме, никого не было. Вдруг рыба высунулась до половины из воды, вырастила ручки, развела их в стороны и произнесла с сильным восточным акцентом:

– Никифор, что за глупые намеки? Если джинн плавает – значит, он не в своем уме? На себя посмотри.

Рыба возмущенно плеснула хвостом, легла на дно и отвернулась.

– Извини, Офрим, – сказал Никифор, – я не тебя имел в виду. Сходить, я думаю, нужно к некоему Асафу. Ему очень много лет. Говорят, он жил во времена самого Соломона – вашего полного тезки, к слову сказать. Предваряя ваш вопрос, объясню: когда джинн сидит в закупоренном сосуде, время для него останавливается. Такая себе машина времени, – пояснил Никифор Соломону Давидовичу.

– Серьезно сидел ваш Асаф, – согласился Соломон.

– Именно, – подтвердил Никифор, – и вот поэтому Асаф не любит джиннов. Правда, людей он тоже, за некоторыми исключениями, не жалуется.

– А почему вы решили, что именно я – эти некоторые?

– Во-первых, вам это больше всех надо, – довольно бестактно заявил Никифор.

– А вам, следовательно, ловушка – как плов с бараниной? – не дав ему договорить, возразил Соломон Давидович.

– Господа, сейчас не время препираться, – остановил их Дионисий.

– Помощь нужна и нам, и Соломону Давидовичу, но пойти к Асафу может только он. С джиннами старик просто не станет разговаривать, впрочем, как и с людьми. В общем, вам, Соломон Давидович, ничего не угрожает. Встретите вы Асафа в виде желтенького песика неопределенной породы, попробуете с ним поговорить. За сумасшедшего вас прохожие могут и не принять. Сами такие. А вот ответит вам Асаф или нет – это как повезет. А если пригласит к себе в гости, то вам тем более ничего не грозит – законы гостеприимства.

– Распространяются ли они на людей? – засомневался Соломон Давидович.

– С Асафом ни в чем нельзя быть уверенным, но будем надеяться на лучшее, – приободрил Соломона Никифор.

– Вот если бы со мной Петя пошел... – размышлял Соломон Давидович. – У него и ангел-хранитель, и джинн важный. Вот было бы замечательно!

– Да, это было бы хорошо, – подтвердил Крестовоздвиженский. – Вселенца Петиного Асаф сразу бы распознал, хотя вряд ли бы решился нарушить его инкогнито. Он старый царедворец и приличный сноб. Визит такой особы был бы для него крайне лестным.

– Но Петя, тем более со мной, да еще и разговаривать с собакой, которая, к тому же, джинн, вряд ли пойдет. Да и о джиннах он ничего не знает. Не положено ему, – с досадой возразил Соломон.

– А грачи, которые ему проходу не дают, его ни на какие мысли не навели? – поинтересовался Крестовоздвиженский.

– Навели. Он теперь считает, что за ним инопланетяне следят. Ему это в уфологическом центре рассказали. И еще про ежеиков, – пояснил Никифор.

– А ежики тут при чем? – удивился Дионисий.

– А кто их знает? Ежики вообще не по нашему ведомству. По крайней мере мне не известно, на кого они работают.

Продолжение следует

Поэзия

- 128 Наталья Королева**
«Как хочется быть понятной и правой...»
- 133 Вера Зубарева**
На краю океана
- 136 Татьяна Орбатова**
Верлибры
- 141 Анна Стреминская**
«Как одиноки все деревья...»
- 146 Ольга Пронина**
«Какая трепетная связь...»
- 151 Анна Нахимчук**
В чем жизни смысл?
- 157 Елена Шелкова**
Я прекрасный сумасшедший поезд
- 163 Алена Рычкова-Закаблуковская**
Так в старом фильме

Наталья Королева

«Как хочется быть понятной и правой...»

* * *

Давай с тобой обгоним осень,
чтоб в предраассветной тишине
предречь грозу грядущих весен
с тоской июлей наравне.

Давай с тобой полюбим осень,
закаты в пламенном вине,
сентябрьскую вуаль отбросим,
в октябрьской оживем волне.

* * *

Как хочется быть понятым и правым,
в спокойной величавости простым;
достойным быть всегда, а не тщеславным,
и чуточку среди смешных смешным.

Как хочется не сильно быть ранимым,
но чуткости природной не терять;
красноречивым, не прослав болтливим.
Порой без дела в облаках витать.

Так хочется немного быть счастливым.
Но чуточку счастливым быть нельзя.
Так дай же, Боже, быть несуетливым,
случайным чувством счастье не сrazia.

Как хочется не смытым быть приливом,
среди глупости ума не потерять;
дурачиться и, оставаясь милым,
на пошлости величье не менять.

Среди неправды оставаться честным,
среди врагов все ж оставаясь злым,
быть милосердным в нашем мире тесном,
быть искренним, красивым и живым.

Пусть в рубище иль в царском облаченье
мне хочется быть с вами заодно
и принимать наш мир с благоговеньем
от босоногости до норковых манто.

Хочу в отчаянье, беде и смуте
за каждого из вас переживать;
столетья спрессовав в минуте,
на миг волнение ваше удержать.

Хоть уж пора мне быть неприхотливым,
но хочется и хочется опять
не чуточку, а страстно быть любимым,
чтобы писать, смеяться и рыдать.

* * *

Я люблю ваши песни и речи,
люди-реки и люди-моря.
Все, что создано человеческим,
наполняет живая вода.

Проливается небо любовью
на мои и чужие края.
Когда ж пепел мешается с кровью –
нас спасает живая струя.

Много ль надо весеннего ливня,
чтоб наполнить сухие дела;
голубино, искристо и дивно
деловитость утечку дала?

Невеликое и смешное
в лужах старых и новых дорог –
человечеству вечно родное –
отраженного неба клочок.

Та слеза у меня на предплечье,
что тобою забыта давно,
водопады добросердечья
и улыбок любимых вино.

И роса, и луга заливные,
датского капельки короля!
От ручья до ручья дорогие
океаны любви и добра!

* * *

Не по-июньски охладевший город
чуть очарован ожиданием дождя,
давая тополям и кленам повод,
ласкаясь кронами, играть с ветром дня.

Тихонько пробегающий трамвайчик
порой пугливо отзывается листве.
А вон взъерошенный соседский мальчик
пускает ласточек в темнеющем окне.

И небо оживленное искрится
от белых крыльев того детского добра.
Так – вызов брошен! И зачем томиться?
Мой город засверкал горстями серебра.

* * *

У меня неуставшая нежность
к тихим дождикам в старых дворах:
пробирают сухую прилежность,
и спускается небо в слезах.

Понимаю, как классик погодой
утешался осенней порой.
Но октябрь язвит рыжебродый,
озорство мое тоже с сырцой.

Не печальтесь и вы, дорогие.
Умывается старый мой двор –
это фуги резвят дождевые,
все минор, ми минор, ми минор.

Люди

Люди – это песни – пой их и дивись,
оттого что вместе, оттого что ввысь.
Люди – это вести всех земных частот –
волны чистой чести или нечистот.

Люди – это чувства, прыгай и лети,
это дар искусства искорок в груди!
Это чувства неба, локтя иль вины;
в ожиданьи ночи солнечные дни.
Человек – событие – ветер и тайга,
буйные метели или берега.
Люди – это строчки пушкинских высот
до глубин, конечно, моцартовских нот.

Это друг любимый, позвонивший в ночь;
иль пушочек милый, маленькая дочь!
Это часть вселенной – в общем, не пустяк –
старый мой товарищ иль смятенный враг.

Новые раскраски, детские стихи,
бегство от огласки – слава иль грехи!
Это искупленье, это тишина,
это память наша, это имена –
болевы точки, что терять нельзя;
или та девчушка, через фронт ползя,
раненного тянет на себе бойца.

Судорога пальцев сжатых кулаков,
вновь поднявших знамя в пламени полков.
В космосе нас знают и, наверно, ждут –
люди – это праздник и земной салют.

Человек – открытье, бесконечный путь
и дорога жизни через мрак и жуть.
Чтоб хватило хлеба вашим и моим!
Чтобы ясно было мертвым и живым:
люди – это чудо неиссякших душ –
от морей бескрайних до весенних луж.
И деревни нашей старенький погост,
и полет Жизели через звездный мост.

Это встреча с морем, первый снегопад.
это чуткий мамин негасимый взгляд.
И каскады Лувра, Зимний наш дворец
и тобой пригретый маленький скворец.

В шуме новых ливней мы ведем дневник:
этот мир не проклят – этот мир велик.
И куда не глянешь – чудные края...
В общем, друг мой, люди – это ты и я.



Вера Зубарева

На краю океана

Из книги «Тень города, или Эм цэ в круге» (Idyll, 2016)

* * *

Три часа ночи. Луна в повязке тучи
Мучается мигренью.
От этих дождей разбухла и выглядит пьющей,
А на самом деле
Сухой закон на ее поверхности,
И в кратерах – сплошная желтуха.
Кажется, тронешь – и распадется от ветхости.
Время в дупле кукушкиных ходиков ухает.
Кто подбросил им этого филина?
Кто бы то ни был, так им надо.
Хоть бы одна задремала извилина.
Это из ряда вон...
Сколько осталось еще до чего-нибудь?
Запад зашел за восток. Что делать?
Тьма равняется эм цэ в круге.
Всего их – девять.

* * *

Вечер падал и падал
В канаву мира,
Куда стекали все дни рожденья
По ржавым трубам телесных зданий,
И толстая прачка стирала в ней простыни.
Они сушились на ветвях дерева,
Качал их ветер, и разносилось

Его завывающее баюканье.
И люди всхлипывали в своих постелях
Внутри небоскребов беспросветного города,
И кто-то опять предлагал: «Давайте
Придумаем себе бога». А другие
Ему возражали: «Но ведь это уже было.
Было, было... И к чему привело?
Опять лежим мы на краю канавы,
И прачка стирает в ней наши простыни,
И ветер сдувает с них все до капли,
И никуда не деться от этого круговорота...»

* * *

Ночью встанешь,
Звезды в окне нашаришь,
– Слава-тебе-господи, – скажешь скороговоркой,
Перекрестишь зеркало, чтоб не просквозило
Твое отражение в минусовом королевстве.
Уснешь.
Проснешься с тяжелым сердцем.
Чего-то не нашаришь.
Уснешь с вопросом.
И уже никогда на него не ответишь.

* * *

Полчетвертого.
Время заспиртовано с позавчера
В стеклянной копилке будильника.
День – как ночь, надетая наизнанку.
Жизнь движется по траектории
«Пойди-туда-не-знаю-куда».
И стоит ли вообще вставать, или лучше
Валяться в постели
До следующего полчетвертого?

* * *

Манхэттен. Солнце, не выдержав нагрузки,
Плюхнулось на небоскребы, распласталось на брюхе.
Сваленные в кучу, как битые моллюски,
Темнеют бездомные. К ним ластятся мухи,
Лижут им лица, мурлычут, клячат,
Ходят кругами, тычутся мордой
В позеленевшие блюдца фонтанчиков.
Сабвей приливает электричками к городу.
Вспыхивают осколки стеклянных офисов.
Закат. Манхэттен объят пожаром.
Желтых такси обозленные осы
Несутся, сигнализируя пронзительным жалом.
Кричат воробьи, взрываются лужи,
Брызги прожигают все, как сигареты,
И одежды пытаются спасти свои души,
На которые с утра они были надеты.

* * *

Час пик накатывает на Бродвей.
Яблоко солнца с червяком самолета в срезе
Плавит мобильники у шизофреников в голове,
Вызывая перебои в сервисе.
Каждый разговаривает сам с собой.
Спутник-стукач все разносит поспешно.
Монологи, звучащие наперебой,
Складываются в диалог городских сумасшедших.
Костюмы движутся по направлению к метро.
Мыши со звоном бросаются врассыпную.
Их потертое серебро
Боязливо закатывается под стулья.
Салфетка парусника пересекает канал.
Огрызок солнца уносится водами.
Рестораны ожили. Где-то маяк заикался,
И аист откликнулся:
– Кушать подано!

Филадельфия

Татьяна Орбатова

Верлибры

Вместо предисловия

В прозрачной чаше неба
белые птицы горьких судеб,
их души больше, чем среда обитания,
их сны – новые измерения.

Стены

(Дневниковое)

*

раз в полгода уезжаю из дома,
чтобы найти его стены

*

с помощью фотоаппарата
Пизанская башня
выпрямилась и пошла в пляс

надо мной смеются туристы:
– держи падающую башню, как мы!

но мне нравятся башни
прямые и танцующие

*

моя серебряная ложка
давно мечтала быть украденной

в Риме ее мечта осуществилась

недавно
она приснилась мне
сменила свою форму на брошь
все бы ничего, но
пиявкой прицепился к ней
синтетический рубин
и
его безумно злит
нервно будоражит
невыносимо жжет
ее безусловная любовь
к горячему натуральному кофе

*

в саду Тюильри
видела бесчувственного

он прикуривал
от солнечного сердца
совсем юной девушки,
чтобы подышать
любовью

*

Дрезден кажется черно-белым,
но Сикстинская Мадонна
едва улыбается этой иллюзии

так улыбалась моя бабушка,
когда я пугалась
грозового неба,

не замечая
широкого поля подсолнухов

*

я слышала
в Стене Плача
голосили многие записки,
а моя и вовсе упала на плиты

*

говорю себе:
по будням ни строчки,
по воскресеньям –
шоколад и ночное небо

Качели

*

древнее слово
здесь и сейчас катается в пыли,
но шаркает по прошлому

*

задумашься
о чем-то скромном,
а оно вдруг
искупается в овациях

*

бывает,
кто-то замолчит громогласно,
и даже тишина выходит из себя
от этой какофонии

*

все проходит,
в том числе дорога,
но остаются воспоминания
о камнях,
с которыми ты лежишь
вечность

*

жужукнет пчела над головой
и была такова,
а мысли уже слиплись

*

в раздумьях сидишь
на качелях,
в которые
ты врос теменем,
сетуя:
маятник жизни
снова качнулся
не в ту сторону

*

из стен домов
прорастают ожидания,
чтобы стучаться в чужие окна

Иногда
(Дневниковое)

*

позади толпы
всегда остается
чье-то будущее

иногда твое

*

иногда

сидишь камнем у моря,
пока поет
длинное лето с улыбкой подростка,
и греешь свою зиму

*

иногда

шум дороги
громче метафоры –
слушаешь космос автострады,
камлания автомобильных шаманов,
будто никогда не было поэзии

и не веришь

*

иногда

достаточно увидеть
шмеля над розой,
чтобы понять,
чем одушевляется
время, раскрывающее бутоны

*

иногда

змеи вползают в искусство
будто в грех,
но от них спасает
яблочный укус

Анна Стреминская

«Как одиноки все деревья...»

* * *

Гражданская война происходит на кухне:
у одной соседки варево желтое, а у другой – зеленое.
И кот одной написал соседке в туфли,
а та что-то желтое сладкое подливает соседке в солёное!

И когда они ругаются самозабвенно и сладко,
у одной соседки слова вылетают желтые!
А у противницы совсем иные повадки,
и словами зелеными она бьет эту «дуру толстую»...

И мечутся по коридору желто-зеленые молнии,
да пена капает – то желтая, то зеленая!
И тени танцуют на стенах: худая и полная...
Одна из них – мутно-желтая, другая – зеленая, темная.

У каждой соседки над балконом имеется знамя:
у одной оно желтое, цвета солнца и меда.
У другой – зеленое, листвою трепещет над нами,
но они развешаются в разные стороны даже при тихой погоде!

* * *

Небо взлохмачено ныне, будто при свете солнца.
«Волосы Вероники» стали не только созвездьем.
Пряди волос повсюду – волны, локоны, кольца...
Волосы Вероники горят закатным возмездьем!

Волосы Вероники, Марты, Гертруды, Зои –
все перепуталось в небе – красные, рыжие пряди.
Все эти дамы, видно, в жизни не знали покоя,
если их шевелюры так растрепались некстати!

А горизонт разродился белым, как соль, пароходом,
а горизонт разродился облаком тысячелицым...
Чайкой, как облако, белой и смелым ее полетом,
сшивающим небо с морем, как может лишь только птица!

* * *

Мне бы хотелось говорить с тобой не словами –
слова бессильны, они ничего не значат!
Их смысл истерся тяжелыми жерновами
времен. Я хочу с тобой говорить иначе...

Вот чайка летит, сшивая небо и море,
она означает страсть, просоленную ветрами.
Это моя любовь там носится на просторе
и яхтой вдаль несется под парусами!

И первым снегом моя любовь выпадает,
по ней идут сапоги, ботинки и туфли.
Она трепещет, кружится и тает, тает...
Но все освещает, когда фонари потухли.

Смотри, смотри: все окна зажглись любовью,
И желтый свет на снег они проливают.
Снег сыплет солью и стелется тихой болью,
и люди идут, ничего ни о чем не зная...

* * *

Если идешь к женщине, то бери с собой плеть.

Ф. Ницше

По улице идет смурной философ...
Он к женщине идет – к прекрасной Жанне
или Сусанне. Нет совсем вопросов
к ней у него – он с плетью на свиданье
идет решительно, как в цирк или зверинец.
Готов дрессировать свою подругу.
Нет чтобы там цветы или гостинец –
он прихватил с собой еще подпругу!
Он помнит все заветы Соломона
про золото кольца в ноздре свиньи, но
за ним идут все комплексы со стоном...
Он агнцем мнит себя, совсем невинным.
Но нет ни силы, ни великодушья
в субъекте сем убогом и ущербном.
Он в мрачной атмосфере рос удушья
и был ребенком малахольно-нервным.
И нет любви в том сердце, как в окурке...
(Не повезло ему когда-то с мамой!)
Плеть отними, Сусанна, у придурка!
Смотри – вся поросла она цветами...

* * *

Как одиноки все деревья –
садовые или лесные...
Хоть музыкой объаты древней,
поют мелодии ночные.
И каждый голос, утопая,
стремится слиться с остальными.
Но дуб сосну не понимает –

глазами смотрит он стальными.
Деревья тянутся друг к другу,
пытаются срастись корнями,
пытаются сплестись ветвями.
И птицы – верные их слуги –
слова любви разносят быстро,
коротенькие сообщения.
А молнии рождают искры –
горячие слова прощенья!
Но не обвить ствола стволом и не
шагнуть навстречу другу.
Конец – сродни каменоломне,
но каплет кровь на месте сруба!
Любое дерево – Мировое
и в одиночестве любое,
в том высшем смысле, чтоб собою
связать с вселенною – земное!

* * *

Лене Миленти

Женщина – девочка с карими глазами,
с улыбкою во взгляде и стихах,
бывшая и ребенком, и мамой,
вдруг впустившая в душу страх.

Одесситка – молдаванка, гречанка, немка,
выросшая на Молдаванке, в одном из дворов.
Впитавшая солнце и всю эту летку-енку
одесского лета и звездный его покров.

Любившая море и танцевать, и музыку,
любившая жизни биение в каждой из мелочей,
была подружкой со всеми почти что музами –
сама, как муза, журчащая, что ручей!

Ее стихов неумелых не иссякал источник,
живых, как она сама, неожиданных, как она.
Ленка умела сказать и смешно, и точно,
и быть актрисой при этом – актрисой счастливого сна!

Но вдруг трагедия прорывалась сквозь слов
беспечность,
глубина и боль непонятно откуда шли,
как лик проступает через лица погрешность,
как вода проступает из-под земли!

Пари, лети, ты с нами и здесь летала,
то в танце, то просто идя по улице так легко...
Пусть Бог тебя завернет в свое одеяло,
пусть в небе тебя убаюкает высоко.



Ольга Пронина

«Какая трепетная связь...»

* * *

Захмелевшей от счастья весны поцелуи
Шаловливо вплетаются в косы мои.
Небеса проливают лазурные струи,
Миражи растворяя в звенящей дали.

Ароматами первых цветов растревожит
Мои грустные мысли красotka весна.
Среди ночи бессонница будит и гложет,
Размыкает ресницы. Совсем не до сна.

Как же хочется жить и напиться рассветов.
Жадно к травам припасть, целовать лепестки
Расцветающих роз. Я мечтала об этом
Среди долгой и темной, и душной тоски.

Полной чашей пить радость, становиться сильней.
Подниматься до звезд у мечты на крыле.
Как же хочется жить ярче, легче, мудрее.
Как же хочется быть. Просто быть на земле.

* * *

Морская гладь не шелохнется,
Не встрепенется ветерок.
Поток лучей горячих льется,
Не слышен чаек говорок.

Штиль. Зной. Сухой июльский полдень.
В истоме сладкой городок,
Ленивой негою наполнен,
У берега вздремнуть прилег.

И надоедливый, как муха,
Зной вьется, вьется над водой.
Спит порт, подставив солнцу брюхо.
Уснул даже морской прибой.

И вдруг средь этого безмолвья,
Среди удушливой жары
Гром грянул и, расправив крылья,
Помчался ветер во дворы.

И в предвкушении прохлады
Воспрянул город, вдаль глядя.
И ничего ему не надо –
Только немножечко дождя.

* * *

Мне Бог сказал: «Терпи спокойно.
Противиться Мне не моги».
И вот лежу я недостойно
Во власти собственной ноги.

Летать нет сил, ходить нет мочи,
Ведь тянут книзу валуны.
Тоска крепчает ближе к ночи,
И хочешь выть, но нет луны.

Одной надеждой меньше стало,
В крови моей не много сил.
Меня любил ты слишком мало,
А может, вовсе не любил.

Лежу я без тепла и ласки –
Ни грации, ни красоты.
В плену у гипсовой повязки
Мои желанья и мечты.

Все мысли будто бы в тумане,
Движенья строго сочтены.
Итог: остывший чай в стакане,
Костыль и палка вдоль стены.

* * *

Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам.

А. Ахматова

Все подруги твои – блудницы,
И невесело вместе вам!
Что же ты опустил ресницы
И не смотришь по сторонам?

Мягко стелешь, да жестко спится,
Как бы мне совсем не пропасть.
От любви твоей удавиться
В пору. Будто к беде припасть.

Был так ласков, застенчив, нежен,
Так печален и одинок.
Но желаний грешных подснежник
Вдруг пророс в назначенный срок.

И от взглядов твоих мне смутно,
Твой так тягостен, мрачен плен.
Как же невероятно трудно
Подняться с уставших колен.

* * *

Еще люблю, еще люблю,
Но потихоньку отпускаю.
Грядущее не тороплю,
От прошлого не отрекаюсь.

Насущный хлеб, насущный день
Насытит плоть, согреет душу.
А прошлое мелькнет, как тень,
И сердце бьется глуше, глуше.

Какая трепетная связь
Меж тем, что есть, и тем, что было.
Из крохотных мгновений вязь
Плетет мой день, слагает были.

Еще люблю, еще люблю,
Но потихоньку отпускаю.
Мгновенья в памяти храню.
А память долгая такая.

* * *

И вот он случился, тот самый миг,
Когда ты узнал, что твой дом – не крепость,
А лишь груды щебня. В безмолвный крик
Ты вложил всю боль, ощутив нелепость

Всей прошедшей жизни (ценою в грош)
И прозрачных утр, и вчерашней ночи.
Ты теперь почти налегке идешь.
Ты теперь почти ничего не хочешь.

То, что строил ты и о чем мечтал, –
В один миг утратило все значенья.
Видишь, как мирок твой ничтожно мал.
Может быть, ты чувствуешь облегченье?

Нет? Тогда поплачь о своей беде.
Только горло стиснуто спазмом страха.
Раствори страданье в сырой воде,
Выпей залпом. Стряхни пылинки праха.

Да, твой дом – не крепость. Но надо жить.
Как? Это больше всего и тревожит.
Ты попробуй заново все возродить.
Если сможешь. Если, конечно, сможешь.



Анна Нахимчук

В чем жизни смысл?

* * *

Стукнем о пол каблуком,
Волосы взъерошим!
Хватит думать о плохом!
Будем о хорошем.

Юность щедрою была,
Счастье обещала.
Нет, она не предала,
Просто обнищала.

Сколько всякого добра
У нее-то было!
Сколько злата-серебра
Нищим раздала!

И с протянутой рукой
Сквозь года плетется
Юность, ставшая тоской.
Юность, ставшая тоской,
Старостью зовется.

За душою – ни гроша.
Впереди – потемки.
Лишь бессмертная душа
В нищенской котомке.

Стукнем о пол каблуком,
Волосы взъерошим!
К черту – мысли о плохом!
Будем о хорошем.

Лебеда да лопухи
В нищенской котомке?
Нет! – Бессмертные стихи.
Впереди – потомки.

Жизни

1

Несмотря ни на что, ты – жива.
Стоит только прислушаться –
Прорастает сквозь камни трава
Так, что крепости рушатся.

И в скорлупку стучится птенец
Робкой азбукой Морзе.
И тепло бескорыстных сердец
Побеждает морозы.

Ты – жива. Несмотря ни на что.
Вопреки предсказаниям.
Пусть проходит и десять, и сто
Лет. Все будет, я знаю.

Будет солнце сиять над землей,
Звезды падать устало.
И шуметь черноморский прибой,
Разбиваясь о скалы.

Будет все: и дыхание весны
Из открытых отдушин.

Будет все: и тревожные сны,
И мятежные души.

Рассыпая цветы по полям,
Будет странствовать Лето.
Будут Землю делить пополам
Короли и поэты.

И дожди, и осенняя мгла,
И зимой снегопады.
И попытка найти корень зла
Там, где ищутся клады.

И божественный лик Красоты
Над безликим убожеством.
Будет все. И во всем будешь Ты.
И детей твоих множество.

2

Пока мы в ней искали смысла,
Она бессмысленно текла.
И в бездну дней роняла числа.
И проходила. И прошла.

Прошла, промчалась, пролетела,
Встревожив бедные умы.
Зачем была и песни пела?
Быть может, счастье дать хотела?
Но – *смысла* в ней искали мы.

В чем жизни смысл?
Снопами света,
Разливом зорь, раскатом гроз
Жизнь отвечала нам на этот
(Не безответный ли?) вопрос.

И синевой небес, и шумом
Листву роняющих дерев.
– В чем жизни смысл? – усталым думам
Плач ветра вторил нараспев.

– В чем жизни смысл? – и расстилались
Полей бескрайние ковры.
– В чем жизни смысл?! – перекликались
В пространстве дальние миры.

Всю жизнь искали мы ответа.
И вот поникли головой.
И что же видим, глядя в Лету?
В исканьях *смысла* смысла нету.
А жизни смысл лишь в ней самой.

Поэты

Мы рассыпаны по нему звездами,
По земле мы разбросаны зернами.
А за то, что бессмертными созданы,
Платим муками творчества черными.

Мы – избранники, мы же – изгнанники.
Мы – поэты, мы вольные пленники!
Мы – изгнанники, мы же – избранники!
Спорим с Богом и – лепим вареники.

Мое призвание

Божий дар – не товар.
Даром он дается
И не продается.
Из ранних стихов

Призвание мое – стихи, поэзия.
Вот почему мне места в мире нет.

Поэзия и есть моя профессия.
Хоть нет такой профессии: поэт.

И ни в одной на свете бухгалтерии
Зарплату не начислят за стихи.
Срываешь голос, нервы и артерии!
Ныряешь в ад немыслимых стихий!

Летишь над бездной и скользишь по лезвию,
В кровавый прах судьбу свою кроша.
Поэты жизнью платят за поэзию!
Им за нее не платят ни гроша.

– Поэзия – занятие бесцельное!
– Поэзия – неходовой товар!
А впрочем... как оценивать бесценное?
Какую плату брать за Божий дар?

О творчество! Святое, неподкупное!
Бессмертие в лохмотьях нищеты.
Бессмертие – вознаграждение крупное
За рабский труд и горькие плоды.

Мой труд

Не Муза с небес мне стихи диктовала.
Как уголь шахтер, я слова добывала.
Как хмурый геолог, пласты я рубила,
Сквозь тьму пробираясь к сиянью рубина.
Мое вдохновенье – рабочие корчи.
Храните детей, как от сглаза и порчи,
От этой работы, тяжелой работы.
Стихи – это роды, и... трудные роды.
Стихи добываются потом и кровью,
Тревогой, страданием, болью, любовью.
Нелегкой ценою они достаются.

Без боя стихи никогда не сдаются.
Плененные мыслью и словом, и ритмом,
Отчаянно сопротивляются рифмам.
И кажется, что в достижении Смысла
Душа между жизнью и смертью повисла.
Но я не отдам за земные все блага
Перо и чернил драгоценную влагу.
И пусть добываются потом и кровью,
Ломают судьбу, отнимают здоровье,
Пусть даже я сдохну над этой страницей!
За труд мой воздаст, и воздаст мне сторицей
Читатель мой, тот человек незнакомый,
Что станет мне самой большой и весомой
Наградой за вложенный труд и отвагу
В процесс нанесения слов на бумагу.
А Муза... Что Муза? Давно это было...
Нет, Муза меня никогда не любила.
К другим, не ко мне, по ночам прилетала.
И эти стихи – не она нашептала.



Елена Шелкова

Я прекрасный сумасшедший поезд

Страна Солирующего Саксофона

Оркестры, повсюду оркестры, оркестры.
По струнам идешь, понимаешь: труба.
И дружбе нет места, и нежности места,
Но все же страну сочиню для тебя,

Страну Солирующего Саксофона.

Нет тихого слова – все чаще и чаще
От звуков и звяков гудит голова.
Здесь галстук – и тот подбирают кричащий,
А я всем назло подбираю слова

К Стране Солирующего Саксофона.

Я их подбирал, как девчонка помаду,
Которая знает, что встреча – финал.
А все оттого, что когда сам я падал,
Никто никогда меня не подбирал

В Страну Солирующего Саксофона

И пусть одному мне кружиться трамваем,
И пусть одному возвращаться домой.
Я – неповторим.
Или неповторяем?

Я – не подбираем к тебе
И тобой.

Я – буква.
Я – слово.
Я – фраза, которой
однажды взорваться – затихнут миры.
Среди оркестрантов, играющих горе,
Услышь меня
И подбери,
Подбери

В Страну Солирующего Саксофона.

Поезд

Странники со странностями. В страны
Черт их и кондуктор вновь понес.
Поезда, я знаю, – наркоманы.
Поезда не могут без колес.

В знойный день и в лютые морозы
Мчится поезд – в город, в море, в лес.
И живут под кайфом паровозы,
Оттого так часто сходят с рельс.

Скорость увеличивая, дозы
Поезд по дороге все считал.
Отчего так любят эти розы
Расцветать на рельсах, между шпал?

Он тебя проехал, не заметив,
Он тебе ни стука не сказал.
Но о чем ты думал, семицветик,
Поезду глядя во все глаза?

Что мы ищем, сердце рвя на части?
Мы найдем покой, нам повезет.
Только не меняет адрес счастье,
Счастье там, где нынче горизонт.

Я лечу, вовек не успокоюсь,
Здесь не те, а там не то, не то...
Я прекрасный сумасшедший поезд

...за которым не бежит никто.

Побег арбузов

...а грузовик разбился вместе с грузом.
И выпало их чуть ли не две тонны.
Катились трассой смелые арбузы,
Как головы романтиков казненных.

Побег арбузов! Тысячи по лужам...
Глядел на них и удивлялся кустик.
А тот арбуз – кривой и неуклюжий –
Моя башка, слетевшая от грусти!

Какая нас вперед толкала сила?
И поняли не только липы – кедры,
Что, даже став арбузом, я катилась
К твоим ногам, к твоим промокшим кедам.

Друзья-арбузы, нас потом поймают
И повезут на казнь в огромной клетки.
А люди ничего не понимают!
И покупают нас на радость детям.

Романтики в неравном поединке...

Хоть так меня узнай по всем повадкам.
Купи меня за семь рублей на рынке,
Разрежь меня. Я буду очень сладкой...

Стих потерянного человека

Случайные встречи ложились на полку.
Прощальные взгляды бомбили планету.
Непросто, непросто найти незнакомку,
Когда от знакомых спасения нету!

Когда вся планета – сплошное болото,
Когда вся планета – шестая палата,
А рядом все время какой-нибудь кто-то,
Кого я не знаю, кого мне не надо.

И осень все ближе – падение яблок.
У сердца все меньше цветущих Испаний.
Но хочется верить, что в чем-то и я – Блок,
И я незнакомку найду в ресторане.

А мир – он прекрасен. Но как надоело
Кого-то искать, от кого-то теряться.
А ливень все рвался на мокрое дело,
Бежал, как жених от невесты из ЗАГСа!

Бежали вокзалы, причалы и пристань,
Как жить пацанами, забыли мужчины...
И осень, и осень-импрессионистка
Все чаще и чаще рисует морщины.

Ночами звонят мне и Верка, и Томка,
А я домовитый, но страшно бездомный
Опять убегая искать незнакомку,
Чтоб сделать ее безнадежно знакомой...

Следы

Как много вокруг снегов,
И ты по снегам беги.
Да будут среди шагов
Любимой моей шаги.

А шаг оставляет след –
Автограф судьбы Земле.
Моих сумасшедших кед
Уже не найти во мгле.

Я жить веселее мог,
А выбрал любовь и грусть.
Мне не целовать ей ног,
В следы на снегу вопьюсь.

Друзья мне кричали: «Бред!»
Но жизнь выбирал я сам.
Пушай не оставил след,
Ведь шел по твоим следам,

Чтоб не замели снега,
Не стерли бы их враги...
Прости мне, моя нога,
Я ей отдаю шаги,
Чтоб только жила сто лет!

Жаль, понял я лишь сейчас:
Не мы оставляем след –
Следы оставляют нас.

Моему Музу

Без ухищрений и искусов
Мы выбираем жизнь на вкус.

К поэтам ночью ходит Муза,
А к поэтессам ходит Муз.

Я стала бледною, как груша,
За что мне тяжкий этот груз?
Ведь я хотела просто мужа,
А вместо мужа – только Муз...

Лежит немытою посуда,
Мне не понять, «в чем сила, брат».
Хочу сбежать, сбежать отсюда
К тебе – на сто стихов назад!

Воспоминания не ранят,
Я на тебя уже не злюсь.
Конечно, муж терпеть не станет,
Когда на кухне ночью Муз.

Что натворила я?! Творенья...
Холодный Муз глядит в упор.
И каждое стихотворенье
Себе же смертный приговор.

Характер мой – конец любому.
И от меня (я так боюсь!)
Не только муж сбежит из дому,
Но и последний хилый Муз...

Киев



Алена Рычкова-Закаблуковская

Так в старом фильме

Хоронили удода

Ты помнишь, как мы хоронили удода.
Стрекозы и мошки садились на воду,
И падало солнце в утиную заводь,
Но нам не хотелось играть и плавать.
В нарядной коробке, на кукольных тряпках,
Усопшая птица скукожила лапки,
Как два кулачка, и нахохлила грудку.
Как будто удода задремал на минутку,
Пока мы копали могилу в суглинке,
Затем выстлали – травинка к травинке.
Нелепый такой ритуал человеческий
Сводил над землей наши хрупкие плечи,
И остро лопатки, как крылышки птичьи,
Светились сквозь платья. Меняя обличье,
Дрожали над заводью знойные тени,
Когда, отрясая суглинок с коленей,
Сухие былинки и прах с ягодиц,
Сквозь пух проступало на свет оперение.
Мы были похожи на маленьких птиц,
Прошедших негласный обряд посвящения.

* * *

когда в грядущем не видать ни зги
я затеваю в доме пироги
а за окном небесным мукомолом

убелены и други и враги
мерцающим снежком из-под дуги
и медленно расходятся круги
под перышком проявленного слова

брошка с лисой

эту брошку с лисой приколи по косою
словно зверь покати́лся с горы
а под лапой босой шелестит сухостой
вслед лися́та глядят из норы
им в диковинку рыжий разреженный свет
народившийся стих ранит слух
наготове держи апельсиновый плед
чтоб скорее поймать этих двух
остроухих пока
мать-лисица несет
нам сакральную жертву свою –
златоперую птицу литые бока
и встает с ней
на самом
краю

* * *

нет слов я не ищу они приходят сами
по влажному плющу сползают со стены
и говорят со мной иными голосами
и в этот разговор опять вовлечены
и шорохи-шаги и посвисты и скрипы
и прочее чему название бог весть
услышишь ли их ты... но не о том молитва
нет не о том волшба и заклинаний взвесь

* * *

как невещественно текло с ночного неба молоко
там тучные блуждали ко твоих моих агоний

мир млечным разделен мелком на да и нет на до и по
на лед посыпанный песком и клен в земном поклоне
на дверь дверную рукоять и нас двоих в преддверии
доколе нам вот так стоять не наступать не приступить
да что там вовсе не дышать меж верой и неверием

* * *

опять игра-драматизация
демонизация героя...
но тонко светится акация
в проеме небо голубое
из подреберья в поднебесье
взлетает тихо шар лиловый
о подоконной фотосессии
мы не обмолвимся ни словом
я удержусь на грани зыбкой
а после как стрела из лука...
так в старом фильме:
стоп. улыбка.
герой протягивает руку

* * *

Наступило время (странных) птиц –
Голубых сорок и свиристелей.
– Прилетели, мама?
– Прилетели!
Время петушковой карамели.
Люди-лодки, шоркая бортами,
Соблюдают таинство границ.
Не соприкоснувшись рукавами,
Зиму коротают до весны.
Соблюдайте, милый мой, и вы...
Словно ледокол в торосах снежных,
Обогните мыс моей надежды.
И минуйте дни мои и сны.

патрициальное

вези меня китайская арба
по улочкам заснеженной провинции
тряси во мне упрямого раба
не сотрясая гордого патриция
сквозь пелену привидится ему
стекло реки глазковское предместье
и если где-то существует крит
то это в параллельной фотосессии
узбекский мальчик не сочти за труд
уйми динамик
царственный и бледный
патриций принял холода цикут
и дремлет

* * *

Время маленьких Будд, созревающих тут,
Непременно приходит с дарами.
Вдоль примятой тропы шевеление груд,
Поспевания томное пламя.
Под навес уложи желтокожий отряд –
Обнаженные маковки лука.
Этот древний и скорбный семейный уклад,
Эта горькая бабья наука
Тонкой складочкой лягут у бледного рта,
Острой линией врежутся в руку.
Отворяй погребя, как святые врата,
Засыпай свою смертную муку,
Словно на зиму хочешь избавить от пут
Эти хрупкие длинные ветви.
Август время надежд, вызревающих Будд,
Время душ, обретающих ветер.

Иркутск

Первые шаги

168 Море талантов на берегах Одессы

Море талантов на берегах Одессы

Екатерина Онуфриенко

Как выглядит добро?

Как выглядит добро?
Никто не знает.
Нет тела у него и нет лица.
Но, встретив, мы всегда его узнаем
И сохраним навек в своих сердцах.
А значит, есть и у добра обличье:
Улыбка, голос, шепот, смех и взгляд.
Оно вокруг: в родных, знакомых лицах,
В стихах любви и в пенье серенад.
Оно в ладони, что кусочек хлеба
Всегда подаст голодному щенку.
Оно в руке с большим мохнатым пледом,
Накинутым на плечи старику.
И в маминых глазах, в которых нежность.
И в бабушкиных сказках и словах,
И в слове друга, что для нас поддержка,
В надежных сильных папиных руках.
Добра так много, что не перечесать...
Оно живет! Добро на свете есть!
А главное зависит от *всех* нас:
Продлим добра как можно дольше час!

В нашем классе

В нашем классе интересно,
Жизнь в нем весело кипит,
Пусть на переменах тесно –
Кто поет, а кто шумит.
Кто-то скачет на скакалке,
Кто-то в книжку заглянул,
Из окна глядят на галку.
Маша вылезла на стул
И цветочки поливает,
Вова в ПСП играет,
Ваня широко зевает,
Вероника напевает,
Мира повторяет стих,
Ростик в уголке притих,
Вика парту вытирает,
Катя книжки собирает,
Шепчет Ане что-то Лиза.
И доносится клич снизу:
– Эй, ребята, кто в столовку?
Все помчались очень ловко:
Через парочку минут
С булками все тут как тут.
Вот опять звенит звонок.
Начинается урок.
Все у мест своих застыли,
Словно вовсе не шалили.
Будем перемены ждать,
Чтобы весело скакать,
От урока отдыхать,
Бегать, прыгать и играть!

Тарас Стеценко

Один землянин и восемь инопланетян

А на Плутоне жил Плутиска,
Любил он путать буквы в книжках,
Он мне загадки предлагал,
А я смеялся и читал!
А на Венере жил Венерка,
Почти как наш земной Валерка.
Мы с ним в футбол всегда играли
И очень встреч друг с другом ждали.
Летел с Меркурия Меркуша,
Меня любил он очень слушать,
Я все ему как другу ведал,
Вели мы долгие беседы.
Кольцо мне Юпик предлагал,
Чтоб в спорте я не отставал,
Еще Нептунчик и Уранчик,
И друг Сатурн, хороший мальчик.
Уранчик всех их преуспел –
Колец одиннадцать надел!
Теперь уже я не один,
Заботой всех восьми храним,
Ведь дружбе крепкой неземной
Различий нет, что ты другой!

Оксана Рашевская

Вечные законы

Законы человечества прочны
И неподвластны измененьям вечности.
Они, как время, точны и верны,
Как океан, они полны безбрежности.
Тепло рождается углем,
Любовью – дети, а вино

Без винограда не бывает.
Муку из зерен добывают...
И если ты уж человек,
Тогда храни свое достоинство,
Будь человеком, несмотря
На войны, беды и убожество.
Будь человеком и тогда,
Когда на волосок от смерти...
Пусть мудрости твоей звезда
Горит всегда на белом свете.
Законы нежности храни,
Коль человек ты, постарайся
Мечту в реальность воплотить,
Из недругов ты сделай братьев.
Пусть же каждый сохранит
В глубинах сердца эту истину.
Пусть светлый разум победит,
И будет мудрость править жизнью.

Юлия Байда

Мы выбираем сами

Утро бывает разным:
Светлым, солнечным, ясным,
Бодрым, поющим, звенящим,
Ранним, сонным, спешащим.
Для доброго человека утро бывает добрым,
Для хмурого – неудобным,
Ему все вокруг мешает, очень его раздражает.
Разным утро бывает...
День нам несет заботы:
Учеба, семья, работа.
Для доброго человека день радости полон и смеха,
Новых сюрпризов, везения,
Успехов, друзей, вдохновения.
Для мелких и ленивых каждый из дней – рутина,

Скучные будни так серы:
Нет ни надежды, ни веры
В небе зажгутся свечи,
На землю приходит вечер.
Для тех, кто любить умеет, вечер всего милее:
Он манит свиданием нежным,
Трепетным и безмятежным,
Станет уютным, домашним,
Тихим семейным счастьем.
Для самовлюбленных вечер не обещает встречи:
Злой, одинокий, тоскливый,
Вечер невыносимый...
Время рекой струится.
Утро в окно стучится.
Что утром случится с нами –
Мы выбираем сами.

Татьяна Олейник

* * *

Несмотря на преграды,
Что стоят на пути,
Будь разумным и храбрым,
Верь, что сможешь пройти.
Тот, кто выбрал путь легкий,
Не достигнет победы,
Ведь упорным трудом
Побеждаются беды.
Будь бесстрашным, ведь страх
Приведет к пораженью.
Будь усерден – небрежность
Подружится с ленью.
О поступках своих
Ты не хвастай, не надо,
Придет время – получишь
Ты от жизни награду.

Если станешь по совести
Жить в этом мире,
Человеком ты будешь
Благородным и сильным!

Полина Перепелица

Понарошку

Понарошку в лес пошел я,
Понарошку без сапог,
Понарошку в дождь попал я,
Понарошку я промок,
Понарошку потерялся,
Понарошку дом ищу,
Понарошку ох как страшно,
Понарошку я реву.
Понарошку слез соленых,
Стала лужа или две,
Понарошку, может, это
Ночью все приснилось мне.

Лиза Енгибарян

Загадки малышам

* * *

Они плавают в воде.
Рады вкусненькой еде.
Подплывают и хватают,
Корм, который им бросают.
Дарят всем они улыбки.
Догадались, это –

(рыбки)

* * *

Это животное очень простое,
Его отгадать не составит труда
Он может на улице жить безпризорный.
А может и в очень богатых домах.
Он добрый бывает, бывает и злой.
Бывает породистый или простой.
У этого зверя всегда мокрый нос.
Ну, вы догадались? Конечно же, ...

(жац)

* * *

Он неряха и грязнуля,
Розовый и неопрятный.
Полная еды кастрюля
Радует невероятно.
У него есть хвост крючком,
Но это не котенок.
У него есть пяточок,
Ведь это – ...

(жонэсододц)



Искусство – жизнь – искусство

- 176 Сергей Калмыков**
«Что наша милая Одесса?»
- 199 Григорий Палатников**
Мимолетен, как блик на воде
- 220 Анна Мисюк**
Поэт Семен Фруг
- 225 Семен Фруг**
Еврейская мелодия
- 228 Леонид Финкель**
Балмилухе, или Земля обетованная художника
Ефима Ладыженского
- 253 Белла Верникова**
Не модная сторона улицы
- 262 Феликс Кохрихт**
Театр уж полон!
- 265 Ефим Ярошевский**
Про Даниила Марковича Шаца... про Даню
- 277 Роман Бродавко**
Джаз – это музыка свободных людей
- 283 Геннадий Тарасуль**
«Вижу и слышу: колышется время»
- 286 Анастасия Зиневич**
Иуда

Сергей Калмыков

«Что наша милая Одесса?»

Этот вопрос я постоянно встречал в письмах нашего земляка, писателя Сергея Александровича Бондарина, и его жены Генриетты Савельевны Адлер. Слышал его и при нечастых наших встречах, и в телефонных беседах. Давным-давно покинув Одессу, город своей молодости, они всегда интересовались его жизнью.

Первая наша встреча произошла больше полувека назад, и было это так.

Моя работа постоянно была связана с разъездами, и летом 1964 года я надолго оказался в Мариуполе, тогдашнем Жданове. В свободное время бродил по старым кварталам, сохранившим облик милой провинциальности, познакомился почти со всеми книжными лавками, выставочным залом, восхищался в сумерках грозным, каким-то вулканическим заревом над доменными печами, сходил даже в театр. И вот каким-то намеком, будто предвестием будущих событий, зазвучала откуда-то извне одесская нота. То неожиданно-негаданно встретил институтскую однокурсницу, то набрел на Одесскую улицу и, наконец, (о, восторг!) в ротонде приморского ресторана компания лилипутов, отмечавшая конец гастролей, отплясывала «семь-сорок».

А спустя день-другой вдруг увидел на книжном лотке книгу с какой-то бледной обложкой: Сергей Бондарин, «Гроздь винограда». Это имя я, сознаюсь, не помнил, но книгу полистал-полистал – и уже на место положить не смог. Автор рассказывал о нашем городе, о встречах с Ильфом, Багрицким, Олешей, Бабелем, да и не только с ними.

Уже позтому поздней осенью никак нельзя было пропустить литературные вечера на Пушкинской, 10, с участием



На Потемкинской лестнице

Бондарина и других приезжих писателей, Ольги Густавовны Олеси, Антонины Николаевны Пирожковой-Бабель и одесских литературоведов.

Первый вечер был посвящен Бабелю, и после всех выступлений мы окружили приезжих, принялись расспрашивать о том о сем, и Сергей Александрович Бондарин предложил продолжить встречу утром в своем гостиничном номере. Поясню, что «мы» означает меня с братом Юрой, а еще его сокурсников Жору Гергая и Борю Аксельбанта с их подружками. Назавтра в гостинице мы были представлены и Генриетте Савельевне. Первое впечатление – строгая, однако дружелюбная. Рассказ предстоит долгий, и далее я буду их называть СА и ГС. Было много говорено о книгах, о наших славных писателях-земляках. Вопросы задавали не только мы, но и СА.

День выдался солнечный, и в конце концов СА произнес: «А теперь мы купим семечек и пойдем гулять». Наш первый выход, в котором участвовал и Борис Бобович, состоялся в парк Шевченко. С этого и началось.



Ланжерон. 1964 г.

На втором вечере, посвященном уже Багрицкому, какой-то молодой неумеха взялся читать «Контрабандистов». Стихов не помнил. Не отрывая глаз от текста, умудрялся все-таки сбиваться. Стыдливо опустил четверостишие: «Чтоб звезды обрызгали грудь наживы: коньяк, чулки и презервативы...». Когда публика уже расходилась, пришлось отвести этого горемыку в уголок, чтобы по возможности тактично разъяснить, что он собой представляет. А внизу у выхода нас ждал СА со словами: *«Ну, ребята, как же так? Я-то надеялся, что мы дружно устроим ему кошачий концерт»*.

Нашим встречам и прогулкам суждено было продолжаться не только в Одессе и не только этой осенью. СА через полгода приехал снова. Сейчас уже невозможно сказать, что и когда происходило, да это и неважно. Ходили то компанией, то вдвоем, причем неторопливо, в задумчиво-мечтательном темпе. Разговоры наши тоже были неспешными. Как-то на Маразлиевской СА начал:

- *Вот так в давние времена шли и мы, молодые поэты...*
- Но мы-то не поэты!
- *Нет, мы поэты.*
- Почему же наших книжек нет?
- *И у нас не было.*

Где мы бродили, что искали и у кого побывали?

Конечно, у моря – на Ланжероне, Малом Фонтане, Приморском бульваре, в парке Шевченко и вокруг него.

По адресам, где в разное время жили Эдуард и Лидия Багрицкие: в Новобазарном переулке, где на свет появился Севка, на улице Дальницкой, в Лермонтовском переулке.

Нашли дом «Коллектива поэтов» на ул. Петра Великого, № 33, дом «Коллектива художников» в самом начале Преображенской, помещение, где собирались «Потоки Октября» на Степовой. Улицы и дома за прошедшие десятилетия так изменили облик, что СА временами терялся в поисках. Пришлось обратиться за помощью к старому рабочему корреспонденту и потоковцу Алексею Борисову, жившему на Степовой, № 48. Он с готовностью к нам присоединился.

Были на заседании «Одессики» в Доме ученых, на встрече со старшеклассниками в школе № 122 на Комсомольской. Там СА свое выступление начал с запомнившейся ему фразы Горького: «В аудитории я говорю плохо, позвольте мне прочитать вам то, что мною записано...». И перешел к отрывку из своего рассказа о Ване Золушкине.

Как-то участвовали в чаепитии в квартире наследников доктора Когана при психиатрической лечебнице на Слободке.

Устроили посиделки и у нас дома. СА был так восхищен, когда увидел и услышал старую шарманку «Ariston», что потом вспоминал ее в письмах: *«А поверьте, очень хотелось бы побродить с вами опять, покрутить шарманку, опрокинуть Красную Мэри»*. К слову, самого СА крепкие напитки не столь привлекали, как вкусное вино. Что было, то было...

На Пушкинской, № 8, одиноко жила немолодая женщина, которую СА помнил задорной девушкой-подростком Фанечкой, участницей нашумевших «Вечеров ничевоков» в одесском цирке. Окна ее комнаты выходили на улицу, а подоконники едва-едва возвышались над тротуаром. В отличие от степенной ГС, мы, все остальные, вошли через окно. Случайно ли? Думаю – нет, так как в поведении СА, а если хотите, и характере, благополучно сочетались сдержанность с какой-то детской непосредственностью.

В молодые годы подобная «несолидность», бывало, проявлялась в бесшабашных эскападах. Вот что припомнилось из признаков самого СА.

– В Москве мы с приятелями придумали «Общество по изучению окрестностей». Могли, допустим, принять вот какое решение: «Давайте сядем на трамвай № 8, сойдем на восьмой остановке и поищем, где бы выпить пива!». Поверьте, нам в подобных странствиях попадалось много интересного.

– Идем группой по Тверской – и тут кто-то предлагает: «Давайте будем дружно хромать на левую ногу и наблюдать за лицами встречающих прохожих».

Не могло не восхищать его общение с малышами «на равных»:

– Меня зовут Сережа. А тебя как? – подавая руку крохотному мальчугану.

Свою книгу «Парус плаваний и воспоминаний» СА надписал для нас так: «Милым верным друзьям папе – Сереже, маме – Гале, и самой Нюшке, которая, несомненно, будет капитаном (без усов). – Здоровья! Удачливости! Любви!»

А нашей Нюшке в ту пору еще не исполнился даже год.

СА были присущи общительность и немногословность. Больше расспрашивал, чем рассказывал. Его ответы на наши вопросы были краткими, но емкими, окрашенными иронической ностальгией. Манера беседы походила на размышления вслух:

– Основа брака, устойчивой семьи – это все-таки истинная любовь. Когда на первое место выдвигают общность интересов, то мне представляются двое марксистов, читающих в постели сочинения Плеханова.

Странная вещь – Любовь Дмитриевна, обожаемая жена Александра Блока, была несчастна оттого, что он питал к ней высокие, почти молитвенные чувства. Для земных утех он имел любовниц.

Где же истина, где счастье, где вдохновение?

Хотел понять современные настроения молодых:

– Расскажите о вашей заветной мечте.

Ответы последовали разные, но СА был растроган вот этим:

– Совершить дальнейшее путешествие с теми, кого любишь.



Малый Фонтан. 1965 г.

В «Книге юности» СА так вспоминает одного из друзей по гимназии: *«В свои шестнадцать лет Боря был прекрасным поэтом»*. И немного дальше: *«Он гулял с поэтами, с ним были Юрий Олеша, Айя Адалис, Зика Шишова, а тот, с которым шел Боря, – первый среди них, – рапсод Эдуард Багрицкий»*.

Существовал ли среди одесской талантливой молодежи поэт Боря Петер, юное дарование с революционными наклонностями? СА кое-что прояснил. Фамилия поэта была не Петер, а Тепер, и отец его, действительно преуспевающий домовладелец, после воцарения большевиков эмигрировал со всей семьей, и судьба их навсегда осталась неизвестной. Настоящую, фамилию Бориса пришлось прозрачно скрыть, так сказать, «во избежание»...

Навсегда и бесследно исчез подающий надежды поэт, но сохранились два листка с машинописью его стихов. И как не привести один из них?

Мы чувствуем весну по Кузмину,
А зиму обязательно по Блоку,

Но круглый год любил, не зная срока,
Погод не зная, девушку одну.

Она зимой являлась из метели
В любую ночь, как только я усну, –
Совсем по Блоку, а на самом деле
Я и тогда любил по Кузмину.

В подобных походах и встречах ГС почти не участвовала и причину этому объяснила однажды в письме: *«Моя мать говорила, что в детстве я была невыносимой болтушкой. А вот потом стала довольно молчалива и малоконтактна, что не нравилось СА. Но я оправдываю себя тем, что Герцен говорил о своей жене, что она, как и всякая сложная натура, была малоконтактна. Уж не знаю, какая я есть. Такова уж, как есть».*

Провожая на поезд наших гостей, мы не предполагали, что эта дружба только завязалась, что теперь она навсегда, невзирая на расстояния, что впереди будут и письма, и встречи, и телефонные звонки...

Из письма СА: *«Думаю, знакомство с вашей «лигой» состоялось не случайно. Я уже говорил, что эта дружба радует меня. И мне не безразличны состояния моих молодых друзей».*

Добавлю, что я писал не только из Одессы, но и находясь в частых командировках, а Юра с Жорой – из Совгавани, места своей работы после института. СА, который смолodu был непоседой, теперь тоже много странствовал, будто наверстывая годы затворничества в заключении и ссылке. Писал очерки о своих впечатлениях от Канады, Швейцарии, Сибири, Дальнего Востока, Карелии.

Я любил получать письма и от ГС – чаще напечатанные на машинке, но временами и рукописные.

Когда удавалось, я звонил в Москву, и мы говорили о всяком: о жизни в Одессе, о различных занятиях, книгах, впечатлениях и встречах. СА регулярно расспрашивал, как дела у «Черноморца». Сам-то футболом занимался с юности, и, выступая однажды за 4-ю гимназию, сошелся в поединке с Юрием Олешей, форвардом команды ришельевцев. Произошло это на Французском бульваре, где потом выросли «Дома специалистов».

Когда родилась наша дочка, интересовался, как она подрастает и какие успехи делает. Впрочем, все это было скорее иллюзией общения, и остро хотелось встретиться, наговориться вволю.

– Приезжайте, Сережечка, – звучал в телефоне голос ГС, – мне много лет, и время уходит. Ведь *там* мы друг друга можем и не узнать.

Не думаю, что мои впечатления от многочисленных наших встреч и бесед похожи на связанное повествование, скорее это некие зарисовки или наброски. Некоторые ситуации остались на моих фотографиях.

В теплый весенний день мы встретились с СА на Пролетарском бульваре, № 89, где я в то время работал. Портретный снимок в травах над морем оказался удачным и был использован для приглашения в Дом ученых. Понравился он и ГС. «Спасибо! – написала она. – Нельзя было выбрать с большим вкусом фотографию для пригласительного билета, чем эта. Тут – весь Сергей Александрович».

Сам СА частенько хотел фотографироваться в таких мгновенно узнаваемых местах, как Потемкинская лестница, фонтан на Соборной площади, памятники Пушкину и «Дюку» на бульваре, как пушка с фрегата «Тигр», как дом-музей Пушкина.

Считаю удачным портрет, сделанный на Соборной площади перед началом очень тогда успешного спектакля «Бег» в Русском театре. Генерала Хлудова отлично играл Борис Зайденберг. Потом выяснилось, что наши москвичи после первого акта ушли – для них было невыносимо громко. Дело в том, что эпизоды событий



С В.С. Алексеевым-Поповым. 1965 г.



На Соборной площади. Май 1969 г.

перемежались фонограммой с церковными песнопениями и колокольным звоном из мощных динамиков.

А вот ГС ни за что не желала попадать в объектив. Это изредка случалось разве что в группе на прогулке. Но когда СА уже не было в живых, она неожиданно попросила ее сфотографировать. Была раскованной, спокойной, и я сделал несколько вполне удачных кадров безо всякой режиссуры. И даже сегодня, много лет спустя, считаю, что ГС именно такой и была, как на этих снимках. Однако в новый мой приезд произошло вот что. Опять мы толковали о прошлых годах, рассматривая фотографии.

ГС иногда давала пояснения: *«Вот это Бабель играет в шарарды... Здесь СА в Севастополе... Это меня снимал Ильф... На этой карточке, где мне 18-19 лет, я себя назвала еврейской невестой... А знаете, Сережечка, я вашими фотографиями недовольна»*. Надо ли говорить, как я огорчился? Но что оказалось? ГС достала свой давний-предавний портрет в стиле ню. Были удачны и поза, и освещение, но главное – фотограф проявил необходимый такт. Расспрашивать я не стал ничего, а ГС лишь сказала: *«Как мне после этого могут нравиться сегодняшние карточки?»*.

Дело было в Москве в теплый майский день 1967 года, когда к СА пришли двое незнакомых мне прежде людей – Борис Балтер и Бенедикт Сарнов. Мне бы следовало догадаться, что встреча эта может оказаться конфиденциальной, но я продолжал что-то листать у стола, а хозяин и гости вышли на балкон и беседовали там. СА попросил, конечно, сфотографировать



Генриетта Савельевна

их на память. Для меня это стало неожиданной радостью, особенно знакомство с Борисом Исааковичем и доброе, хоть и мимолетное с ним общение.

СА потом рассказал, что причиной этого визита стало письмо Солженицына к IV Съезду советских писателей, которое я тут же переснял.

Весной 1970 года СА был снова в Одессе. Кто знал, что этот приезд последний? Я его снимал в гостиничном номере с В.М. Гридиным, а на прогулке по Пушкинской и Приморскому бульвару с В.С. Алексеевым-Поповым. Фотографируясь с моей женой, СА приговаривал: «Сейчас птичка вылетит!». Потом написал на одной из карточек: «Не забывайте, милая, что птички бывают разные, – и все равно улыбайтесь».

Ему было свойственно не только указывать дату на фотографии, но и добавлять краткий лирический комментарий. Вот



Б. Сарнов, Б. Балтер, С. Бондарин

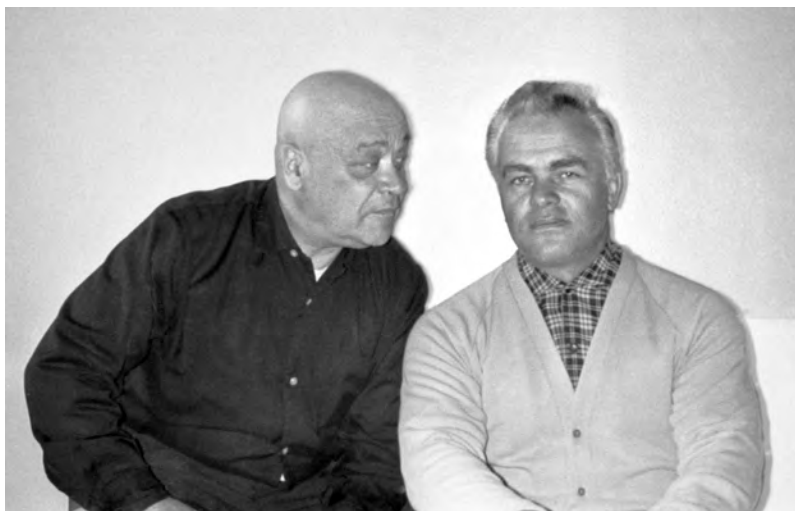
пример: *«Ул. Чкалова 1 (Быв. Большая Арнаутская). А когда-то сюда «за ворота» с замиранием сердца выбегал мальчик Сережа. Одесса 1906-1964»*. На этом снимке СА стоит у дома своего детства.

Случалось, что СА приходилось менять мнение о человеке. Так однажды я от него услышал самые добрые отзывы об Ахто Леви, писателе с тюремным прошлым, авторе «Записок Серого Волка».

– Я вас непременно с ним познакомлю, когда приедете!

Но когда, оказавшись в Москве, я об этом напомнил, СА наморщил нос и махнул рукой.

СА после плавания на «Урицком» по дальневосточным морям написал одну из лучших повестей «Океан. Думы и чувства», полную мудрости и грусти. Случилось так, что сделанное в ней признание: *«Длинное путешествие жизни все-таки идет к концу»*, – оказалось предвидением.



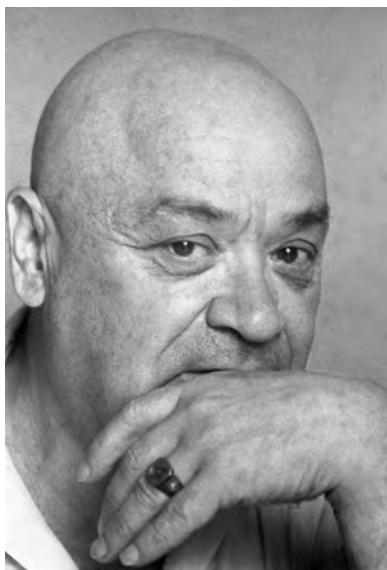
С В.М. Гридиным. Май 1970 г.

Летом 1972 года я оказался в Ленинграде на военных сборах при академии им. Можайского и там получил от ГС встревожившее меня письмо.

«Серг. Ал. уже 3 месяца в больнице. Скоро вернется домой. Но это не значит, что он вернулся к своему обычному состоянию. Депрессия – так называется эта такая долгая болезнь... Мы оба очень печальны и очень одиноки.

В Л-де живет старая наша подружка Людмила Влад. Руденко, бывш. чемпион мира по шахматам. Ее телефон 93-36-03. Обязательно пойдите к ней – очень интересный экземпляр. Там вас обласкают не хуже нашего. Бабка Генриетта».

К моей досаде, знакомства этого не получилось, у казарменного быта существуют свои правила и законы. По той же причине не состоялся визит и к Тае Лишиной, давней, еще одесской подруге С.А. Удалось лишь позвонить и услышать ее густой голос, почти басового диапазона. Так как обратные билеты нам выписали групповые, «заскочить» в Москву в тот раз так и не удалось.



Дома. Осень 1969 г.

Только в следующем году посчастливилось навестить наших москвичей. СА открыл дверь, заулыбался, и через какой-то миг мы впервые молча обнялись и расцеловались. В передней бодро цокали швейцарские сувенирные часы-ходики с гириями. Но эта зарубежная новинка не была единственной. Каким-то загадочным образом СА исхитрился привезти интереснейший двухтомник Юрия Анненкова и маленькую пластинку с музыкой Мориса Жарра к фильму «Доктор Живаго». Мы включили радиолу, и возникла грустная и светлая мелодия, звучащая, однако, в неестественном ключе. Понятное дело – эта за-

рубежная запись на 45 оборотов проигрывалась на 33. Подходящей скорости в нашей тогдашней технике не оказалось.

Тем не менее эта невероятная, пусть искаженная, музыкальная тема годами тревожила мою память, пока не стала доступной в аранжировке Поля Мориа.

В 1974 году, в последнюю нашу встречу, СА был молчалив и печален до мрачности. На расспросы отвечал односложно, что-то вроде «да, был», «да, видел». И не более. Но все-таки я и тогда услышал: «*Мы будем фотографироваться?*».

Понятно, что последняя серия фотографий несет печать надлома и болезненности. А ГС не оставляли чувства тревоги и печали. Еще через два года СА писал: «*Что касается нас – все то же: живем – хлеб жуем. По-прежнему издательскими делами не занимаюсь – сложно, не по силам, а от своего поезда отстал.*».

В дальнейшем письма приходили только от ГС. *«Всегда, всегда сожалею, что мы живем не в одном городе. Как было бы хорошо!»*

Не могу вспомнить, от кого я узнал о смерти нашего старшего друга. Эта весть вызвала во мне какое-то душевное оцепенение. В Москву я не позвонил, не написал. Не нашел для ГС даже самых простых слов сочувствия. Просто было скверно. И тут пришла открытка:

«Милый друг Сережа! Судя по тому, что вы никак не отозвались, – очевидно, вы не знаете о моем несчастье.

25 сентября не стало Сергея Александровича. Вам наверно понятно, каково мне. Не забываете же».

Ну, как это не знал? Невнятно попытался рассказать о своей реакции на кончину СА, и представьте, ГС меня поняла. Но мне не было дано в полной мере понять, каково теперь ей.

Из письма ГС: *«За эти два месяца одиночества я нисколько не справилась с собой, и молодцом меня никак не назовешь. Мне очень плохо. Какая была счастливая мысль у Грина: «Они жили долго и умерли в один день». Мечта! Жизнь жестока и безжалостна».*

Эта безжалостность и жестокость стали проявляться и в прогрессирующей потере зрения. Окруженная книгами, страстно любившая чтение ГС осталась наедине с маленьким батарейным приемничком. Слушала музыку, передачи «Театр у микрофона», узнавала новости. В опустевшей квартире по памяти читала вслух стихи, чаще всего – любимого Заболоцкого.

Из письма ГС: *«Я вижу перед собой клавиатуру машинки, а что написано на листе, не вижу. Читать я уже совсем не могу. Чем занять себя? Вокруг пустота. Хозяйством я, конечно, не занимаюсь. Плохо. И гадко».*

Следующий эпизод относится к началу 1980-х. ГС сказала, что хочет меня рассмотреть. Вышли в переднюю, где был яркий настенный светильник. Там для меня было выбрано подходящее место и поворот головы, затем ГС, поглядев куда-то явно в сторону, сумела увидеть меня периферийным зрением.

Уход СА не оборвал мое общение с ним, просто оно стало иным, заочным, через рассказы ГС, через собранные им книги. Их обилие

и разнообразие меня издавна буквально завораживали, и я мечтал в них порыться.

Письмо ГС: *«Сергей Александрович не был ни коллекционером, ни библиофилом. Просто он приобретал книги, которые ему хотелось прочесть, или такие, какие он любил. И все это хозяйство никак не систематизировано. А что касается вашего желания покопаться во всем этом, то остановка только за вами. Вы всегда можете приехать прямо ко мне, и ройтесь, сколько вашей душе угодно. Но только вы. И никто другой».*

В подборе книг отразилась необъятная широта интересов СА. Помимо неохватного количества поэзии и прозы, томиков ЖЗЛ, было много альбомов и монографий по изобразительному искусству, книг по истории музыки и о композиторах, по военной и общей истории, даже по истории библиофильства.

Книги с готовностью, даже с радостью дарил, причем не только собственные выходящие сборники. Достаточно мне было прийти в восторг от альбома Чюрлениса, как СА обзвонил каких-то букинистов и разыскал для меня такой же.

Эта щедрость была свойственна и ГС. Мало того, что она сразу соглашалась на мои просьбы взять что-то из книг, но делала совершенно неожиданные подарки. Хочу привести два примера. Обсуждая книжные симпатии, я сказал, что меня в значительной степени воспитывали и формировали писатели англоязычных стран. Дальше беседа наша коснулась других тем, но, уже уходя, я неожиданно получил объемистый справочный том с очерками о литераторах французах.

– Вы непременно должны подружиться и с ними.

И еще. Вдруг вручает мне ГС «Житие протопопа Аввакума», хотя толковали мы на темы совершенно другие. Видимо, я выглядел очень удивленным, и услышал: *«Я просто хочу, чтобы эта книга была у вас».*

Обилие книг никак не позволяло даже бегло просматривать каждую. Приходилось знакомиться с ними выборочно, навскидку. Обнаружил и прочел много искренних и теплых авторских дарственных. Многолетний друг Виктор Шкловский делал совершенно нестандартные надписи:

«Дорогому Бондарину с любовью. Единственному одесситу без красной мебели и с сердцем, в котором есть кровь».

«Дорогому Сергею Бондарину в дни болезни и почти отчаяния».

«Дорогому другу Сергею Бондарину. Поживем еще и здорово напишем».

«Дорогим Бондариным. Книга увечная, но я ее еще допечатаю. Мы все сейчас печатаемся с изъянами и недоборами».

«Дорогому, любимому Сереже с 1000 пожеланий издавать толстые книги... Мы еще увидим небо в созданных нами звездах».

Немало нашлось книг от Мариетты Шагинян, соседки по писательскому дому, от Рувима Фраермана, очень давнего и надежного приятеля. Я невольно удивился, почему книжки Фраермана надписаны как будто бы разными людьми. То почерк четкий, можно сказать, изящный, и вдруг настолько корявый, что едва читаемый. Но не удивляться следовало, а печалиться, ибо ГС пояснила, что Рувим Исаевич последнюю надпись едва смог сделать после тяжелого инсульта. Кстати, она посетовала, что «одесскую даму» из нашего только создающегося Литературного музея почему-то не заинтересовали книги с автографами.

Еще я обнаружил, что СА было свойственно оставлять пометки в прочитанном тексте, а иногда и вкладывать в книги подходящие по теме вырезки.

Такой заочный диалог с Сомерсетом Моэмом состоялся у СА на страницах книги «Summing Up» («Подводя итоги», 1938), изданной у нас почти двадцать лет спустя. Под книжной обложкой странным образом встретились два писателя разных стран, разных судеб и разных мировоззрений.

Некоторые куски текста лишь подчеркнуты синим карандашом, и предполагаю, что СА обнаружил в них созвучие собственным мыслям и убеждениям. Приведу примеры.

** Я был наделен острой наблюдательностью, и мне казалось, что я вижу много такого, что ускользает от внимания других людей. Я умел ясно описать то, что видел.*

** Перо порождает мысль.*

** Хорошая проза немыслима без воспитанности.*

** Юмор учит терпимости.*

** Я знал, что страдание не облагораживает: оно портит человека. Под действием его люди становятся себялюбивыми, подленькими, мелочными, подозрительными. Они дают поглотить себя пустякам. Они приближаются не к богу, а к зверю.*

** Из врожденного эгоизма мы судим о людях по той их стороне, которая повернута к нам...*

** Он (гениальный художник) воспринимает жизнь необычайно остро и во всем ее бесконечном многообразии, но вместе с тем просто и здраво, как все люди.*

** Мечты – не уход от действительности, а средство приблизиться к ней.*

Интереснее (для меня, по крайней мере) те места, где СА высказывает (кому?) собственное мнение.

Там, где Моэм назвал любовь скверной шуткой природы, СА замечает на полях: *«Любовь – это состояние наибольшего сближения с природой – не «шутка», а самый «серьез».*

Где Моэм размышляет (или рассуждает) о природе таланта, в частности своего, СА приписывает: *«Гений – труден. Талант – доступней»,* – и цитирует Сервантеса: *«Пусть каждый оценит меня на свой лад – так, как того требует его душа».*

Где Моэм признается, что в писательской судьбе им всегда двигало стремление «развить свою личность, чтобы восполнить недостаток врожденных способностей», СА сделал интересное признание: *«А чаще всего – цель – это достичь житейского удовлетворения, то есть удовлетворить тщеславие».*

И, наконец, в противовес скепсису Моэма, который видит основу религии в человеческой беспомощности перед природой, СА предлагает для этой основы более мажорное объяснение: *«Стремление соединиться с вселенной, стремление к признанию человека не случайностью, а желанным порождением».*

Для встреч и разговоров с ГС я завел блокнот с такими большими листами, которые бы позволяли делать в них заметки не глядя. При этом смотреть только на собеседницу, глаза в глаза. Это здорово помогало. Мне были не только нужны пояснения

к письмам СА (и я получил их многие десятки), но интересны и черточки его характера, отдельные моменты жизни.

Из рассказов ГС

«Было поздно, СА уже спал. И тут звонок в дверь. Открыв, я увидела голенькую девушку, которая сказала: «С праздником!» – и юркнула к соседям, где ее встретили воплями и хохотом. Так в квартире писателя Ардаматского развлекалась молодежь, и при игре в фанты барышне досталось оригинальное задание. Но это не всё. Узнав о происшествии, СА драматически изобразил жгучую обиду за то, что его ради такого случая не разбудили, и пообещал навеки это запомнить».

«Представьте такую картину: как это обычно бывало, СА диктует, а я сижу за машинкой, жду продолжение абзаца. Но он все ходит, посапывая, по комнате и молчит, молчит. Затем, наконец, останавливается и произносит: «Здесь запятая...».

«СА знал, конечно, что он писатель второго эшелона, но так ответственно относился к своему труду, что его тексты почти не требовали правки. Это я от опытных редакторов слышала. Зато оригинальные замечания были от цензоров. Одно из них состояло в том, что автор, описывая военные действия под Новороссийском, не упомянул выдающуюся роль комиссара Брежнева».

На стеллаже в передней я увидел туго связанные объемистые пакеты, и ГС пояснила:

– Это подстрочники «творений» Алима Кешокова. Вы и представить не можете, что это было. Но СА из этого ужаса сделал чистую и светлую прозу. А что делать? Это был верный заработок, 25% гонорара от издательства.

Ровесниц у ГС не осталось... К превеликой радости, не забывали более молодые «подружки».

Из письма:

«Мне не так просто писать, да, по правде сказать, мне писать просто не о чем. Я скоро разучусь разговаривать, не то что писать.

Лия Дмитриевна моя уехала на три месяца в командировку, так что мои тары-бары с ней тоже пока отпали. Раз в неделю прибегает



Дома. 1973 г.

Эмма – это для меня уже праздник. А так – сижу и молчу, чего-то думаю и время от времени произношу вслух: «Не знаю». Вот и оказывается, что под конец жизни все, о чем можешь спросить себя, не находит ответа».

Хочу пояснить, о ком здесь речь. У меня был на всякий случай телефон Лии Дмитриевны Гладышевой, но встретиться с нею довелось лишь однажды. Это была милая женщина средних лет, которая жила в доме напротив, контролируя вечерами, горит ли у ГС свет. Регулярно звонила, охотно приходила (поэтому и упомянуты «тары-бары»), с готовностью выполняла различные бытовые просьбы. Работа ее была связана с разъездами.

Фамилия Эммы – Соломатина. Жила на проспекте Мира. Дружба с четой Бондарин-Адлер сложилась у нее с юных лет. СА, любивший визиты молодежи, ее называл Аэлита, и, мне кажется, имя это ей подходило. Эмма заботилась о ГС, обеспечивала ее продуктами, справлялась о самочувствии, вызывала врача, навещала в больнице, и ей была впоследствии завещана квартира со всем

содержимым, включая, конечно, книги. От Эммы узнал я и о последних днях жизни ГС, и о ее похоронах.

Со счастливой оказией я получил от ГС несколько папок. В некоторых были вырезки, самиздатовские странички (Е. Шварц, О. Мандельштам, Н. Коржавин, Б. Чичибабин, З. Гиппиус, Н. Гумилев, В. Комаровский, Е. Евтушенко), тетрадка с различными записями ГС. Основная же папка, названная «Бедные люди», содержала копии писем СА из заключения и ссылки. Ситуация, в которой он ни за что ни про что оказался, была настолько тяжелой, что лишь жена могла стать единственной надеждой на спасение. И она стала, стала опорой, чудом разыскивая, добывая и отсылая спасительные продукты, лекарства, витамины, другие необходимые вещи. Ценою усилий, которые невозможно себе даже представить. Ценою полного самоотречения. Ценою труда, для ее зрения губительного.

Примерно такую оценку подвижничества ГС я ей высказал, когда прочел лагерные письма. Помнится, заметил, что из этих писем не всегда видишь, каково было ей. Реакция была быстрой.

Из письма ГС:

«Посылая вам папку с письмами, которые я много лет не перечитывала, я не помнила о разных там бакалейных подробностях. А были они для меня, как горячие угли, как бесконечная боль неповинного человека. Акцент же, вами сделанный, оставил у меня чувство, будто я выпендриваюсь в своих заслугах и тем самым предаю СА. Может быть, это произошло оттого, что не было там моих писем, которые СА сохранил от первого, еще в холостые годы, до последних своих поездок на Дальний Восток в конце 70-го года. Но их я давно уничтожила. А вопросы, вопросы? Книга жизни уже прочитана, остается только закрыть обложку. Человек сложен и сам иногда не может себе ответить – почему сделал так, почему не сказал так, зачем и для чего многие переплетения не совместимы. И мы не будем больше возвращаться к этому. Ладно? Я только прошу вас папку эту, если хотите, храните, но не показывайте ее посторонним людям. «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать».

А Сергей Александрович был очень незаурядный человек, но житейски мало приспособленный. Одна духовность».

Слава Богу, со временем удалось получить согласие ГС на обнародование выдержек из гулаговских писем. Более того, мою публикацию она похвалила, и с той поры табу было снято.

СА был религиозен, впрочем, явно этого не декларируя. Он считал своим небесным покровителем Сергия Радонежского, искренне его чтил, упоминал в лагерных письмах, и я, видя на книжной полке иконку с этим святым, поинтересовался у ГС, не создавало ли неловкости то, что она еврейка, а муж придерживался канонов православия.

– Нет, конечно. Бог ведь единственный, только представление у людей о нем разное.

Но религиозность СА не мешала ему быть в чем-то суеверным. Он носил в паспорте семерку бубен, веря, что эта карта приводит к счастливым встречам и вообще к успехам. Считал своим надежным талисманом перстень из белого металла с накладной фигуркой лягушки на фоне гравированного лотоса. У перстня этого сложилась своя судьба. В давние времена СА однажды его уронил на пляже, очень расстроился и не успокоился, пока не нашел. Когда при аресте его увозили из дома, лягушка отпаялась и соскочила на пол. Когда в прокуратуре на Чистых Прудах выкрикнули фамилию: «Бондарин!» – перстень вдруг лопнул, но арестанту удалось подобрать его половинки... Мне было интересно держать и рассматривать этот совершенно изношенный перстень с такой богатой биографией.

СА был невысок, и это его смущало. На неудачную реплику одной дамы: «А вы такой маленький!» – сдержанно ответил: «Ну, какой уж есть...». Она же решила продолжить общение, спросив: «У вас есть дети?». И тут СА хмуро произнес странную фразу: «Мой сын погиб на войне», – возможно, подразумевая, что проклятая война именно так исковеркала все планы и надежды.

ГС с удовольствием сообщила:

– На мое 90-летие одно из одесских поздравлений начиналось словами «Дорогая Генриетточка!». Значит, не все еще потеряно.

Мы поехали с ГС на Старое Донское кладбище, где похоронены ее родители. На том же крошечном участке пристроено и невысокое надгробие из розоватого гранита над урной СА. Я спросил:

– Кто был ваш отец?

– *Аврэй...* – ответила, чуть пожав плечами, и через короткую паузу продолжила: – *Не бухгалтер даже, а был кем-то помельче, вроде счетовода.*

Слышал я однажды магнитофонную запись с интервью, а может быть, беседой СА. Один из интереснейших моментов я (по памяти) приведу: *«У нас, писателей, часто существуют некие литературные маяки, ориентиры. Как думаете, кто оказал влияние на меня? Кнут Гамсун!».*

В одной из прогулок на Ланжерон участвовали ГС, Борис Бобович и Александр Шпирт – тихий и седенький.

– *Саша, почитай стихи,* – предложил ему СА. Они были не только ровесниками и земляками, но и приятелями.

Представьте, через много лет я встретил и узнал эти стихи:

Вечернее море

Сергею Бондарину

Море пламенем объято.
Уплывает день, горя.
Я на лодке озаренной,
с весел капает заря...
Вот и день уплыл куда-то,
тьма окутала меня,
Но вдали какой-то парус
все несет остаток дня.

Однажды я задумался – что бы смогло напомнить ГС в ее грустном одиночестве нашу Одессу, город ее счастливой юности? Возможно, запах моря, почему бы нет? И я прихватил в Москву пакет влажных водорослей с Большого Фонтана.

Когда не стало Сергея Александровича, жена его сумела и смогла позаботиться об издании большого, на 590 страниц, тома «На берегах и в море». А надписывала мне эту книгу фактически на ощупь... Я думаю о Генриетте Савельевне не только с благодарностью и любовью, но и с пронзительной горечью. Сколько лет одиночества было ей уготовано? Годы, когда СА был на войне, затем двенадцать черных лет, когда муж был в ГУЛАГе, и около двадцати лет вдовства.

Я любил этих чудных людей, и они живы в моей благодарной памяти.



Григорий Палатников

Мимолетен, как блик на воде

История любви для фортепьяно и виолончели в трех частях
фа минор, оп. 1

Галине Безикович

День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.

Псалом Давида, XVIII

В высоком окне старого дома изредка мелькнет чайка. Сам дом солиден и велик. Он возвышается над перекрестьем улиц, ведущих к морю. К порту. Улицы носили имя самодержицы и ее генерала. В баснословно далекие времена первый этаж занимало кафе Робина, неукротимого конкурента заведения Фанкони, что расположилось наискосок, на противоположном углу. Тогда Одесса крутилась сумасшедшей каруселью, за столиками мелькали таможенные брокеры, офицеры торговых и военных флотов, банкиры, шулера, артисты, налетчики, цвет российской словесности, дамы света и полусвета. Был богатейший город, сейчас затишь, безвременье. Библейская истина – все проходит и возвращается на круги своя – воплотилась наполовину: пройти прошло, но не возвратилось, а то, что возвратилось, – в нелепом виде.

В комнате, как связь времен, кабинетный «бехштейн». Посланец из другого века, века Чайковского и Грига – их давно не производят. У него хорош звук и в порядке механика – кормилец. Хозяйка рояля Таня-маленькая. «Эта пианистка с русской фамилией», – как ее обозвал завхоз в ходе стремительного скандала в темпе Листа: быстро, быстрее и еще как можно быстрее. Последнее слово, как россыпь бенгальского огня, осталось за ней:

– Вас нашли в гнилой капусте, в отличие от моих вундеркиндов. Можно подумать? – У нас школа Столярского, а не гарнизонная гауптвахта! – Маленькая Таня за большим роялем. Таня – маленькая, действительно маленькая, статуэточка, любившая одеваться в черное, что еще больше подчеркивало ее миниатюрность. На рояле на кипе нот шляпа с высокой тульей. Просто иллюстрация строк «Евгения Онегина»: А закулисные свиданья? А prima donna? а балет? – не хватает перчаток, платья с фижмами, второпях брошенного на стул, и туфелек под ним.

– Не волнуйтесь, сейчас... придет Прима.

– Я прима! Я Флория Тоска! – извещала она низким драматическим сопрано... – Женщины твои сестры, а это больше, чем братья. Ты обязан женщинам по гроб, мы ввели тебя в мир музыки...

Время потекло в другую сторону, это ощущалось по аритмии и легкому шуму в голове... да еще по рождественским елкам – их, пышных и нарядных, тащили по домам, мимо сваленных у мусорных баков подобных скелетам остовов в пожелтевшей хвое и блестящих нитях серпантина...

На город пал туман. Если ничего не изменится – туман съест снег и обернется потопом. Так и произошло. Всю неделю с крыш текло, и по ночам сквозь сырую вату сочился тоскливый стон. Ревун маяка. Днем за шумом городской жизни он то слышим, то пропадает во влажном мороке. Но ночью... Настойчивый зов, проплыв над молом, гулко отдается в приморских кварталах, эхом бродит по улицам, прилегающим к порту. И медленно гаснет в колодцах старых дворов.

Силою божьего попечения – в ночь католического рождества пошел снег – вечное кружение с детства живущей в душе сказки, сладко шепчущей о волшебстве этой ночи, когда под властью чар чудо снегопада, человечество предается мечтам и надеждам, умиротворенное звуками хора за свинцовыми переплетами старых церковных окон, мерцающих костром праздничных свечей.

Что может так разбередить душу, как этот жар в толстых литых стеклах?

И только сын либо дочь человеческая решат начать новую жизнь, рука рока ляжет на плечо и раздастся голос – на триста шестьдесят пять дней в тюрьму повседневности, на остров

«предсказуемости», и ничего не произойдет – мечты растают, чудо не состоится. Это было настолько нестерпимо обидно, что, повернувшись, пошел через мрак запутанных коридоров, иногда сталкиваясь во тьме переходов с персонажами счастливых и загадочных снов и с любимыми до боли людьми, преображенными до неузнаваемости масками невиданного карнавала, вспять, к огням, гомону голосов и такому милому мне сообществу людей, сопровождавшему всю мою жизнь.

– Путь вывел меня на площадь, под небо с реденькими звездами, где случайно налетел на парня в высоком опереточном цилиндре. Головной убор из серебряной парчи выглядел крайне легкомысленно. Я долго смотрел ему вслед – тоже мне, граф Люксембург. И лишь разглядев седую прядь на правом виске, понял: это я – я далеких семидесятых, чернявый и худой, сопровождаю маленькую женщину в черной, похожей на аккуратненькую чалму шляпке. Пара пересекла площадь, которая и в райских снах не надеялась снова стать Екатерининской, и, оживленно болтая, направились вниз по спуску в сторону порта. Беспреданно скользя по аспидно-черным булыжникам, едва припорошенным снегом, смеясь и обмениваясь новогодними пожеланиями с такими же подгулявшими прохожими. Мимо фонарей. Через желтые круги света, иногда оказываясь на Мариацкой площади Кракова под призрачным светом другой страны и в россыпи огней чужого фейерверка. Этот путь сквозь чересполосицу света и тьмы длился до тех пор, пока перед нами, кружась, хохоча до упаду и поминутно хлопаясь в мокрый снег, не предстали очаровательные слегка навеселе Дорота и Ивонна. Туман дыхания окутал их лица, осел каплями росы на кончиках волос и иголочках меха. Россыпь блесков. Держась друг за друга, мы пересекли площадь. Оставляя слева мерцание свечей в распахнутых воротах стариной церкви, мешаясь с праздничной толпой, беспрестанно раскланиваясь – и цилиндр с головы в поклоне размашисто, на отлет: по-старопольски, як пан краковский, – смеются подружки...

– Игривый цилиндр мне подарили студентки костюмерного отделения. В нем я пересек новогоднюю ночь, в нем вышел на площадь в Кракове.

– Времена года. Насколько неистощимой золотоносной жилой была эта тема в искусстве, теперь этого нет, не знаю, почему, но клад метафор, что заложен в ней, не востребован. Сейчас зима, и ветры шало носятся по городу. Швыряя в стекла окон то снежную крупу, то барабания по ним злым зимним дождем. Морские люди азово-черноморского бассейна не переваривают северо-восточный ветер, но зюйд-вест зимой ничем не лучше.

...стук дождя, времена года, человеческая жизнь.

– Я люблю спать в своей будке, когда идет дождь, – сказала она, описывая прелесть своей дачи, – и напроорочила: лето выдалось дождливым. В этом году все повторяется, каждый день дождь. Будка, в которой она любила слушать дождь, собственно, была не будкой, а маленьким деревянным домиком о двух дверях, выкрашенным синей краской. Одна дверь вела в ее комнату, другая – в летнюю кухню. Собственно, титульным владением являлась часть старой дачи, сложенной из ракушняка. Две крохотные комнатки. Но она любила свою будку. К строениям примыкал участок сада, такой же маленький, как все остальное. Среди акаций росли две вишни и пять черешен. Четыре обычных и одна гигантская, реализованная мечта Мичурина – высотой с тополь. У ее подножия и примостилась будка.

То ли бывшие владельцы, век тому посадившие вишни с черешнями, были отменными садоводами, то ли расположение дачи в приморской балке, ласково именуемой ее обитателями «наша канава», способствовало, но урожайность сада была феерической. Никто никогда им не занимался, никаких агротехнических работ не проводилось, а старые деревья ежегодно стояли сплошь усыпанные гранатовыми подвесками. Дать урожаю согнуться было жаль, оттого и собирала Таня все лето дары Божии, снимая и снимая пурпурные до черноты ягоды, – а мама закручивала.

Дни в то лето делились: День с дождем и День, слава Богу, без.

День, слава Богу, без – ленивое течение времени, с утра до полуночи... Утро после ночного дождя. Солнце. Поток блестящих пятаков пронизывает мокрую листву, россыпью лежит в траве, в сырой тени деревьев алюминиевая стремянка, запах кофе...

...мимо базарчика. Конечная. Остановка восемнадцатого трамвая. Спуск к морю. пляж.

Сухой жар перегретой травы. Полдень. Маленькие ноги на ступеньках стремянки. Остальное, смугло-бирюзово-голубое, светится сквозь дырчатую зелень, и над листвой мелькают и мелькают руки, рвущие царственное изобилие в клеенчатую кошелку, повешенную на шею. И ничего в мире нет, кроме золотистых ног, стоящих на цыпочках на алюминиевых ступеньках, и солнечных зайчиков, скользящих от пальчиков вверх по бедрам, и кошелки, полной горячих от солнца черешен. Лукавая Ласочка, прикусившая зубами черенки ягод. Кибрик – Роллан. Томное течение дня. Вожделенные классические розовые пенки знаменитого вишневого варенья, а вы предвкушаете, предвкушаете – рецепт от Столярского, другое мироощущение. Другой вкус времени. Неизъяснимая прелесть запутавшихся в зелени одичавших садов старых дач, крытых замшелой черепицей, с обязательными смешными портиками о двух колоннах. Обедали поздно, когда к вечеру спал дал зной. Солнце стояло за домом. Иногда к обеду приезжала Тоска – она была ее концертмейстером. Засиживалась допоздна. Мы шли ее провожать. Трамвай уже не ходил, но случай непременно посылал такси. Тогда и начиналось чудо неспешного возвращения по пустынным переулкам среди волшебства августовской ночи. В глубине дач за изгородями и виноградными лозами – редкие огни сквозь черные силуэты листвы. И мерцание моря под звездами. Искра падучей звезды пересечет небо – мимолетно, без загаданного желания. Не успел. Да и что можно пожелать, какое желание может вместить эту ночь, горячую, держащую тебя под руку ладонь и путь домой, к нагретой за день будке, примостившейся под большой черешней?

День с дождем. Начинается ночью – будит степ капель по крыше. Просыпаемся и опять усыпаем под нескончаемую чечетку. Быстрый и дробный перестук, то ослабевая, то опять усиливаясь, сопровождает нас в пространстве ночи. Утро за распахнутой дверью, резкая сырость сада. Она вытесняет ночное тепло жилья. К тарахтенью по кровле прибавляется глухой звук капель по виноградным листьям. Туман. В нем тонут дачи. Вся канава под этим мокрым одеялом. Чтобы сварить кофе, надо проскочить под надоедливый душ из двери в дверь на кухню. Сквозь серую влажную вату сочится пряный тропический запах. Возвращаюсь

с кофейником, она сидит, закутавшись в одеяло и подтянув колени к подбородку. Языческий божок. Из одеяла за чашкой выныривает рука – медленно пьет, глядя на пронизанные струями зеленые сумерки. Еле слышно, опустив веки, – иди ко мне. Затухающий рокот грома вдали, гроза ушла в море. Дождь ослабел, но хляби небесные неиссякаемы, будут лениво барабанить до вечера, а может, до следующего утра. Завтра – чудо солнца, просыхающего после ливня сада и свернувшееся калачиком в солнечном пятне полноватое гибкое тельце. Жаркий квадрат медленно передвигается по простыням, по сурику пола, посреди оранжевого сияния – маленькие красные тапочки.

Рыжие отблески бродят по стенам.

Солнечный свет падает сквозь зелень хитросплетений лозы на марлю в дверном проеме. Редкая ткань, спасенье от комаров. Сладкие ветерки бродят по саду. От их прикосновенья по марле пробегает чувственная дрожь. Сладострастное распытье. Ее нижние концы прижаты к полу голышами. Это крупная галька, принесенная с пляжа. И с утра до вечера, долгий летний день тени виноградных листьев, раскачиваясь, плывут по любвеобильной ткани. Забытое ощущение завесы, впитавшей полуденное солнце.

...через много лет сообразил, почему она так любила свою будку, деревянное строение резонировало, как музыкальный инструмент, улавливая и усиливая ночные шорохи сада и долетавший по ночам глухой рокот моря.

...на майский фестиваль современной музыки «Два дня и три ночи» приехал немец, виолончелист. И когда знаменитый в своем отечестве седой виртуоз начал ритмично постукивать и похлопывать по деке, в зале повеяло сыростью – шел дождь. Он отчетливо стучал по кровле, глухо по листьям и лопухам. Кто не жил в дождливое лето в деревянном домике, когда утром в отворенную комнату врываются промозглая влага, мешаясь с ночным теплом и запахами молодой женщины – тому ничего не скажет ни перестук дождя по крыше, ни глухой звук капель, тарабанищих по виноградным листьям. Дождь дождем, дождь дождем, сладость и томная чувственность созревающего сада.

Странно, в эти дни летнего безделья мы мало читали. Если говорить честно, совсем не читали. Мы бесконечно долго разго-

варивали. Каждый был для другого непрочитанной книгой, поэтому говорили и говорили, спеша скорей перевернуть еще одну страницу познания. Желтый свет одинокой лампочки над столом мешается с черными тенями виноградных листьев, антрацитовая неохватность ночи, три человека, затерянные во тьме сада, да пение цикад... Мистика. Рембрандт. Ночные сцены. Прелесть поздних чаепитий. Долгие посиделки под звездами. Не все ли равно, о чем говорить, – но рано или поздно беседа сворачивала на судьбы. Судьбы музыкантов. Ее мама тоже была профессиональным музыкантом. Она навидалась всякого. Ее было интересно слушать. Передо мной проходили одесские династии. Луна над крышами сдвигалась к зениту в сторону моря, озаряя заснувшие дачи, вспыхивая ртутным блеском на изгибе трамвайных рельсов, а мы все говорили...

Вокруг лампочки вертелись ночные бабочки и роились комары. От бабочек вреда, вообще-то, не исходило, хотя создания были отнюдь не эфемерными – когда они врезались в ламповое стекло, следовал неприятный щелчок. Танец их приковывал взгляд. Что-то мистическое было в их обреченном хороводе.

С комарами было хуже, хищники...

– Как измерить, предугадать судьбу и породившее ее мастерство? Врожденный талант порождает мастерство или жизнь, судьба выковывает гения? – И сколько ни пели комары свою победную песню, мы продолжали героически сидеть, почесываясь, отдавая себя на съедение заживо, – уйти от столь захватывающего разговора, оборвать его было невозможно, образы требовали воплощения. Как требует своего воплощения талант, который для своей реализации в состоянии прорасти сквозь асфальт. В полночь мать уходила к себе, а мы, выключив свет, некоторое время сидели, слушали звуки ночи и смотрели на летучих мышей, стремительно пересекающих в лунном свете пространство между спящими дачами...

«Великие тени» мало тревожили нас в эти благостные дни. Только изредка отправлялась она в город репетиторствовать свои юные дарования. Да пообщаться с примой – Тоской. В эти дни мы всецело принадлежали друг другу. Я бессовестно лентяйничал, поскольку раблезианский лозунг – делай что хочешь –

напрямую вытекал из устава и образа жизни члена СХ СССР. И пользуясь этой эфемерной привилегией, я вкушал *dolce, dolce far niente*. А она так глохла от музыки в течение учебного года, что в дни каникул упивалась звуками, порожденными ветром, шумом волн, гомоном дачной жизни – а не результатом профессионального извлечения звука. Мы были беспечны. Не зная, что беспечность есть своего рода счастье. Прошли годы. Настало время вечерних сумерек. Тогда из тьмы и появился Он – мой извечный собеседник. Он пришел первым.

– Сидишь? – спросил он.

– Сижу.

– Бессмысленное занятие, – сказал Рембрандт деловито. – Иди за бутылкой, есть о чем поговорить. Лучше две. Сухое. Шардоне.

Когда я вернулся, он сидел, облокотившись на стол, подперев голову ладонью.

– Посуда у тебя так себе, спасибо, что не граненые стаканы из автоматов «Газированная вода». Наливай и слушай.

И он начал исповедь «О бездонной темноте колодца, из которого тянешь ведро воспоминаний», а вода расплескивается и падает обратно во тьму, на мгновение озарив душу блеском минувшей жизни.

– Ты стараешься не расплескать, а воспоминания о самом дорогом выплескиваются из переполненного ведра, сверкнув – и канут в бездне времен. Настала пора бесед с «великими теньями», я полюбил разговаривать с ними. Возраст.

Нам было о чем поговорить – о тающем в сумраке женском теле, о свете колеблющихся свечей, что пробегает по голеним, выше, скользит по животу, минуя тени у раздвоения грудей и бедер. Живая человеческая плоть – с какой любовью он передавал всю прелесть всю изменчивость ее изгибов и округлостей...

– Абрикосы в глиняной миске, тающие на солнце. Золотисторозовые. Складочка, разделяющая нежный плод. Одна рука лепила. Сладостное чудо. И жен человеческих... Пишу и недоумеваю, как поручик Ржевский: плоть есть, а слова нет... – Когда плоть есть, а слов нет, не хватает (а бывает, они и не нужны), начинается пространство музыки. – Сколько можно смотреть на самую гениальную картину? – На «Менины» Веласкеса или «Пастуха

с нимфой» Тициана? Бесконечно долго. Но устаешь. Требуется перерыв. А на самое гениальное изображение кавалерийской атаки при всем беспредельном накале действия? И того меньше. А вот бамбуком под ветром на китайском свитке, где, в общем-то, и смотреть как будто не на что, можно любоваться вечно.

Воплощенная музыка – пространство страстей человеческих...

Какие страсти могут кипеть во тьме бессонных джазовых клубов, я только догадывался. Я до этого никогда в них не бывал, то, что слышал у друзей, раритетные пластинки с записями великих джазменов, было далеко, в Нью-Йорке, Париже. Тогда – другая планета. Это был гул, идущий из дали атлантического мира, через Ламанш. – Это Сева Новгородцев – город Лондон, Би-Би-Си. И вот в настоящий погруженный во тьму джазовый вертеп привели меня мои польские подруги. Передать контраст между низким сводчатым средневековым подвалом, в чьей глубине мерцали редкие свечи, и едва освещенной эстрадой, с которой хлынул поток пряных афроамериканских мелодий, невозможно. Он вырвался на волю, прорвав плотину ночной тишины, скованной заснеженный город. Не берусь судить о вокальных данных досточтимых пани, но тем, что испанцы называют дуэнде, они обладали сполна. Дорота и Ивонна. Сначала они пели спиричуэлс. После перерыва перешли к импровизации. Вокализ. Слова не нужны. Раскованный диалог о том, что можно высказать только так. Страстный, чувственный рассказ о бабьей судьбе через века и страны то захлебывается от счастья, то низким контральто повествует о несносной сердечной муке, обо всем том, что может поведать женщина женщине. Среди извивов переплетающихся мелодий невиданного, невыносимого сердцем кружения начали прорываться знакомые голоса. И сквозь мелькавшую чересполосицу света и тьмы, пересекая поворотный круг театра жизни, где античная трагедия неизменно перетекала в ярмарочную карусель, а карусель становилась страшным хороводом масок, кружась, оплетала, как паутиной, белым призрачным серпантинном воспоминаний, не дающих выйти из этого заколдованного круга. И только идя на голоса и прорываясь сквозь извивы мелодий, я вышел на берег моря. Ночь. На противоположном берегу мигали гирлянды огней.

Остановка трамвая «Лузановка». Пригород-форштадт – погожий одесский берег, переходящий в пляж. На этом берегу сочинялся этот рассказ.

Рыжий свет на полу и вибрирующая в солнечной истоме занавеска, одесское лето. Я пришел в гости к старой знакомой. Она музыкант, когда-то она была свидетелем нашей любви. У нее в квартире ничего не изменилось, разве что к роялю прибавился компьютер – да та же неизменная марля на дверях, ведущих на балкон, знак времени, растворившегося в дыме лет. Лет пять тому назад я видел «пианистку с русской фамилией» в большом зале консерватории. Играла ее ученица, вернее, ее ученица тех лет, когда мы были близки. Девочка выросла, заканчивала аспирантуру, о чем сообщала маленькая афиша, отпечатанная на принтере. Она сидела рядом с отцом девочки, была оживлена. По-моему, не пополнила, только узел волос на затылке заменила стрижка каре. Подробнее рассмотреть не мог, в зале был полумрак, а я сидел рядах в пяти от нее. Вообще, я теперь плохо вижу в темноте. Скорее всего, она меня не заметила, а может, не узнала, я смотрел и думал: когда-то в этом тельце сосредотачивался для меня весь мир.

...Когда я спросил, как можно профессионально правильно назвать короткое музыкальное произведение о дождливом лете на даче...

Для двух инструментов, каждая часть не больше двух-трех минут. Возможно, трехчастное?..

...с преподавательской обстоятельностью мне рассказали о «Мимолетностях» Прокофьева – как мед солнечного света скользит по висящей в дверном проеме полупрозрачной горячей на ощупь ткани, а за ней в перегретом воздухе жаркая листва, тени плывут по занавеске... рассказали о «Музыкальных моментах» Шуберта, о мудрости краткой формы. Капал тяжелый пахучий янтарь, меня угощали свежавыкачанным майским медом, лился и лился рассказ о мазурках Шопена. Поили зеленым чаем, поведали о пьесах для скрипки и гитары Паганини. Ток меда. Он обволакивал меня. Я спросил – а если ударные? Все же фоном был стук дождя...

Можно и так: истории любви для фортепьяно и виолончели *fa minor* op. 1 – но это скорее Штокгаузен...

Часть первая. Анданте, виолончель как ударный инструмент...
...вдох, выдох, розовый снег лепестков вишни. Миг бытия, вспышки бликов на гребешках волнушек, с извечным постоянством накатывающихся на пологий пляж. Мимолетности, их тяжело удержать, выразить, прежде чем они уйдут в небытие. Когда перед тобой, на твоих глазах мимолетность и вечность соединяются в одном произведении – шедевр обеспечен. Колдовство. Мимолетен, как блик на воде, – не помню, откуда эта фраза о мелькнувшем и растаявшем миге жизни. Блик блику рознь. Жаркий блик одесского утра – один из мириад вспыхнувших и угасших оранжевых зеркалец. Вспышка памяти на ленивой прибрежной волне.

Часть вторая. Рондо, фортепьяно и виолончель в сопровождении дудари и чандури.

На солнцепеке плавают и медленно опадают лепестки, бело-розовый ковер, безветрие. Надышался и нанюхался весеннего дурмана до головокружения. Только не было б ветра, и чудо длилось и длилось – тогда тоже был май:

– Там-та – дара-та! Там-та, дара-та! – А, Там – да – Рай, А, Там – да – Рай! – мы влетели в майский Тбилиси и сразу были оглушены, изумлены, покорены и смяты. Прелестью красок, звуков, запахов. Кахетия. Вторая весна нашей любви. Школа собиралась на обменные концерты в ДСМШ в Тбилиси. Она упростила своего приятеля-завуча взять меня с собой в составе делегации, он согласился, несколько педагогов не смогли поехать, а деньги на мероприятие надо было израсходовать. В середине мая наш цыганский табор: пианисты, струнники и их подопечные – ученики в сопровождении мам – бодрой гурьбой окружили трап самолета. Струнники норовили без очереди проскочить в самолет, дабы обеспечить сохранность своим инструментам. В общем, все как всегда. Обычный одесский базар. Полет как полет. Прилетели. Тбилиси встретил нас жарой и цветами, большинство встречающих и прилетевших были знакомы и не раз виделись на различных фестивалях и конкурсах. Пока обнимались и целовались, тбилисские коллеги исподтишка выясняли, виртуозом какого инструмента являюсь я.

– Теоретик, – объяснил наш директор, – может откупоривать бутылки и перелистывать ноты.

И я как знакомый Антонио Ордоньеса, переодетый им в костюм матадора после парадного шествия вокруг арены перед выходом первого быка, спросил, что мне теперь делать.

– Вы волнуйтесь, но в меру. Являйте готовность, но без нетерпения. У всех должно быть чувство, что в нужный момент вы исполните все как должно.

С таким примерно настроением я сидел на крайнем кресле преподавательского ряда.

Баран распрощался с жизнью. Ему повезло, не каждый барашек заканчивает жизненный путь под звуки «Испанской симфонии» Лоло. Его предсмертный крик смешался со страстными аккордами этой воистину с кровью на губах музыки. Наш не подвел. Фермата была блестящей. По очереди выступали одесские и тбилисские вундеркинды, преподаватели и мамы застывали в страстном волнении, хватаясь за сердце. День клонился к вечеру, в открытые окна долетали звуки ковровой столицы, любимой провинции тетрарха. Вместе с городским шумом в зал вливался обольстительный запах шашлыка. Розоватый винный пар, смешанный с легким дымком, стремился к узкому азиатскому месяцу. Профессионализму участников музыкально-гастрономического действия можно позавидовать – последняя нота совпала с последним обрызгиванием мяса красным вином.

...блеск моря и розовая пена, в которую входят и выходят чередой наши Афродиты, и жар солнца на спине, мощный звук скрипки, вздох повествующей о счастье бытия. «Токката» Хачатуряна и Тбилиси перед глазами. Он действительно идеально ложится на эту страстную музыку. Сколько лет отделяет меня от шести дней счастья, которые он подарил! Ощущение совместно переживаемого праздника не покидало нас в эти дни. Мы телесно, на вкус, цвет и звук наслаждались пряным городом. Просто физически ощущали радость совместного обладания градом «тысяча и одной ночи», над которым есть гора, а реку зовут Кура, за рекой шумит базар, за базаром Авлабар.

Мы бродили в пустоте музейных залов. Было прохладно и тихо. В музее мы оказались единственными посетителями, не было даже зрителей, во всяком случае, их не было видно. Мы целовались. Среди святых и ангелов. В перерывах между

объятиями рассказывал о грузинской фреске, о византийском искусстве, она прижималась ко мне спиной... – что плыло в ее зрачках? Не думаю, что это были таинства евхаристии. Мы были одни среди дивной стенописи. Чем жарче и чувственней город, тем острее переживается прохладная тишина храмов и музейных залов, их отдаленность от повседневности, бездонная пропасть сиюминутного и вечного. Чем сильнее ощущалась скоротечность времени, тем чаще мы прижимались друг другу. Кружили и кружили по средневековым залам. Другого искусства нам не хотелось. Мы уже собирались уходить, когда ее взгляд остановился на закрытой двери Золотой кладовой. Она была равнодушна к ювелирным украшениям, пошли в администрацию. То ли мой членский билет подействовал, то ли сказалось извечное грузинское гостеприимство – но чудо сотворилось. Элегантный, худой, высокий, горбоносый, похожий на Пиросмани научный секретарь повелел отворить сокровищницу – и отрядил с нами молоденькую сотрудницу. Часа два бродили среди древних творений ювелиров. Девушка изредка заглядывала в залы, спрашивала, нужны ли ее услуги, и опять пропадала. Через Кавказ проходил Великий шелковый путь, собрание было захватывающим – от римских фибул до изделий урартских и китайских мастеров, средневековое оружие и статуэтки Будд, драгоценности – все, что наторговали или награбили за две с половиной тысячи лет.

– Но это был второй день.

Два дня отвели на культурную программу, целью первого дня было посещение знаменитых Тифлиских серных бань. Описанная Пушкиным экзотика привела всех в восторг. С особым удовольствием повторялся рассказ, как банщик, уложив толстенького зав. струнным отделением на кругленький животик и хлопнув его по задку, провозгласил: «Джигит! Сейчас из тебя сделаю Сталлоне с Бельмондо сразу».

От всего этого я улизнул в музей.

Увиденное поразило. Ангел Манглисского храма, широко раскинув крыла, медленно спускался на грешную землю. Такого уровня фресок, где виртуозность неотделима от решительности, не много. Можете мне поверить. Фрески Феофана и Спаса на Нередице – неизменный эталон мастерства, вечные ориентиры

и советники. То, что предстало передо мной, являло, по словам Гоголя, силу кисти разительной. Недюжинный мастер писал этого голубого ангела. Византиец – или грузин, впитавший великое мастерство константинопольского учителя. Но рядом висел равный по силе образ. Властно претендующий на первенство – первородство, ведущий свою родословную от греческих мастеров. Тоже ангел. Из Кинцвиси. Но если первый ангел, серовато-голубой, оттененный излюбленным местными мастерами сумрачно-зеленым темным кобальтом, плыл в пепельно-сером небе, то второй являл чудо радостного бытия, краски полыхали и горели, плавилось невиданное сияние лазоревого кобальта, перетекавшего в ультрамарин, нимб светился прозрачным пурпуром. А лик – розовый, просвеченный серовато-оливковыми полутонами. Да еще пластика. Как сильна византийская закуска! Через четыреста лет этот размах крыльев повторится у Эль Греко. В живописи не было чрезмерной экзатичности, абстрактности константинопольских мастеров. Духовность обрела достойное телесное выражение.

На второй день мы пошли смотреть на это чудо вместе.

И еще одно чудо подарил Кавказ, нас повезли в Гори, на родину Мурадели и «отца народов», который то возвеличивал, то для острастки мордовал своего земляка. Все шло, как и предполагалось, нас принимала школа имени полуопального – полупрощенного творца, дети играли, мамы волновались. Потом повезли в Сионский монастырь, он хорошо сохранился, и когда мы стояли под куполом, озирая фрески двенадцатого века сквозь узкие солнечные лучи, рассекавшие храм, раздалось тихое пение. «Они включили музыку для полноты восприятия», – решил я.

– Ты что! Смотри! Они для нас поют.

Действительно, грузины и грузинки, преподаватели горийской и тбилисской школ пели – и как! Таня вцепилась мне в руку, и мы окаменели, зачарованные. Под сводами храма медленно и величаво плыл псалом, посвященный Деве Марии. – Ты лоза благодатная. – Прозрачный и густой, как вино алазанской долины, грузинский псалом десятого века. Таня плакала. Забыв про тушь ресниц, сжав до боли сильными пальцами пианистки мою руку, – такой я ее не видел. С нашими одесскими дамами было то же самое, они вытирали платочками глаза, размазывая столь

заботливо нарисованную красоту. Мужчины превратились в изваяния. А псалом все ширился, все мощнее наполняло храм знаменитое грузинское многоголосье. Наконец оно отзвучало, воцарилась тишина.

– Слышали, как надо любить женщину? – бросила одна из наших метресс, засунув зареванный платок в сумочку. Щелчок шариков замочка показался очень громким в наступившем безмолвии. И пошла из храма, забыв, что надо стараться не попасть каблуками в щели между древними плитами.

Потом был обед. Столы стояли в ореховой роще среди густой травы – все было, как у Пиросмани. Я не помню подробностей обеда, помню только, что он плавно перетек в ужин, а ужин завершился, когда заверещали птицы, встречая новый день. Автобус благополучно повез наши тела в Тбилиси, где их и свалили на койки в гостинице «Иверия». Там, в райских волнах видений, порожденных сказочным телиани, плавали загадочные письма, подобные ветхозаветным скрижалям. Часов в десять подняли, отпоили хашем, повели завтракать – и я поведал о таинственных, неизвестно откуда пришедших знаках. В перерывах между горными обвалами хохота все разъяснилось: «Иверия», начертанная древним алфавитом, светящаяся неоном в предрассветном небе, была спутницей моих грез. Это на нее таращился я в пьяном изумлении, пока меня тащили от автобуса к гостинице. Между завтраком и обедом было посещение сказочно обильного рынка, ужин. Это был шестой день, назавтра мы улетали. После пиров и рынка.

Остается поведать о феномене Пиросманишвили. Он изобразил вечные ценности: любовь, пир, труд, праздник. Вернее, вечный праздник жизни под грузинским небом: любовь, пир, труд. Наивно и бесхитростно. Вернувшись домой, я нашел в книге фотографию мастера и был поражен библейской простотой и ясностью его лица. Лик. Ясное выражение архетипа мужчины-грузина. Воина, Священника, Винодела, Живописца. Пропирав ночь в сени ореховой рощи и услышав древнейший псалом под сводами средневекового храма, многое начинаешь понимать. Простота, возвышенная библейская простота, пронесенная через тысячелетия.

Часть третья. Адажио – долгое, мучительное...

Длинные дни. Летнее солнцестояние. С утра солнце то прячется в облака, то светит сквозь туманную дымку. Духота. Парит. К полудню небо начинает затягиваться серо-лиловыми тучами. К двум где-то за горизонтом начинает ворчать гром. Сейчас мрачность затянула треть неба. Гроза идет с запада. Вернее, с северо-запада, из степи – разразился бы скорей ливень как избавление от удушливой истомы.

– Что я в жизни видела? – сказала она. – Как зайчик в цирке, барабаню по клавишам, только он на арене, а я в классе и на эстраде. Мужчинам тяжело понять женщин, у них обостренное чувство уходящего времени – мы все таем, как свечи. Все вокруг. Разве ты не чувствуешь?

Наверное, наши женщины были самыми клятыми диссидентами, они острее нас ощущали беспросветность бесконечного движения по кругу. И обесценивание бессмысленно уходящего времени. В силу обостренной чувствительности, как тончайший прибор, она улавливала роковые потрескивания килия корабля задолго до того, как рухнут пиллерсы, палубы начнут валиться в трюм, хрустнут шпангоуты, начнется распад. Эти роковые потрескивания в трюме ощущала не только она, подсознательно, интуитивно их осознавала вся музыкальная команда. Но жизнь катила по своим рельсам, конвейер с перебоями и проскакиванием шестеренок все же крутился – экзамены следовали за экзаменами, конкурсы за конкурсами. Прошла зима, прошла весна, закончился учебный год. Таня с мамой съехали на дачу. В то лето я был загружен книжными заказами и приезжал на дачу редко. Она собирала урожай сама, а что не могла достать со стремянки, отдавала на откуп юным тимуровцам – правда, те больше поглощали, чем собирали. У меня есть паршивая особенность: когда я ухожу с головой в работу, все остальное перестает для меня существовать. Видно, в то лето я ушел слишком далеко.

Погромыхало и кончилось ничем, гроза ушла на море – изменчивая водная стихия притягивает грозы. Но сумрак не прояснился, и ночь пролилась обложным дождем.

...через чреду лет все повторяется. Так же беспрерывно дождит – предчувствуя катастрофу, музыкальная команда спивалась; что-

то, что не давало нормально жить, какая-то неудовлетворенность червем грызла души, и они приезжали на дачу пьяно исповедоваться и искать опору друг в друге. Удивительно, сейчас я яснее чувствую и понимаю то время. Тогда я был занят – мне не было дела до судорожных колебаний пьяного метронома. Видя мою отстраненность, она придумала эту поездку. Музыкант, если он музыкант, – профессия, требующая большого нервного напряжения и концентрации душевных сил, я это понял, однажды сняв Таню после репетиции под мышки со сцены филармонии, она была как огонь, в ней было градусов сорок, не меньше. Ей нужен был отдых, мы засобирались в Болгарию.

Сегодня в трамвае впереди меня села молодая женщина с поднятым вверх к затылку жгутом закрученных в узел волос. К шее прикипели потные завитки, в мочках большие восточные серьги потемневшего серебра, когда-то ты носила подобные. Только вместо прищепки в узел волос вставлены палочки, как у официантки японского ресторана. Однажды ты забыла у меня в мастерской красную прищепку в виде двух красиво изогнутых гребенок, сходящихся и соединенных вместе пружинкой, капкан. Маленький пластмассовый капкан – приятная на ощупь округлость. Он до сих пор покоится в одном из ящиков письменного стола, я изредка натыкаюсь на него, когда ищу какую-то бумажку. Вынимаю, долго кручу в пальцах...

Ты вечно забывала что-либо в мастерской. Так было и в тот раз, стояло солнечное утро, пили кофе, сидя на улице напротив «Старой Луны» – лучше бы назвали «Не все вечно под луной». Были счастливы, проведя ночь вместе, беспрерывно смеялись. К нам за столик подседа знакомая художница.

– Отчего это вы с утра такие веселые? – спросила она, с интересом разглядывая нас.

Ты шепнула на ухо:

– Я забыла лифчик в мастерской под подушкой, – и прыснула смехом в чашку, так мы и пили кофе, смеясь. Любопытство в глазах знакомой все усиливалось. Попрощавшись, мы ушли, а знакомая осталась путаться в загадках житейского кроссворда.

Потом была Болгария: Пловдив. Мы сидели на ступенях прекрасно сохранившегося античного театра. Это была моя первая

в жизни заграница. На город опускались сумерки. Пепельные тени легли на дно древней мраморной чаши. Таня носочками бо-соножек упиралась в камни амфитеатра, она всегда любила сидеть так, опираясь на пальчики ног.

– Платформы у тебя – котурны.

– Я давно ощущаю себя участницей трагедии, только не поня-ла еще, в каком амплуа.

А внизу, на дне амфитеатра, звучала гитара – и ее голос, как тихий шелест листы, впелся в гитарные переборы, она действительно отличалась удивительной интуицией. Теперь, когда сквозь дымку лет все это видится полуявью-полусном, ска-занное звучит как пророчество о шекспировском театре стра-стей человеческих, как тихий рокот грома, предвещающий если не грозу, то обвальный ливень. Жаркие сиреневые сумерки, в которых таял древний театр, таяли и растворялись в гитарной мелодии ее голос, ее лицо – из этих сумерек возник другой за-павший в душу печальный лик. А на горячих, прокаленных за день мраморных скамьях сидели мальчики и девочки, и старый город, на мгновенья приоткрыв завесу в будущее и прошлое, тут же за-дернул занавес.

– Тогда-то встала передо мной еще одна женщина, закусившая зубами носовой платок, – дитя нашего века, написанная другим гением, – Дора Мар. Живое человеческое естество. Сырая эмоция, не скрываемая, не сдерживаемая: так в пароксизме горя, махнув на все рукой, плачут вздохнув лишь женщины и дети.

О чем? О кораблях, не ушедших в море, О душах, забывших радость свою. О кораблях, заблудившихся в море и не нашедших душу свою.

И нет мужчины и женщины, взгляд которых на эту сестру че-ловеческую не преисполнился бы сожалением и участием. Конеч-но, судьба спутницы гения не подарок, тем более судьба спутни-цы Пабло Пикассо. Но если подумать и взвесить стоимость самых горьких слез и картину, передающую мироощущение века? При-чиной скольких рыданий других женщин были другие Пабло, и это не претворилось ни в строчки, ни в картины – ни в другие долгие дела. Идея превращения жизни, обычной человеческой жизни во всей ее повседневности, в искусство – идея не новая,

но имеющая необыкновенную силу, от сердца к сердцу. Понимаешь и чувствуешь: то, что изображено, написано, снято и озвучено, могло быть с тобой, или уже было, или будет...

– Что было, что будет, чем сердце успокоится. Оно нырнуло в поток видений и меня вынесло в одесский июль...

Сегодня с утра облака неуклонно затягивают небо. Все меньше голубых просветов остается между волокнами, едва подкрашенными бледно-лимонным блеском. Послушное облакам море тоже становится серебристо-серым. Но стоит одиночному лучу прорваться сквозь этот покров, как по тусклому стальному фону, разбегаясь, вспыхивают фиолетовым огнем бесчисленные зайчики. Подвижное серебро накатывается на песок и уходит назад. Светлый день, солнца нет. Напоенный влагой песок и зеркало воды на кромке прибоя одного цвета – это бывает нечасто. Ветер постепенно разгоняет волну. Вода очень холодная. В течение лета несколько раз происходит это перемешивание неведомой силой подводных течений. Сейчас стоят прохладные дни. Северо-западный ветер – сначала он принес дожди, за дождями последовало охлаждение воды. Это объяснимо. Но бывает и так. В раскаленных добела днях тонет изнывающий от жары город, а море – нестерпимо холодное.

– Течение повернуло, – говорят одесситы.

Случается это внезапно. Вечером разогретая на блюде мелководья вода доходит до двадцати пяти градусов. Ночью все меняется, Холодная стихия, пустой пляж, ни рыбешки, ни чаек. И только неухоженный безлюдный парк томится в июльском жарком мареве.

Так и в жизни. С человеком, с его душой происходит то же, какое-то отстраненное спокойствие овладевает им. Вытесняя горячую чувственность. Из нутра, из самых потаенных глубин поднимается это холодное течение, поворачивая жизнь в негаданную сторону, меняя судьбу.

– А карета все катит и катит по низкой узкой дамбе. И все поет скрипка Леонида Когана.

Всю жизнь меня мучает идея недостижимого совершенства. Сталкиваясь лицом к лицу с его воплощением, я замираю в оцепенении. Тогда мир праздновал двухсотлетие рождения Паганини,

по ТВ шел советско-болгарский фильм о великом скрипаче. С экрана зазвучала его музыка в таком исполнении, что казалось, все в мире остановилось. Замерло. Творилось чудо. Играл скрипач милостью Божией. И я сразу узнал и дамбу, и городок по ту сторону залива, куда ехала карета. И ветряную мельницу за дамбой у въезда в селение, что должно было изображать Италию, а было на самом деле маленьким болгарским рыбацким средневековым городком Несебр. Я полюбил этот городок, его старые дома с деревянными мезонинами над сложенными из плитняка нижними этажами. С годами доски мезонинов обветрились, стали серебряными от морской соли. К вечеру, на закате, я любил ходить по дамбе к развалинам византийской базилики. Иногда мы ходили вместе. Долго ночью засиживались под громадными звездами на террасе чудом сохранившейся греческой кофейни позапрошлого века, там мастерски варили кофе. Чтобы попасть на террасу, нависшую над морем, надо было пройти через скупно освещенный зал с бильярдным столом посредине. В отличие от таких же вечеров на даче, мы мало разговаривали. Молча смотрели на море.

– А карета мятежного гегуэзца все катит под звуки скрипки – воистину дорога без конца... Нам не дано услышать игру Паганини, но то, что сделал для нас Леонид Коган, – подобно чуду. Неисповедимы пути Господни – и, как правило, имеют неясный судьбоносный промысел. Стезю, на которую Он приводит человека, предугадать невозможно. Два года я прихожу в мастерскую только затем, чтобы беседовать с тенями из прошлого, они мешаются с образами людей, которых я знал и любил. Нельзя сказать, что это беззаботное времяпровождение, ощущение легкой беззаботности свойственно другому возрасту – оно возвращается все реже.

– И чья-то шляпа на мольберте... – процитировал Катаев Бунина.

...замечательная оливковая шляпа с артистически загнутыми полями, шляпа, какую вполне мог сто лет тому назад носить маскитый критик Айхенвальд или, чем черт не шутит, сам Корней Чуковский, – повешена на мольберт, измазанный медленно сохнувшими масляными красками. Нереально. Вряд ли кто-то опрометчиво, на трезвую голову мог ее повесить. Все это очень точно

характеризует хозяина мастерской, дилетанта во всем Федорова – писавшего что стихи, что этюды от случая к случаю. Таким дилетантом становлюсь и я. Краски, измазавшие мольберт, основательно просохли – шляпу можно вешать безбоязненно.

Проснувшись, первое, что я воспринял, – глуховатый стук капель о стекло и более звонкий – о жесть водостоков. Шел дождь. В сочельник зима была еще полноправной хозяйкой, падал снег. Все предвещало снежное Рождество. Но в течение ночи зима стала истекать проливными слезами – у нас в Одессе так недолговечна ее красота и забава – снег перешел в дождь, и из непроглядности тумана и дождя доносился жалостно протяжный звук, зов страдающего зверя – маячный ревун. Он плыл над морем, молом, бульваром с унылой однообразностью сквозь туман, стлался над водой, обегая побережье.

– А за ним следовала память. И, вспомнив все, вспомнил, что с тех пор прошло без малого три десятилетия, но во мне еще живет лето, ставшее частью моей души, – домик под черешней-великаном и Ласочка с кошелкой, полной горячих ягод. И я ощутил теплоту морской воды, не думавшей остывать в октябре, податливую твердость песка на кромке прибоя и вафельный хруст бело-розовых ракушек, перемешанных с сизыми половинками мидий под ногами, мерцающий слюдяным блеском морской окаем – увидел пологий берег, заросший перекрученными неуступчиво стойкими дикими маслинами, гледичией и софорой. Перенесся сердцем на другую сторону бухты к желто-розовым обрывам, покрытым полынью и дроком, и понял, для чего я написал этот рассказ...



Анна Мисюк

Поэт Семен Фруг



«Лучший псалмопевец еврейства», «певец народного горя», чье творчество было «самым широким и свободным выражением еврейского Возрождения», – все эти титулы и характеристики относятся к поэту Семену Фругу.

Семен Григорьевич Фруг родился в 1860 году в Херсонской губернии в еврейской земледельческой колонии Бобровый Кут. Он ровесник эпохи реформ, а его молодость совпала с волной погромов.

Это и станет сквозной темой его творчества: подъем надежд, развитие просвещения, а затем – кризис этих надежд, гибельные предчувствия и поиск путей в будущее через национальное самосознание, способное вернуть народу смысл существования через возвращение в землю Израиля и созидание своей страны.

Талантливый юноша с 15 лет служил писарем в казенном раввинате, а это значит, что школьное образование дало ему прекрасное знание и русского языка, и иврита. Родным же, домашним языком Фруга был идиш, который по тем временам носил еще

пренебрежительное звание жаргона. Могучее влияние русской поэтической традиции формирует творческую личность Фруга. Первые стихи он пишет еще на идиш, но русский язык станет основным художественным инструментом поэта Семена Фруга. Он приобретает известность уже с первых публикаций в журнале «Рассвет» в 1879 году – и редакция журнала организует переезд 19-летнего юноши в Петербург. Чтобы получить разрешение на проживание в столице империи, Фруга регистрируют как лакея адвоката Варшавского. Этот момент пережитого личного унижения совмещен в сознании Фруга с общенациональной болью.

С первых же сборников еще не достигший своего 25-летия Фруг становится чрезвычайно популярным. И еврейская, и русская литературная критика буквально возносит его на поэтический Олимп. Однако популярность не делает его творчество более оптимистичным. Он до конца будет называть «роковым пробуждением от сладких видений» время, в котором выпало жить его поколению. Погромы и – что еще страшнее – обреченность погромам, ограничения в образовании, профессии, выборе места проживания, насильственные переселения, распад и потерянности традиционных общин – это тот фон, тот материал, из которого происходят и песни Фруга, и меланхоличные потерянные персонажи его прозы. Поэзии Фруга печальные, горькие по словарю, рыдающие по поэтической интонации, проникнутые «гневом, тоской и мукой жгучей», были созвучны настроениям его читателей, а благодаря языку широко доступны образованной публике.

Вот как описана встреча Фруга с публикой в Москве в переполненном Большом зале Московской консерватории в 1909 году, когда крепнущее сионистское движение организовало там литературно-музыкальный вечер.

«В начале 3-го отделения выступал С. Фруг, при появлении которого на эстраде вся публика поднялась со своих мест и встретила поэта шумом оваций. С.Г. Фруг прочел несколько своих стихов по-русски и на жаргоне. Затем выступил Я. Гузман, исполнивший народные песни йеменских евреев в обработке Ю. Энгеля и известный романс «И зорок глаз...», слова С. Фруга, музыка Ю. Энгеля.

Закончился вечер вторичным чтением С.Г. Фруга, которого публика проводила продолжительными и шумными аплодисментами и национальной песней «Ha-tikva».

Назавтра после вечера устроителями был дан банкет в честь С.Г. Фруга в зале гостиницы «Метрополь» («Рассвет», № 6).

Как видно из этого описания, в годы после первой русской революции поэт Фруг уже не только выразитель отчаяния, но и вдохновитель нового пути надежды на обретение своей страны и государства.

Очень интересны недооцененные современниками баллады и поэмы, проникнутые мотивами и тематикой Священного Писания. Возможно, современники слишком хорошо знали оригинал, но на позднейших читателей, далеко отошедших от религиозной традиции, то незаурядное мастерство, с которым Фруг воспроизводил голоса древних пророков Иеремии, Исайи, Самуила, Амоса, величественную страсть их речей и героику воззваний, производит глубокое впечатление.

Многие баллады Фруга отображают сюжеты из истории евреев в разные времена и в разных странах. Его интонация в рассказах из истории недавних злоключений российских евреев и насмешлива, и горька. Проза Фруга в целом плохо делится на жанры; его фельетоны художественны, а его рассказы и сказки публицистичны. Вся тематика Фруга бьет в одну точку: народ изморожен и вымотан, его скитания и внешний произвол опустошают душу и лишают энергии на будущее, а единственный выход – это вспомнить пример великих предков и отправиться вновь в тяжелый путь воздвигать свой дом в земле Израиля.

Чего в творчестве Фруга нет, так это темы любви, личных чувств. Он не написал ни одного любовно-лирического стихотворения. Но любовь в его жизни была, и любовь незаурядная.

Он женился на русской девушке Евдокии Фроловой, которая любила столь самоотверженно, что порвала со своей семьей, которая пыталась противиться тому, что дочь и сестра свяжет свою жизнь с иудеем, к тому же и бедным, и больным. Жаль, что так и не сложил Семен Фруг песни об этой любви.

Вот что писал о семейной жизни Фруга адвокат Грузенберг, хорошо знавший супругов: «Пришла хорошая женщина, русская, не озирающаяся назад и не заглядывающая вперед, пришла и сожгла себя, чтобы пламенем согреть стынувшего, замерзшего, из сердца которого проклятая жизнь выстудила все тепло». Последние годы Фруг с женой и дочерью жили в Одессе. Жили в мире, согласии и благоговейных взаимоотношениях. Не странно ли, что для дочери это стало источником душевных страданий, ее мучила раздвоенность, ей было хорошо и в церкви с матерью, и в синагоге с отцом, ей было хорошо с ними обоими, а когда их унесла ранняя смерть, она оказалась меж двух берегов. В наше время такая двойственность может обогащать жизнь, прибавлять ей полноты и красок, но тогда это было мучительной раздвоенностью.

Похороны Фруга стали последним массовым выражением признания его как поэта и почитания как учителя. За гробом шли тысячи людей, да и сам гроб несли на руках, не опуская на повозку. В пути от улицы Белинского, где жил Фруг, до Второго еврейского кладбища на Люстдорфской дороге звучали непрестанно стихи. Над открытой могилой скандировали его строки от первого лица: «Под гнетом скорби и тоски я к вам несу живую душу». Шел август 1916 года...

От редакции

Семен Фруг был похоронен на Втором еврейском кладбище. На могиле было установлено надгробие из черного мрамора. Оно было украдено румынами в годы оккупации Одессы. После войны надгробие было обнаружено, но еврейская община Румынии не вернула его в Одессу, а отправила в Израиль, где это надгробие было установлено на кладбище в Иерусалиме на аллее поэтов.

Второе еврейское кладбище было снесено большевиками в семидесятые годы. Это было очередным проявлением государственного антисемитизма. Лишь несколько захоронений перенесли на Второе христианское (тогда – Интернациональное) кладбище. Среди них захоронение Семена Фруга. На его могиле установили советскую цементную плиту, которая вскоре разрушилась.



К столетию со дня смерти Семена Фруга 10 октября 2016 года на могиле поэта был открыт новый памятник. Координатором проекта выступил почетный член Всемирного клуба одесситов, прозаик и краевед доктор наук Михаил Пойзнер. Дизайн проекта осуществил художник, архитектор Леонид Брук. Мы хотим назвать всех, на чьи деньги сооружен новый памятник. Это Григорий Бибергал, Леонид Брук, Вячеслав Волошин, Владислав Вайсман, Павел Вугельман, Ян Гулько, Сергей Данилко, Евгений Деменок, Яков Железняк, Леонид Кохановский, Александр Курлянд, Иван Липтуга, Яков Михалевич, Роман Моргенштерн, Олег Платонов, Михаил Пойзнер, Ефим Тульчинский, Яков Шпигельман, Игорь Ясногородский.

Семен Фруг

Еврейская мелодия

Исход, XIV, 15, II

И зорек глаз, и крепки ноги,
И посох цел... Народ родной,
Чего ж ты стал среди дороги,
Поник седою головой?
Ты не один: взгляни, толпой
К тебе твои вернулись дети...
Прими же их и всей семьей
Ты к сонму будущих столетий,
Чрез бездну мук, чрез цепь невзгод
Ступай вперед!
Вперед – под звуки старой песни.
Века минувшие зовут,
И громы нам кричат: воскресни!
И бури гимны нам поют.
И под громами, и под тучей,
На зов святой, на зов могучий –
Чрез бездну мук, чрез цепь невзгод,
Смелей, седой старик-народ,
Вперед! Вперед!

Над Днепром

Я пережил свои желанья, Я разлюбил свои мечты...
Вновь ясной красоты и неги тихой полны,
Родные небеса приветствуют меня,
И снова Днепр свои живые гонит волны,
У ног моих сверкая и звеня.
А я стою над ним с поникшей головою, –
Встает за роем рой тяжелых, мрачных дум,
И застилая мглой пугливый ум,
Витает надо мной угрюмою толпою...
...Прости, широкий Днепр, свидетель юных грез,
Исчезнувших надежд, разбитых упований.
Последний дар несет тебе дитя страданий:
Горячую струю кровавых, жгучих слез...
Прими мой дар – мои последние рыдания.
Я их принес сюда с гранитных берегов
Невы холодной...
Там, на родине снегов,
Под дикий вой грозы и ветра завыванье,
Так долго я стонал, так много пролил слез...
Но слезы жаркие беззвучно упали
На камни твердые, и грозный невольный вал,
Клокоча и шипя, с гранита их смывал.
И бури Севера мой голос заглушали.
Но здесь, у волн твоих, где только год назад
Любовью грудь моя и верой наполнялась,
И песня русская не раз со струн срывалась,
Когда я петь хотел сионским песням в ляд, –
Здесь буду я рыдать!.. Все, что в душе таилось
И зрело в тишине, я в песне изолью,
И где впервые грудь надеждою забилась,
Там песнь надгробную надежде я спою.

Итоги (1900)

Мне сорок лет, а я не знал
И дня отрадного поныне;
Подобно страннику в пустыне,
Среди песков и голых скал
Брожу, пути не разбирая...
Россия – родина моя,
Но мне чужда страна родная,
Как чужеземные края.
Как враг лихой, как прокаженный,
От них запретом огражденный –
Я не видал дубрав и гор,
Ее морей, ее озер,
Степей безбрежного приволья
И величавой простоты,
Ее великого раздолья,
Ее могучей красоты.
Как сказке о чужой и чудной
Стране, рассказам я внимал
Про гордый строй Кавказских скал
И Крыма берег изумрудный, –
Обитель дикой красоты, –
Где русской лиры славный гений
Взлелеял яркие цветы
Своих бессмертных вдохновений...
В темнице выросло дитя, –
Ему ли петь о блеске дня,
О шуме волн, просторе поля?..
Бедна, убога песнь моя,
Как ты, моя слепая доля!..



Леонид Финкель

Балмилухе, или Земля обетованная художника Ефима Ладыженского

1

1 сентября 1978 года Балмилухе, на языке идиш – Мастер, стоял на картине художника Ефима Ладыженского спиной к зрителю и смотрел на собственный памятник. Место он присмотрел еще раньше. Все, что положено, на памятнике написано. Даже дата смерти. И потому он уже не верит в Работу. Не верит в Живопись. Не верит в Жизнь. Только что Мастер сжег две тысячи своих картин и рисунков. Две тысячи! Сжег...

Невероятно! Неправдоподобно! Но ведь сжег Николай Васильевич Гоголь второй том «Мертвых душ».

И умер...

От литературы...

Фрейлине двора Александре Осиповне Смирновой написал: «Бог отъял на долгое время от меня способность творить».

Умирание Гоголя началось именно с этого времени.

Что хотел узнать Мастер, глядя на собственный памятник? Внешний образ своей смерти? То, как он будет умирать?

Такая уверенность в смерти, приходящая в обход медицинских причин!

2

Кратко о линии жизни.

Родился в Одессе в 1911 году. В школе были только часть коренных одесситов. Остальные из маленьких местечек. Они всегда знали, что богатство – только богатство. Но это придорож-

ная пыль по сравнению с образованием. По словам художника, и в школе, и в пионерском отряде избегал всяких должностей. Так будет и позже. Свобода – прежде всего. И вообще, общаясь с друзьями и просто товарищами, всегда был наедине с самим собой. Запомнил вожатых, рабфаковцев: они были уже опытными людьми. Жили голодно и бездомно. Но трудились самоотверженно. Интернационал в ту пору звучал еще как открытие и откровение.

Запомнил смерть Ленина. Это было в 1924-м: «Я вижу себя стоящим с поднятой рукой и почти остывшим в том месте, где меня застали вой сирены портового маяка, гудки паровозов и заводов, расположенных невдалеке». Позже, размышляя об этом эпизоде, подведет итог: «Возможно, это было единичное проявление стадности, внезапно охватившей всю страну». Очень скоро настанет время, когда проявление стадности станет всеобщим. Ситуация особенно опасная для людей искусства. Всеобщий страх, как отметил Зощенко, – полная потеря квалификации. Процветал нэп. Торгаши вместо героев. Отец болел, мать крутилась «между примусом и нашим воспитанием».

Ефим Бенционович поступает в студию художника Юлия Рафаиловича Бершадского. О первых своих впечатлениях замечательно пишет в воспоминаниях. Владелец студии окончил Императорскую академию в Петербурге с золотой медалью. Несколько странно, потому что еврей не мог получить золотую медаль, как не получил ее в свое время Шолом-Алейхем. Но это был профессионал с идеологией, скорее всего, «попутчика революции». Позже Ладыженский напишет картину «Студия Бершадского». Место действия выбрано очень точно. Главное здесь – мольберты. Они выше людей. С одной стороны, символизируют судьбы. С другой – сценическую иллюзию реальности. В студии, затем в Одесском художественном институте (на театральном факультете) провел семь лет. Он и дальше будет воссоздавать на сцене картины жизни во всей ее полноте и открытости к окружающему внешнему миру, лежащему за пределами видимой на сцене картины. Работая на сценах театров Краснодара, Ташкента, Ашхабада, Сталинграда, оформляя выездные спектакли для армии в Московском драматическом театре (в театрах оформил более семидесяти спектаклей), обычно задумывал декорационную среду со множеством характерных подробностей. Все они, каждая по-своему,

должны были помочь и действительно помогали создавать у актеров нужное творческое самочувствие, ощущение правды внешнего настроения. При этом он умел акцентировать детали, показывать их крупным планом. Без этого нельзя было воздействовать должным образом на зрителя. Замыслы Ладыженского (в смысле использования вещей и других деталей оформления) порой кажутся предназначенными уже не столько для театра, сколько для кинематографа (художник участвовал в постановке двух картин), каким он станет спустя много лет, в период его зрелости. Или, быть может, даже еще в большей степени для телевидения...

И особенная чуткость ко всяким проявлениям неправды на сцене...

Далее – персональные выставки (1942, 1962, 1969). Творческие поездки по стране. Создание циклов «Бабель. «Конармия», «Мама», «Одесса – город моего детства», «Каркасы», «Растения», «Автопортреты»...

Казалось, по словам Е. Вахтангова, «зачумленные уже не знают, что чума прошла, что человечество раскрепощается, что не нужно генералов на свадьбу...». Увы! Ладыженский знал: ничего не прошло. Есть и зачумленные, и генералы на свадьбах. Иначе не было бы отъезда в Израиль (1978)...

Не было больше и любования той жизнью...

Все написанное здесь действительно выглядело бы биографией, если бы не тончайшая духовная организация художника. Если бы не тревожный и драматический ритм его жизни, отвечавший душевному смятению. Ритм, который из временного все больше и больше становился постоянным... Политическая несовместимость художника с государством все больше и больше переходила в эстетическую. То, что Андрей Синявский называл «филологическими разногласиями» с советской властью... Талант же художника все больше и больше находился в «атмосфере художественности»... А составляющая жизни стала резко толкующей о трагической несовместимости человеческих желаний, идей и характеров...

За собственные картины советская власть предложила художнику заплатить сумму, которая казалась ему, во-первых, фантастической, во-вторых, недостижимой, в третьих – несправедливой...

Так он пришел к сожжению картин. А на самом деле – к само-
сожжению...

Здесь все – и полное одиночество, и затерянность и нелепость
жизни...

В 1982 году художник покончил с собой.

Есть у Ладыженского картина из цикла «Моя Одесса» – «Господин Шпиц и сыновья». Шпиц изготавливал гробы. «Почти серебряный гроб смастерил он для знаменитой артистки Веры Холодной, – вспоминает художник. А после добавляет: – В 1941 году мастера Шпица и двух его сыновей, защищавших город от фашистов, повесили на балконе, нависавшем над его бывшей мастерской».

Вспоминал ли Мастер перед своим отчаянным поступком эту историю? Он как бы сам предвосхитил ее: «Вначале, будучи не то ящиком, не то корытом, гроб постепенно превращался в нечто совсем другое, в величественное изваяние... он на глазах замороженных ребят становился серебряным, сказочным... лицо Шпица тоже серебрилось, и он походил на старшего брата аму-
ров-ангелов, украшавших гроб».

Казалось, занавес закрывается. В сущности, он так и не открылся...

Впрочем, тут впору поставить вопросительный знак.

Разве? Уж так и не раскрылся?

Разве серебро поблекло?

Просто тема распада и умирания получила едва ли не предельное выражение.

3

Одним из циклов (и самым сложным, на наш взгляд, циклом), принесшим Ладыженскому подлинный успех, была «Конармия» Исаака Бабеля. Если Одесса для художника Ладыженского – небесная родина, рай, то богом в ней был Исаак Эммануилович Бабель с его «Конармией» и бандитской экзотикой «Одесских рассказов».

Ходасевич уверял, что Бабель был украшением жизни для каждого, кто встретил его на своем пути.

«Читая написанное Бабелем, я испытываю то же наслаждение, которое получаю как художник, когда смотрю на дивные произведения могучего, непревзойденного, очень ни на кого не похожего

и ни от кого не зависящего гениального испанского художника Франсиско Гойи. Предельно скупые, но точные мазки его живописи и предельно выразительные штрихи его гравюр отражают только самое главное, что он хочет открыть и поведать людям. Отброшено все малозначашее и в картинах, и в портретах, и в композициях. Тема и цель ничем не засорены и действуют безотказно. Бабель, работая словом, добивается тех же результатов. Их роднит и цель, и мысли, и манера. Я бы к ним присоединил еще и великого Рембрандта с его знаменитым умением пользоваться светотенью.

И все это, как я думаю, от любви и доброжелательства к человечеству.

Как я понимаю, это и есть настоящий – сверх и вглубь – реализм.

За все это – благодарность ему храню, и пронесу, как дар, до конца моих дней! Низкий поклон его имени, его таланту, ему – Человеку!»

Тут неспроста имена Гойи или Рембрандта.

О Бабеле писали, что у него стройный сухой и точный еврейский ум. У Ладыженского тоже был еврейский ум. Даже, если можно так выразиться, «веселые» работы сделаны с важной серьезностью. В них есть сосредоточенная строгость мысли, которая делает рисунок картины уверенным и острым...

Пестрый характер Одессы проглядывается в каждом предложении Бабея. Что-то он приукрашивал. Что-то упрощал. Он был писателем, а не историком.

Революцию он застал в Петрограде. Вечером того дня спокойно ужинал в отеле «Franke» неподалеку от нервничающего офицанта, который обещал «большую перестрелку». В Мариинском театре шел балет Чайковского «Щелкунчик». Когда пальнула «Аврора», выстрел услышали в театре. А вооруженные повстанцы приняли этот выстрел за сигнал. И пошли на штурм Зимнего. Впрочем, и штурм никакого не было. Но на следующий день граждане проснулись уже в другой стране.

Есть у Бабея рассказ «Дорога». Он описывает свою поездку в Петроград. Вымысел от действительности в рассказе отличить почти нельзя. Он пишет о невинных евреях, которых расстреливали без суда и следствия, о том, как герою приходится добираться

по снегу. Фельдшер, бинтуя его отмороженные ноги, вопрошает: «Куда? Куда вас носит?... Зачем она едет, ваша нация?... Зачем мутит, турбуется?». Эти мучительные, в сущности, вопросы Бабель задает себе и евреям... Куда ведет евреев дорога? В никуда...

Будущее проглядывало очень точно. Дворцы разграблены. Захватчики Зимнего забавляются в царских погребках, выпивая любимые вина царя. Бабель ночует где попало. Мог спокойно заночевать на диване в рабочем кабинете царя в Аничковом дворце и на радостях прихватить парочку папирос, как он сам пишет об этом в «Дороге». Пожалуй, «Конармия» начиналась задолго до самой книги. О Бабеле Маяковский писал: «Он жаждет правды, как другие водки».

Правда станет и богом художника Ладыженского. И тоже задолго до его лучших работ...

А в Одессе уже появился «Коллектив молодых поэтов» – Валентин Катаев, Юрий Олеша, Эдуард Багрицкий, Вера Инбер, Илья Файнзильберг (Ильф). Они ходили на иллюзии в кинотеатр «Урания», спешили на лекции Бунина. Вскоре Бабель станет одним из них. Веселого нрава, он писал печальные миниатюры о жестокости и безумии войны. Позже, уже в «Конармии», он начнет описывать бои, жестокости которых были необычайными даже для военного времени.

Все это Бабель видел своими глазами: погром в Житомире, устроенный поляками, а позже казаками. В ходе войны он все с большим уважением смотрел на измученных, но гордых людей, чувствовал тягу к раввинам-чудотворцам и к хасидизму, центр которого располагался в галицийском городе Бердичеве. Хасиды придавали большое значение «празднику жизни». А домики жались, жались друг к другу, точно им было тесно, точно они хотели согреться. «Лица, вот гетто, и мы, старый народ, измученные, есть еще силы», – пишет Бабель в дневнике. Он любит (как и Ладыженский) отождествлять себя с евреями. Будучи в маленьких городках – в Бродах, Буске, Ровно, в Дубно, – он считает, что от вечернего посещения одной из синагог там «невозможно удержаться». Их простой интерьер может понять только «душа еврея». В молитве Бабель находил несколько минут покоя и силы. Что будет важно и для Ладыженского. Есть у Ладыженского эссе «Синагога». О себе, мальчике Фиме, он вспоминает: «Не историю он чувствовал, а себя – в Суккоте, Симхат-

Торе, Хануке, Пуриме и Пасхе. Он не знал, что символизирует собой звук, извлекаемый из рога в синагоге, он был уверен, что звук это победный». О празднике Симхат-Тора художник пишет: «Все пребывали в экстазе. Злые становились добрыми, добрые еще добрее, астматики дышали ровнее, здоровые – учащенной. Нас, детей, поднимали за руки, чтобы и мы приложились губами к свиткам, а я, брезгливый, незаметно чмокал свои пальцы. Таким помнится мне этот почти карнавальный праздник»...

Бабель очень надеялся на революцию. Он знал искренних коммунистов, которые всеми силами боролись за лучшее будущее.

«Разочарованный Бабель, – писал автор его биографии Райхард Крумм, – наблюдал за тем, как повторялся виток истории. В XVII веке запорожские казаки под предводительством Хмельницкого вырезали польских евреев, а теперь это делают солдаты под предводительством Буденного». Если бы до Буденного дошли эти слова, то Бабеля, вероятно, сразу бы расстреляли.

Для Бабеля в «Конармии» важно было художественное описание этой революции, ее осуществление и последствия, прежде всего для евреев. Позже Горький писал, с какой фантазией изображены герои Бабеля, – именно это делает их неотразимо живыми.

Буденный откликнулся на «Конармию» статьей «Бабизм Бабеля». Он обвинял Бабеля в том, что тот распространяет бабьи сплетни, выдумывает небылицы. А в подтексте было предубеждение, что евреи трусливы, что они «не настоящие мужчины». Для Ворошилова «Конармия» была как бельмо на глазу.

Горький защищался: «Нельзя критиковать «Конармию» с высоты коня»...

А вообще, такого успеха не было ни у кого. Бабеля называли надеждой современной русской литературы. Булгаков считал, что в русской литературе, кроме него, русского Булгакова, и еврея Бабеля, вообще нет никого...

И впрямь, Бабель был первым русским евреем русской литературы...

В 1967 году Михаил Иванов, сын И. Бабеля, преподносит Ладыженскому «Избранное. И. Бабель» с дарственной надписью.

«К И.Э. Бабелю, замечательному писателю и моему земляку, я подступился не сразу. Он был недосягаем, и это лишало меня

веры в себя. Только в 1964 году, когда мне стало 53 года, и я уже был на 20 лет старше того Бабеля, который создал «Закат», я написал эскизы к этой глубоко правдивой пьесе. А позже мною была сделана сценическая интерпретация «Конармии» и написаны эскизы декораций, которые были выставлены на Всесоюзной выставке художников театра и кино и на Бьеннале в Сан-Пауло. Затем я начал работу над серией картин на темы этого выдающегося трагедийного произведения (темпера на картоне). Для меня оно было и остается тем же творческим родником, каким были для очень многих художников прошлого мифы, библейские сюжеты, легенды» (Из записок художника). К 1968 году, как вспоминает дочь художника Виктория Ладыженская, «отец закончил эту живописную серию. Обрамил картины удивительными рамками из бересты, которые он изготовил сам и которые так соответствовали событиям, описанным И. Бабелем и художником Ладыженским».

У Бабеля есть короткий, чуть ли не на полстранички рассказ. «Кладбище в Козино». Когда после долгого молчания готовился его однотомник, редактор, о которой Илья Эренбург сказал: «похожая на тетку, которая сейчас вынесет самовар», – хотела выбросить именно этот рассказ.

«Кладбище в еврейском местечке. Ассирия и таинственное тление Востока на поросших бурьяном волынских полях. Обточенные серые камни с трехсотлетними письменами. Грубое тиснение горельефов, высеченных на граните. Изображение рыбы и овцы над мертвой человеческой головой. Изображение раввинов в меховых шапках. Раввины подпоясаны ремнями на узких чреслах. Под безглазыми лицами волнистая каменная линия завитых бород».

Писатель Дорошенко отметил, что здесь у великого Бабеля – все не так, все не точно, то, чего не может быть. Не могли быть изображения раввинов на этих камнях. Бород евреи не завивали. Не могло быть и мертвой человеческой головы – только руки в молитвенном соединении. «Тиснение» не может быть «высеченным» Рыба и овцы не могли быть вместе на мацаве. Для Бабеля это все неожиданно и странно – он шел всегда только от факта, от четкого рисунка реальной жизни. Бабель был потомственный

горожанин, он никогда не знал этих местечек и ими не интересовался. Но, ошибаясь буквально во всем, Бабель передал сильное и верное чувство. Вот чем отличается настоящая проза от скучного перечня мертвого материала! А творец от ремесленника... Совсем не просто разгадать художественный мир Бабеля. Но Ладыженский в той же картине «Кладбище в Козино» трактует этот рассказ Бабеля многозначно. Еврейство Ладыженского здесь идет от Библии, Талмуда, верности еврейским традициям и ведет к пророчествам Холокоста. Его картина звучит как скорбный реквием. Это не реальный, не биографический автор говорит о смерти, но это самое глубокое отражение его духа, его экзистенция, ядро его личности. Сам художник здесь еще и великий постановщик, и великий актер, который, играя, смеется и плачет одновременно...

Страшен своим средневековым рассказ Бабеля «Берестечко». Здесь в основном живет «суетное население» из корчмарей, кожевников, разносчиков, маклеров. Евреи в капотиках, давно схожие с привычным несчастьем. Только что конармеец Куря из пулеметной роты зарезал старика-еврея, не забрызгавшись...

Но Ладыженский совсем по-другому строит сцену. В центре – Наполеон новейшего времени делает доклад о Втором конгрессе Коминтерна. Ясно, что «суетное» и «несуетное» население даже слов таких не знает: «конгресс», «Коминтерн». Но его рука поленински зовет вдале. А там – мертвые мужики, сложившие головы в ожидании новой веры:

– Вы – власть. Все, что здесь, – ваше. Нет панов. Приступаю к выборам Ревкома...

Как современно смотрится эта картина Ладыженского! Так и слышится «великое безмолвие рубки»...

И только Гедали (на другой картине) по-прежнему тоскует об «Интернационале добрых людей», кружит в воздухе в ожидании робкой звезды.

Главным действующим лицом рассказов Бабеля является правда. Подлинность! «Правда всякую ноздрю щекочет, – говорит один из его персонажей. – Да как ее из кучи вытащить?» Бабеля интересовала скрытая жизнь, тайна бытия. Собственно, то, что Бабель резюмировал как «Человек должен все знать. Это не вкусно, но любопытно». В работах Ладыженского, связанных с «Конар-

мией», есть поразительные метафоры. В картине «Мой первый гусь» голову человеку заменяет его жертва, насаженная на саблю. Потому что люди по собственному опыту знают, что «голод не тет-ка», и существуют обстоятельства, в которых сабля важнее головы. Одна фраза Бабеля («Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обгаренное убийствами, скрипело и текло») подсказывает ему далеко идущую «победоносную идею». Замена головы с каждым новым революционным днем приобретала все больший масштаб, оборачиваясь для страны катастрофой. Наступали дни хаоса.

Герои Бабеля, зачастую беспощадные убийцы, у Ладыженского грезили о правде за самоваром («История одной лошади»). И эта правда для них была «как луг в мае», по которому ходят для них самые дорогие – женщины и кони.

Был период, когда Бабель не писал о революции, ибо не в силах был ее понять. Но Ладыженский, переживший Бабеля, знал уже больше, чем его кумир. Бабель сомневался: «Вскинуть на плечо винтовку и стрелять друг в дружку – это, может быть, иногда бывает неглупо. Но это еще не вся революция. Кто знает – может быть, это совсем не революция». Ладыженский знает точно: да, это не революция. Поражает энергичный жест рукой человека, который за убитого коня готов истребить все человечество (картина «Афонька Бида»). Этот жест – зарок, клятва, месть. И сколько людей попало под безжалостную руку кавалериста – трудно сказать. Сталину, очевидно, нравился этот жест и это упрямство.

На одной из картин Ладыженского («Песня») портреты Буденного и Ворошилова создают хрестоматийную и олеографическую легенду. Эта легенда никак не увязывалась с правдой, которую открыл для себя Бабель. Неожиданное и очень острое решение картины. Еще Горький говорил, что Бабеля надо читать по-особому, отнюдь не бытовому ходу. Собственно, Ладыженскому не нужна была подсказка. На отсутствие воображения художник не жаловался. Бабель – великий мистификатор, и Ладыженский в своих работах хорошо уловил эту черту бабелевского дара.

А это уже не мистификация. Разве что с некоторым ее оттенком. Бабель был расстрелян в ночь на субботу, 27 января 1940 года, в 1 час 40 минут. В тот день расстреляли еще 16 человек.

Через шесть дней после смерти Бабеля были расстреляны Кольцов и Мейерхольд, 4 февраля – Ежов. Их трупы были доставлены в крематорий, а прах высыпан в общую погребальную яму. Так произошло символическое объединение жертв НКВД и его жертв.

4

Дом на Сиреневом бульваре в Москве вполне можно было сравнить со знаменитым «Ульем» в Париже, где обитали Шагал, Сутин, Фузита и другие, из тех, кого назовут впоследствии гениями. В доме на Сиреневом бульваре, правда, не было такой нищеты, хотя было до предела скромно. Длинный коридор на девятом этаже. Десятки мастерских – больших и маленьких. Как вспоминает художник Илларион Голицын, каждая мастерская имела на потолке световой «гробик», через который можно было вылезти на крышу и осматривать округу. Мастерские были построены Художественным фондом в 1960 году. Здесь жили художники, скульпторы, керамисты, в общем, все творческие специальности. И здесь царила подлинная атмосфера дружбы и товарищества. Была здесь и мастерская Ефима Бенционовича Ладыженского. Коллеги любили его работы. Знали им цену. Сравнивали со своими. У всех была личная версия собственной жизни, как любил говорить Голицын – «житуха». У Ладыженского это была Одесса, необычная, острая, разнообразная, часто озорная, но всегда для него дорогая и спасительная...

Александр Вертинский утверждал, что Одесса не подчиняется никаким законам, никаким влияниям и мнениям, никаким авторитетам и живет, и гордится своими собственными мнениями, самоуправляясь и самоопределяясь.

Тысячу лет Одесса жила без права, без контроля и была крепка, возносилась над всем миром. Тем более что нигде нет такой уймы возможностей, как в Одессе.

Одесса ведет свои дела умеючи...

У Одессы был и свой собственный язык, собственно, даже не русский. Скорее китайский. Или, как сказал, известный фельетонист Влас Дорошевич, «китайско-японский». Отчаетесь понять ответ извозчика на вопрос, как проехать. Извозчик, которому невыгодно вас везти за предложенную плату, скажет:

– Дойдете до юнкерского, а дальше пешком...

Одесса не надоедает, и вряд ли когда-нибудь надоест. Остановите любого прохожего, и если ему дать говорить о себе, он начнет с января, а кончит как раз на конец года.

Есть города, ну, что ли... без содержания. Или с тайным содержанием. Как Сфинкс. Одесса – совсем другая. Открытая, даже распахнутая. Она – для деятельных людей, которые не пропустят ни одного уличного объявления, ни одной возможности, которая будет разговаривать с вами и теревить пуговички, и обращаться запросто.

Если нужно для блага Одессы – тут отбрасывают всякую формалистику. Одесса – выше всего. Потому что она – мама. Одесса-мама...

Был в Одессе и свой «Интернационал», которому Ладыженский уделил немало внимания: известная песенка «Свадьба Шнеерсона». Паустовский утверждал, что в 20-е годы она «обошла весь Юг». Другие (например Ростислав Александров) были убеждены, что знаменитая фраза Льва Николаевича Толстого «Все смешалось в доме Облонских» звучала не иначе как «Се тиших хойшехс в доме Шнеерсона». Что это именно так, одесситы давали «голову на разрез»... Впрочем, у Ладыженского и его друзей был другой гимн – песенка «Ай, ай, а штетле». Он солировал, а все пионервожатые, евреи и не евреи, пели хором: «Ай, ай, а штетле». С тех пор были забыты все революционные песни...

На родной земле художник Ладыженский чувствовал себя прочно.

Сказочность и романтичность города.

Театральная таинственность.

Место для колдунов.

Бабель, например, был Колдун.

В Одессе все было непривычно. Люди. Мотивы их поступков. Неожиданные ситуации. Энергия. Здесь жизнь ничем не отличалась от гротеска. Только смотри. Только подмечай. И пиши что хочешь: стихи ли, картины – пронзительный глаз.

Здесь все ново и все необыкновенно...

А непроницаемость южных ночей?

И ночи, которые тянутся так долго...

Однажды Бабель сказал насмешливо: «У нас в Одессе не будет своих Киплингов. Мы мирные жизнелюбы. Но зато у нас будет свой Мопассан... Потому что у нас много моря, солнца, красивых женщин и много пищи для размышлений, Мопассана я вам гарантирую...».

Он же любил повторять библейское изречение: «Сила жаждет, и только печаль утоляет сердца».

Печали у художника Ладыженского было сколько угодно.

Одной из «печалей» был для него Бабель.

Вообще же, об Одессе Ладыженского лучше его не скажешь:

«Моя Одесса, – продолжал Ефим Бенционович, – чудесный город, и определялась она не архитектурой, как некоторые города в мире, и потому ее у меня в картинах почти нет. Нет и неба, потому что особого неба, кроме доброго, тогда над Одессой не было. Были закаты и восходы, и серое, покрытое тучами, небо, и ясное, голубое. «И был вечер, и было утро». Были люди, и их я носил в своей душе, их помнил и ощущал больше, чем дом на Дерибасовской угол Ришельевской. Но я ведь не Марк Шагал, чтобы они у меня висели в воздухе и летали по небу. Они любили кушать и пить, им нужны были стол и тарелки, они ездили на дрожках, они торговали и покупали, они работали и учились. «И сотворил Бог землю», а они, одесситы, устлали ее плитками и булыжниками, уложили рельсы и пустили по ним трамваи русско-бельгийского общества. И мне, художнику, осталось только поведать об этом привычными для меня средствами, отпущенным мне Богом талантом».

В его полотнах об Одессе не только цвет, но и аромат, звук, даже интонации. В них не было ни горчинки. Подлинный земной рай...

Я себя уверяю, что, работая над своими полотнами об Одессе, он закрывал глаза и видел, как по теневой стороне Приморского бульвара идет человек. В его руках раскрытая книга Киплинга. Он читает ее на ходу. По временам останавливается, чтоб дать встречным обогнать себя, но ни разу не поднимает головы, чтобы взглянуть на них. И встречные обходили его.

– Этот байстрюк окончательно сказился! Дал бы ему по шее, иначе за себя не отвечаю...

Что и говорить, Одесса – это театр, где каждый день премьера...

Художнику, выдающемуся Мастеру Ефиму Бенционовичу Ладыженскому посчастливилось родиться в Одессе. Утесов сказал, что все бы того хотели, но не всем это удастся. Ефиму Бенционовичу удалось. Удалось, потому что не только он выбрал Одессу. Как оказалось, и Одесса навсегда выбрала его.

Впечатления, которые произвела на него Одесса с самого рождения, никогда не покидали его. И Одесса любила этого седого человека «с черными бровями, в которые упирались очки». Этого горячего неугомонного романтика, в которого Одесса вложила все свое солнце. Оставалось его по лучинке собрать с каждой души, чтобы вернуть одесситам как один сосредоточенный страшный жар!

Из немногих моих приключений в Одессе вспоминаю такое. В ту пору я был художественным руководителем молодежного эстрадного коллектива. Пьеса, которую мы тогда показывали на гастролях и привезли в Одессу, была как бы полулегальной, хотя и коммерческой. И все было бы хорошо, но в предыдущем городе наших гастролей рабочие одного из заводов написали в министерство культуры, что называется, «телегу»: в пьесе-де есть некие антисоветские акценты. В общем, не советская эта пьеса.

На самом деле ничего подобного не было. Пьеса была столь же советской, как и гимн нашей необъятной Родины. Видимо, спяна кто-то проявил избыточную долю патриотизма.

Я побаиваюсь патриотизма. Любая форма патриотизма это некая опасная иллюзия, подмена реальности. Где есть патриотизм, там всегда грядет какая-нибудь большая или малая война. Или неслыханное воровство.

Но соглядатай из минкультуры все же приехал. Несколько сцен вырезал. Чем заполнить пустоту, я не знал. Даже по времени пьеса оказалась короткой...

Я человек законопослушный: вырезать так вырезать. Но в конце пьесы решился на импровизацию – будь что будет!

Я прошелся по одесским магазинам, и пришла в голову мысль представить и как-то прокомментировать изделия местного производства. Одним из предметов оказался флакон женских духов под названием «Газопровод «Уренгой – Ужгород». К флакону

было приложено подробное изображение трассы новостройки. Таких предметов оказалось больше чем надо, и зритель хохотал до упаду. Соглядатай, между прочим, тоже остался доволен...

Вот тогда я понял, что Одесса – великий провокатор. Она зовет к каким-то неординарным поступкам.

Товарищ Ефима Ладыженского, искусствовед Григорий Анисимов рассказывает о художнике Валентине Полякове, который отправился к Ирине Антоновой – директору Музея изящных искусств, и безо всяких обиняков сказал ей следующее:

– Ирина Александровна, дайте мне возможность проверить себя, мне это крайне нужно, по понедельникам ваш музей выходной, так вот я хотел бы в такой день развесить свои работы среди классиков – Сезанна, Матисса, Дерена, Ван Гога, Гогена, Брака и Пикассо – и посмотреть на себя среди этих гигантов.

Антонова ошеломленно глянула на этого чудака и, подумав совсем недолго, дала свое согласие (*Григорий Анисимов. Умение жить, смотреть и видеть. – Ефим Ладыженский. Личность и творчество. – Москва: Мусатетъ, 2008*).

По словам Е. Ладыженского, сам художник был очень польщен, сказал, что его работы совсем не потерялись, смотрелись очень хорошо.

Конечно, это не проделки Пикассо или Дали, но Ладыженскому поступок художника очень нравился. Это было «нечто неожиданное, диковинное, блестящее по исполнению».

Будучи человеком ну просто невероятно скромным, Ладыженский, конечно, ничего подобного бы сам не сделал. Скромность этого человека, по словам современников, была поистине абсолютной. Увы, та самая скромность, которая кратчайший путь к неизвестности.

Впрочем, Ладыженский неизвестности избежал. Более того, его любили. Даже боготворили.

Здесь хотелось бы привести письмо драматурга Геши Пыжова и его жены театроведа Ольги Пыжовой:

«Ефим Бенционович! Это я. Вспоминаем, вспоминаем, вспоминаем. Часть жизни нашей и моей, и это уже не вспоминать называется, а жить прошлым, как бы прошедшим, но ничего не происходит, а теперь был, смотрел на вас, слушал, смотрел вашу живопись

или рисунок, зная, что на Вавилова в мастерской живет Ефим Бенционович, к которому при настоящей душевной необходимости всегда можно доехать, потому что вы всегда в мастерской (кроме воскресенья). Ефим поставит чай на электроплитку, достанет с полки стаканы, ложки, домашнее варенье, печенье и т. д. и т. д., а главное – поговорим и посмотрим, друг на друга, и на Ефимову живопись, и от этого придет чувство полноты жизни и даже смысла.

...твой портрет повесили на стенку в укромном месте, возле книг, и каждое утро здороваемся с тобой. Теперь ты – образ, ты так суров и справедлив, и требуешь «Работай!».

...Милый наш друг! В Черемушках остался лишь рынок и Джоник с шашлыками и иконами – тебя нет, и не будет, это очень печально, и с этим трудно смириться. Не меняй имени! Оно у тебя одно, и ты на него похож, у тебя одна судьба и одно имя, не разъединяй их».

(Ефим Ладыженский. Личность и творчество. Составитель Григорий Анисимов. – Москва: Мусагетъ, 2008, с. 135.)

Это, можно сказать, любовное письмо. Исполненное не только любви, но и восхищения, почитания, даже поклонения. С каждым ли человеком, пусть даже он стал образом, здороваются по утрам?

1979 год. Всего год как художник взошел на Землю обетованную. Обычно для любого репатрианта это самое трудное время. Сначала эйфория. Покоряющее Средиземноморье. Напоминает Черное море, но намного теплее. И, как уверяет мой друг писатель Саша Каневский, в нем плавают вареные медузы. Для такого знатока Одессы и продукции рыбного ряда Привоза, как Ефим Ладыженский, вареные медузы (в собственном соку) – все-таки новинка. Потом эйфория постепенно, но неумолимо рассеивается. Замечаешь левантийскую лень, необязательность, почти советскую, а иногда превосходящую ее бюрократию, а главное – какую-то тайную и неистребимую влюбленность в социализм. Но и мы хороши. Вспоминаю первое посещение ульпана. Мора (учительница) что-то рассказывает о талите – за редким исключением никто из аудитории не знает, что это такое. Угнетают тревожные разговоры о машканте, о будущей работе или ее отсутствии. В очереди к адвокату слышу, как в присутствии матери девица заявляет адвокату: «Ну, это мы оформим сейчас, а это – когда мама умрет...». И несколько раз повторяет эту удачную мысль...

Доктор Мэтью Байгелл пишет:

«Ладыженский приехал в Израиль уже больным человеком и очень скоро начал испытывать раздражение и растерянность. Он чувствовал себя бессильным в стране, где говорили на незнакомом языке, где ему приходилось жить и работать в убогом пустынном, почти лишенным растительности районе на окраине Иерусалима, вдали от центра.

Он вообразил, что израильское художественное сообщество принимает его недостаточно хорошо, несмотря на то, что почти сразу была устроена его персональная выставка. Он не желал и не хотел понимать специфику рынка искусства в капиталистическом обществе...» (Ефим Ладыженский. *Личность и творчество. Составитель Григорий Анисимов. – Москва: Мусажетъ, 2008, с. 138*).

Зная не понаслышке художественное или литературное общество, могу сказать, что не надо воображать, будто бы оно «приняло его плохо». Можно не сомневаться, так это и было. И после выставки могло быть еще хуже, ибо художник Ладыженский был все-таки на голову выше окружающего его общества. Он уже был Балмилухе, Мастер. Один цикл работ «Конармия», который присвоила Третьяковка и ни за что не хотела его отдавать, чего стоил...

Ефиму Бенционовичу даже захотелось сменить имя.

Или судьбу?

Случай, когда израильская бюрократическая машина заодно с высокомерными представителями местного бомонда, скажем мягче, унижала художников, отнюдь не единичный.

Вот что пишет по этому поводу известный израильский художник Лев Сыркин, репатриант из Москвы (1972):

«Книга вышла – «Монументальное искусство в Иерусалиме» (издательство М.А. Фиози). Шикарно издана! Большого формата, цветные фотографии. Сотня имен. Солидный текст. А про тебя там и намека нет. Хотя работ твоих в Иерусалиме – несколько. И мозаику твою – «Радуга», самую большую в Иерусалиме, весь город вот уже двенадцать лет видит. Но – нет тебя в этой красивой и необъективной книге... Как будто и не жил ты в Иерусалиме пятнадцать лет, и не работал ты в этом единственном в твоём сердце городе.

А у тебя в душе – нет мании величия. И не было. А единственное – только лишь тебе и дорого быть одним из израильских ху-

дожников. И за этим только ты и приехал – стать равным, одним из «своих». Но – не видят тебя. То есть работы-то заказывают. Но в свою «мафию» художественную – не берут...

И ранен ты почти смертельно. От пустяка, казалось бы, а работать бросаешь. И себя, и семью свою мучаешь... И здоровье твое – вдруг отказывает по всем швам...» (*Лев Сыркин. «Я вам не должен!» – Иерусалим: Кахоль-лаван, 1987, с. 118-120*).

Но это лучший вариант! Хотя у Льва Сыркина далее идут еще более горькие размышления.

Не нашел себя в Израиле дирижер Юрий Аронович, который возглавлял Симфонический оркестр Министерства культуры СССР до репатриации в Израиль в 1972 году. Зато выступал с ведущими оркестрами Европы, руководил Стокгольмским филармоническим оркестром, в связи с чем был произведен королем Швеции Карлом XVI в командоры ордена Полярной звезды.

Иосиф Бродский как-то заметил, что человек, как слагаемое, от перестановки ничего не выигрывает. Трагедию можно обменять только на трагедию. Это старая истина. Единственное, что делает ее современной, это ощущение абсурда при виде ее – трагедии героев. Так же, как и при виде ее зрителей...

Художник Ефим Ладыженский смог рассказывать о себе больше, чем другие. О себе он написал и в горькой статье «В России я был больше евреем...»:

«Я хочу говорить об Израиле и о евреях. Что вам сказать? Я приехал сюда – с такой любовью, с такой надеждой... и мне обидно. Потому что оказалось, что это страна не еврейская. Да, да, она не имеет никакого отношения к евреям, хотя номинально, конечно, тут живут почти сплошь одни евреи. Я не берусь это пропагандировать, оценить рассудочно – это вне моих возможностей, я могу только констатировать это для меня, и то, чисто эмоционально.

Здесь, в Израиле, я не вижу евреев, которых я знал и любил... В Москве мне говорили, что я не умею рисовать русских, только евреев, и я этим гордился. Я знал, как называл их Бабель, «живописных, пузырящихся» одесских евреев моего детства, потом я видел их в Москве, я говорю о старых людях, таких, как я,



Ефим Ладыженский. «Я в Иерусалиме»

а не о молодых – эти для меня космополиты. Нет, Израиль – это не евреи. У них же нет никакого воображения! И это у евреев-то? Они идут абсолютно проторенными путями. Ну, например, не может же быть тут такой же парламент, как где-нибудь в западной стране. Я считаю, что в Израиле должен быть какой-то другой тип государственности, другой обязательно...» («Журнал 22», № 10, 1979).

Художнику не нравилось, что здесь репатрианты преимущественно хотят заниматься тем, чем занимались в стране исхода, – румынской или русской литературой. «Вне национального художник не существует!» – писал он.

Ему претила меркантильная сторона дела.

Претило, что не понимает, где кончается демократия и начинается тоталитаризм. Двойные стандарты, двойная жизнь... Еще хорошо, что Ладыженский не дожил до того времени, когда президент государства окажется в тюрьме, а на смену ему поспешит премьер-министр...

Художнику Ладыженскому предстояло жить по формуле Бродского.

С раннего детства он был другим: «хорошо вписывался в среду, но не смешивался с ней». В комментариях к картине «Мы кузнецы, и дух наш молод» художник писал:

«Моя политическая приверженность определилась со времени поступления в школу. Там всегда кто-то над кем-то шествовал: старший над младшим, сильный над слабым. От подшефного требуется послушания и подчинения. Он – *раб*.

Шеф же, обрета или захватив право подавлять волю другого, нагнет и, в конце концов, становится хамом. Такова сила власти – от индивида до государства...» (*Там же, с. 109*).

Он был импульсивный, богемистый... Шел напролом... Иных ничего не обижало. Иным все трын-трава. Его, будущего художника, обижало все. Мальчишки дрались. И он дрался. И бывал часто битым.

«И в школе, и в пионерском отряде я избегал всяких должностей, желая полной свободы. Я не хотел лишать ее других...»

И еще важное: там мы были евреями среди русских, здесь мы русские среди... евреев ли? Не знаю. Израильтянин, конечно, но плюс еще что-то такое... И до этого «что-то такое» еще надо добраться. В детских воспоминаниях Ладыженского есть «старик библейского вида с белой вьющейся бородой и пожелтевшими от табака усами». Это писатель Фруг. Сидя на камне, он сочинял произведения на своем еврейском языке. Идиша, который так обожал Ладыженский, он в Израиле почти не слышал... Нечто

подобное происходило с артистами еврейского театра, когда они после войны возвратились во Львов. Их поразило абсолютное отсутствие идиша на улицах. Мужчины впали в депрессию, от тоски запили. Великая актриса Ида Каминская бродила по улицам и не могла найти себе место. Видимо, такую же тоску испытывал и Ефим Бенционович. После войны в Одессе или у нас в Черновцах евреи перекликались на идиш, даже если один из них стоял на противоположной стороне улицы...

В картине «Мы кузнецы, и дух наш молод» на сцене поющие пионеры (наверное, где-то среди них, видимо, во второй шеренге, затесался и маленький Ефим). А руководитель хора, держа одну руку на клавишах пианино, другую руку победно выбросил вверх. Очень характерный патриотический жест. В глазах художника (в отличие от картины из цикла «Конармия») это выглядит довольно иронически...

Художник вообще тонкое, ранимое создание. И у Ефима Ладыженского были причины трагически смотреть на то, что происходит вокруг. Да, количество новых репатриантов – художников, музыкантов, литераторов, деятелей культуры – зашкаливало. Но, увы! Культуры не бывает много. Ее бывает только до обидного мало...

Как пишет художник Тата Сельвинская (дочь известного поэта Ильи Львовича Сельвинского), Ладыженского мучило все: «отсутствие справедливости, отсутствие признания, отсутствие денег – унижение».

Но, конечно, этого человека, этого мученика больше всего мучила болезнь. При этом тот же доктор Мэтью Байгелл отмечает: «Какие бы демоны не мучили Ладыженского, искусство не будило в нем злобы и агрессии... Даже самая жесткая его серия – «Каркасы» – кажется мягкой рядом со зверскими образами, вызванными к жизни как сюрреалистами, так и советскими нонконформистами».

О себе как о художнике-еврее Ладыженский говорил: «Искусство не несет в себе враждебности. Горечь и доброта, горе и смех всегда сопутствовали моему народу. Это национальные черты еврейского художника и художника, чьи предки были евреи... Созданные мной работы – плод наполненной страданиями жизни и огромных усилий – явно принесут людям пользу. Мои работы доживут до своего Вечного Зрителя. Я верю в это всем своим разбитым, раненым

сердцем» (*Ефим Ладыженский. Личность и творчество. Составитель Григорий Анисимов. – Москва: Мусажетъ, 2008, с. 138*).

Это ли пессимизм? Это ли самодурство «упрямого старика», как поведал нам о нем один высокомерный интеллеktуал?

Между прочим, Ефим Ладыженский хорошо знал общую беду репатриантов. Но высказал мысль об этом еще задолго до отъезда в Израиль. Художнику Екатерине Григорьевой он сказал: «Вот вы думаете, что вы не советские, что вы в корне отличаетесь от всего того, что вы не приемлете, а на самом деле «советскость» въелась в вас, в руку» (он показывал жестом) и т. д.

Да, он был особенный. Потому и сетовали друзья и коллеги: «Как же сейчас его живопись необходима, когда все уходит-уходит-уходит. И остается только искусство...» (*Там же, художник Екатерина Григорьева, с. 133*).

6

Его наполненность Одессой вспоминают все. Он любил не только центр города, он любил окраины, местечки с их еврейскими сюжетами.

Бытовая и культурная среда, из которой Ладыженский вышел, сыграла не просто важную роль в его жизни, а роль судьбоносную.

Еврейское население Одессы в год его рождения (1911) составляло чуть ли не половину жителей. Еврейство и Одесса были точками отсчета в кровавом и яростном мире художника. Здесь ему все было достаточно, как говорил Бабель: стакан чаю и немного отставного Бога.

Вся сказочность и романтичность города перешла в его полотно. И еще театральная таинственность. Его многочисленные театральные работы в качестве художника в разных городах сослужили добрую службу. Его последующие картины стали пластичны, не потому что это станет модным, а потому что это был естественный этап в его работе.

Одесса для Ладыженского стала колдовством. Он и сам был Колдун. И колдовство было привычным. Одесский люд. Мотивы его поступков. Неожиданные ситуации. Энергичный и живописный язык.

Смотрю на его одесские работы. Он более чем кто-нибудь другой имел право сказать: «Моя Одесса». Лукавая, ироническая или просто смешная...

Одни названия картин вызывают улыбку. «Наш театр горит». Пожарные, пожарные, пожарные... Люди, кони... А вдруг театр горит совсем не в том смысле? А как нетерпеливы молодцы, отправляющиеся к подружкам! (Картина «Налетчики едут крутить любовь».) Один искусствовед мне сказал: «Налетчики мчатся, а лошадь почти стоит». Да, так, но это по контрасту. И потому, что в этот момент сами налетчики интересуют художника куда больше, чем лошадь, которая скачет там, где это уместно... А цветочный ряд «Дорогой Саррочке от Фимы»!

Он работал как мул. Сам выбрал это каторжное дело, точно галерник, прикованный на всю жизнь к веслу и полюбивший эти весла.

И всю эту действительность ему предстояло воплотить в искусстве.

Конечно, еврейский ум может быть и алчным, безжалостным и изворотливым. У Ладыженского ум был жертвенным...

Чаще всего в жертву он приносил себя...

7

Говорят, что смерть искала его. Ходила за ним по пятам.

Думаю, все наоборот. Он сам искал смерть. Всеми силами притягивал ее. Указывал на себя: «Вот он я, вот! Режь острой косой...».

Страдая от огромного количества напастей, он с величайшим нетерпением в сладостном предвкушении считал дни и мгновения, оставшиеся в его распоряжении до предначертанного свыше конца его света. И конец света был не за горами. Главное – как распорядиться этими последними часами.

Человек под угрозой смерти, скорее всего, должен ощущать немедленный прилив к жизни. Ибо он потерял не вкус к жизни как таковой, а к ее привычной обыденной версии. И все его разочарования являются скорее следствием собственного образа жизни, а не мрачными и угрюмыми чертами человеческого существования. «Но в чем состоит жизнь, ее смысл, ее цель?» – спра-

шивает он себя. И, думая о пустых страницах дневника своей жизни, получил ли он на эти вопросы исчерпывающие ответы?

Увы! Нам не дано это знать. Может быть, потому, напуганные до полусмерти тиканьем часов, ведущих обратный отсчет, мы творим такое множество глупостей... Наверняка из наших знакомых есть люди (а быть может, и мы сами), которые хотели бы знать, чему учит Земля обетованная художника Ладыженского. Но ведь «нет правды на земле, но правды нет и выше». Люди сплошь и рядом прагматики. Как утверждал кто-то из журналистов: «России только один раз повезло с царем, он открыл границы России. Решил организовывать университеты, дал право хождению в России иностранной валюты, отменил запрещение на театральные представления, предпринял серьезные шаги по модернизации государственного строя. Это был Лжедмитрий Первый. Один из самых отрицательных персонажей российской истории. Его дела и планы были великолепны. Но с какой яростью и ненавистью его вспоминают!».

В Израиле Ладыженский стал извлекать образы из самого себя («Люблинское кладбище», «Вечный жид», «Корни», автопортреты, еще раньше – «Каркасы»). Какими бы драматическими или трагически они не казались, они все же помогали замедлить умирание. Наверняка художник понимал, что где-нибудь сидит же на белом свете их зритель. Их Тайный Вечный Зритель. Просто он еще не пришел. Его зритель, ну, скажем, учитель рисования, читает не лекции по искусству, а лекции по маркетингу. Он, этот учитель, очень последователен: залай или оголи зад перед студентами... Но этого он не делает, значит, учит не «академизму», а зарабатыванию денег. Парадоксально оставаясь при этом «паркеточным революционером», черпающим вдохновение в разрушительной энергии русского авангарда. Получается, кому-то нужно, чтоб были именно такие преподаватели, чтоб их желание передавалось, а их эстетика наследовалась. Это самое страшное.

Нужен герой. Но и герой бывает разным. Есть герой и есть Джеймс Бонд, который тайком проникает во все щели, предпочитает интригу открытому столкновению, деятель тайной разведки. И такому герою должно соответствовать другое искусство. Оправдывающее ту модель поведения, которая питает

вседозволенность и нравственный релятивизм. Найдем героя – вернем искусство, найдем в герое себя.

В истории мировой живописи Ефим Ладыженский остается художником недооцененным. Его прижизненные успехи (а они очевидны) говорят сегодня лишь об одном – о грандиозном жестокосердии современников, не воздавших художнику должное, отказавшие ему в признании заслуги перед искусством, а значит, и в истинной славе, на которую втайне рассчитывал (и был вправе рассчитывать) Ефим Ладыженский.

В Израиле у Ефима Ладыженского были три успешных персональных выставки. Правда, ни одной работы музеи не купили.

В своей горькой статье он, видимо, определил, что жизнь в Израиле, скорее всего, походит на ссылку. И он сознательно превращал свои образы в условные знаки, чтобы зритель не задерживался на них взглядом, а проникал за них мыслью...

Да, надеясь на понимание потомков, хотел, чтоб на чем-нибудь задержались взглядом. Ладыженский многое превращал в безусловно ясные знаки («Каркасы», «Вечный жид»). Понимал, что его достоверные рассказы сочтут невероятными. Истоки его вымысла – предмет чересчур тонкий и неуловимый, чтобы пускаться по его поводу в рассуждения.

Но как бы то ни было, утешает одно: творчество самого Ефима Бенционовича Ладыженского. В нем заключено, быть может, нечто высшее, божественное возмездие за страсть к вымыслу. В таком случае Мастер это возмездие заслужил...

Ашкелон



Белла Верникова

Не модная сторона улицы

Эссе

Леди Брэкнелл. Не модная сторона. ... Но это легко изменить.

Джек. Что именно – моду или сторону?

Леди Брэкнелл (*строго*). Если понадобится – и то и другое.

Оскар Уайльд. Как важно быть серьезным (Пер. И. Кашкина)

– Он известный писатель.

– А что он написал?

– Что-то написал, но очень известный.

Из разговора

Работу в литературном музее я получила благодаря своим переводам украинской поэзии. Один из одесских поэтов, стихи которого я переводила, Валентин Мороз, издавший на украинском несколько книг, был назначен заместителем директора будущего музея, он представил меня директору и основателю литературного музея Никите Алексеевичу Брыгину. Узнав, что я перевожу стихи Бориса Неcherды, тогда популярного в Одессе, и что мой отец демобилизованный офицер, Никита Алексеевич сказал – вы пойдете в отдел современной литературы, который занимается и военными писателями. Надо поехать в Киев и Москву, где живут родственники журналистов, участвовавших в обороне Одессы, и собрать оставшиеся у них документы и материалы. Так была определена моя жизнь на ближайшие годы.

Дело было в 1978 г., Одесский литературный музей осваивал выбитое Н.А. Брыгиным у городских властей здание – бывший дворец князя Д.И. Гагарина, который еще освобождался

от многочисленных прижившихся там организаций, и имел запущенный вид, ожидая будущей реставрации и комплектуя состав сотрудников. Работая в музее, я познакомилась и подружилась с людьми, оказавшими на меня большое влияние в отношении к жизни, культуре и к собственной литературной работе. Позже меня перевели в отдел дореволюционной литературы, и я не только собирала материалы по представленным в литмузее писателям (один из найденных и привезенных мною мемориальных экспонатов – чернильница Николая Георгиевича Гарина-Михайловского), но и работала в архивах и библиотечных обменных фондах Москвы и Ленинграда.

Приведенная выше автоцитата из эссе «Торопись, покупай живопись» демонстрирует мой давний интерес к «писателю второго ряда», как характеризуют Гарина-Михайловского современные исследователи русской литературы.

К примеру, авторы выставленной в сети на одном из педагогических сайтов программы предлагаемого школьного курса «Семейная хроника в русской литературе XIX-XX веков» Татьяна Костылева и Светлана Немцева пишут в пояснительной записке:

«Жанр семейной хроники в русской литературе оказался незаслуженно забытым, и произведения писателей, работавших в этом жанре, не занимают должного места в школьной программе по литературе. К таким писателям можно отнести С.Т. Аксакова, Н.Г. Гарина-Михайловского и других (даже термин возник: писатели второго ряда)».

Об условности понятий первого и второго ряда свидетельствует литературный дебют Николая Гарина-Михайловского, как сообщается в его биографии в Википедии: «Группа московских литераторов намеревалась купить... захиревший журнал «Русское богатство», но не располагала наличными; Станюкович предложил Михайловскому принять участие в этом проекте и внести пай деньгами. Николай Георгиевич сумел достать денег, перезаложив свое имение, и с 1 января 1892 г. «Русское богатство» перешло в руки новой редакции, причем официальной издательницей его числилась теперь Надежда Валериевна Михайловская (жена Гарина-Михайловского. – **Б. В.**). В первых трех номерах обновленного журнала напечатана была повесть

«Детство Тёмы», подписанная псевдонимом «Н. Гарин». Повесть была очень благожелательно встречена и читателями, и критикой. Не меньший успех имела книга очерков «Несколько лет в деревне», печатавшаяся с марта 1892 г. из номера в номер в журнале «Русская мысль». Автор сразу выдвинулся в первый ряд писателей своего времени».

Журнальные публикации повести «Детство Тёмы» и очерков Гарина-Михайловского производили на читателей сильное впечатление, о чем вспоминал в мемуарах 1925 г. его молодой коллега писатель Степан Гаврилович Петров-Скиталец, красочно рисуя портрет и биографические подробности насыщенной событиями жизни известного литератора, инженера и предпринимателя:

«Однажды, зайдя в редакцию «Самарской газеты», в Самаре, в конце девяностых годов, я встретил там незнакомого мне седого человека барской наружности, разговаривавшего с редактором и при моем появлении вскинувшего на меня красивые и совершенно молодые, горячие глаза.

Седой человек с какой-то особенной непринужденностью отрекомендовался, пожимая мою руку своей маленькой холеной рукой.

– Гарин! – сказал он кратко.

Это был известный писатель Гарин-Михайловский, произведения которого тогда часто появлялись в «Русском богатстве» и других толстых журналах. Его «Деревенские очерки» с большим вниманием и похвалой разбирала серьезная критика, а блестящая повесть «Детство Тёмы» признана была первоклассной.

Встреча в провинциальном городе с настоящим писателем, приехавшим из столицы, для меня была неожиданной.

Гарин был замечательно красив: среднего роста, хорошо сложенный, с густыми, слегка вьющимися седыми волосами, с такой же седой курчавой бородкой, с пожилым, уже тронутым временем, но выразительным и энергичным лицом, с красивым, породистым профилем, он производил впечатление незабываемое...

Он путешествовал вокруг света, гостил в Корее и Японии. В России занимался главным образом инженерством: был опытным инженером-строителем... ненадолго делался помещиком и дивил опытных людей фантастичностью своих сельскохозяйственных

предприятий... Занимался лесным делом, арендовал имения, брал казенные подряды. Иногда становился богатым человеком, но тотчас же затевал что-либо безнадежно фантастическое и вновь оказывался без копейки. В дни богатства всех сбивал с толку бесцельной щедростью... Писал большею частью в дороге, в вагоне, в каюте парохода или номере гостиницы: редакции часто получали его рукописи, написанные (отправленные) с какой-нибудь случайной станции с пути его следования.

Писал не для славы и не для денег, а так, как птица поет, так и Гарин писал – из внутренней потребности».

Из приведенного фрагмента воспоминаний вырисовывается характер писателя, истоки которого находим в герое его биографической повести «Детство Темы» – взрывной темперамент, импульсивные фантазии, отвага и безрассудство восьмилетнего ребенка с постоянным страхом недовольства строгого папы-генерала и жадной одобрения любящей мамы, с региональной одесской спецификой окружения Темы Карташева в «наемном дворе». Там он мог «носиться с ребятишками» из бедных семей: «Наемный двор – громадное пустопорожнее место, принадлежавшее отцу Темы, – примыкало к дому, где жила вся семья, отделяясь от него сплошной стеной. Место было грязное, покрытое навозом, сорными кучами, и только там и сям ютились отдельные землянки и низкие, крытые черепицей флигельки. Отец Темы, Николай Семенович Карташев, сдавал его в аренду еврею Лейбе. Лейба, в свою очередь, сдавал по частям: двор – под заезд, лавку – еврею Абрумке, в кабаке сидел сам, а квартиры в землянках и флигелях отдавал внаем всякой городской голытьбе. У этой голи было мало денег, но зато много детей. Дети – оборванные, грязные, но здоровые и веселые – целый день бегали по двору».

В своих эссе я не раз затрагивала проблему перехода от сложившейся в 19-м веке модели литературной иерархии (писатели первого или второго ряда) к социокультурной модели литературного пространства: «Культурологическая модель литературного пространства наиболее приемлема в условиях безграничного расширения русского литературного зарубежья и развития Интернета», см. в книге «Из первых уст. Одесский текст: историко-литературные аспекты и современность. Эссе, статьи, интервью»

(М.: Водолей, 2015, с. 100). В русском литературном Интернете на портале «Lib.Ru/Классика» выставлено Собрание сочинений Н.Г. Гарина-Михайловского, его биографическая справка, библиография и отклики на его творчество, в том числе упомянутый очерк Петрова-Скитальца. Как сообщается в представленной на этом портале биографии Н.Г. Гарина-Михайловского из дореволюционного «Русского биографического словаря»:

«Гарин – псевдоним беллетриста Николая Георгиевича Михайловского (1852-1906). Он учился в одесской Ришельевской гимназии и в институте инженеров путей сообщения. Прослужив около 4 лет в Болгарии и при постройке Батумского порта, он решил «сесть на землю» и провел 3 года в деревне, в Самарской губернии, но хозяйничанье не на обычных началах не пошло на лад, и он отдался железнодорожному строительству в Сибири. На литературное поприще выступил в 1892 г. имевшей успех повестью «Детство Темы» («Русское богатство») и рассказом «Несколько лет в деревне» («Русская мысль») ... У автора есть живое чувство природы, есть память сердца, с помощью которой он воспроизводит детскую психологию не со стороны, как взрослый, наблюдающий ребенка, а со всю свежестью и полнотою детских впечатлений».

Прочтение хорошо написанных, но забытых произведений писателя «не первого ряда» в мировом историко-литературном контексте может вернуть достойную литературу в круг современного чтения, сделать немодную сторону улицы модной. В случае с литературным наследием Николая Георгиевича Гарина-Михайловского успешно работает контекст романа воспитания (семейная хроника) и региональный одесский контекст.

В биографической повести «Детство Темы» воспитанием детей в семье Карташевых занимается мама Аглаида Васильевна, добрым любящим сердцем учитывая тонкую психику ребенка и последствия его отношений с окружающими. После того как отец высек Тему за бесконечные шалости, «горьким чувством звучат ее слова, когда она говорит мужу:

– И это воспитание?! Это знание натуры мальчика?! Превратить в жалкого идиота ребенка, вырвать его человеческое достоинство – это воспитание?!

Желчь охватывает ее. Вся кровь приливает к ее сердцу. Острой, тонкой сталью впивается ее голос в мужа.

– О жалкий воспитатель! Щенков вам дрессировать, а не людей воспитывать!

– Вон! – ревет отец.

– Да, я уйду, – говорит мать, останавливаясь в дверях, – но объявляю вам, что через мой труп вы перешагнете, прежде чем я позволю вам еще раз высечь мальчика.

Отец не может прийти в себя от неожиданности и негодования... и возмущенно шепчет:

– Ну, извольте вы тут с бабами воспитывать мальчика!»

Поведение матери в повести Гарина-Михайловского соответствует распространенным тогда идеям воспитания детей. Задаваясь вопросом «Как менялось отношение к материнству в различные исторические эпохи?», социолог Ольга Исупова отмечает, что к концу 19 в., до Фрейда, господствующей была идея воспитания Руссо: «среди многих образованных женщин, в основном дворянок, возникла мода на эту идею и в Европе, и в России... Мать должна была, во-первых, рожать детей, во-вторых, должна была заниматься их воспитанием, кормить (сама или нет – были варианты), и она должна была распознать талант этого ребенка и решить, что с ним делать, каким будет его будущее, как бы угадать это. Это и был интенсивный эффект. То есть мать должна была уделять ребенку очень много времени, много усилий и в меру всех своих возможностей, напрягая все свои ресурсы: образование, способности и так далее».

Задуманные беседы с мамой в повести «Детство Темы» посвящены социализации ребенка – усвоению им социальных норм, культурных ценностей и образцов поведения в обществе – в том числе воспитанию доброго отношения к людям более низкого социального происхождения, что представляется существенным для мамы Темы в ходе разбирательств его поведения, когда сословный гонор генеральского сына способствует совершению неблагоприятных поступков. Это и случай на скотном дворе, где Тема очутился с ватагой ребят, – «рассвирепевший бык, оторвавшись от привязи, бросился на присутствовавших, а в том числе и на Тему. Тему едва спасли. Мясник, выручивший его, на проща-

ные надрал ему уши. Тема был рад, что его спасли, но обиделся, что его выдрали за уши... Когда выдравший его за ухо мясник поравнялся с ним, Тема размахнулся и пустил в него камнем, который и попал мяснику в лицо». И история с лавочником Абрумкой, у которого Тема брал орехи для игры в «дзигу» с дворовыми мальчишками, обещая заплатить за орехи, выдумав, что мама и горничная Таня подарят ему деньги в день рождения. Как всегда, мама пришла на помощь, но, вернув деньги, мальчик «хотел сказать Абрумке, что он не смеет трепать его по плечу, потому что он – Абрумка, а он Тема – генеральский сын, но что-то удержало его».

Живший в Одессе в 1850-60-е гг., до окончания Ришельевской гимназии и поступления в Петербургский институт инженеров путей сообщения Николай Михайловский общался с многочисленным еврейским населением города, что нашло выражение в его творчестве. Как сказано в предисловии моей книги «Из первых уст»: «Невозможно обойти специфику межнационального общения в одесском тексте русской литературы, определившую его содержание». В 1903 г. в 4-м номере петербургского журнала «Образование» опубликованы три текста Н.Г. Гарина-Михайловского, напечатанные ранее «в разных провинциальных газетах» (примечание автора) – «Художник», «Гений», «Вероника». Эта публикация представлена в числе произведений писателя на интернет-портале «Lib.Ru/Классика»: Тени земли [1903] Проза.

В рассказе «Гений» изложена Гариным-Михайловским и закреплена в людской памяти уникальная одесская история – старый еврей, ведущий нищенское существование и плохо понимающий русский язык, свел знакомство с отставным учителем математики, две эти странные личности сошлись на поклонении математике, и бывший гимназический учитель обнаружил в записях старого еврея математическое открытие, давно известное в науке, к которому тот пришел собственным путем. Старого еврея пригласили в университет и объяснили, что именно он открыл:

«В зале заседали математики всего университета, всего города, заседал и старый еврей, такой же безучастный, со взглядом вверх, и через переводчика давал свои ответы.

– Сомнения нет, – сказал еврею председатель, – вы действительно сделали величайшее из всех в мире открытий:

вы открыли дифференциальное исчисление... Но, к несчастью для вас, Ньютон уже открыл его двести лет назад. Тем не менее ваш метод совершенно самостоятельный, отличный и от Ньютона, и от Лейбница.

Когда ему перевели, старый еврей спросил хриплым голосом:

– Его сочинения написаны на еврейском языке?

– Нет, только на латинском, – ответили ему».

Как указано в авторских примечаниях, «в основание рассказа взят истинный факт, сообщенный автору М.Ю. Гольдштейном. Фамилия еврея – Пастернак. Автор сам помнит этого человека. Подлинная рукопись еврея у кого-то в Одессе».

Что касается фамилии прототипа героя рассказа «Гений», он мог быть в родстве с Борисом Пастернаком – как и арендаторы наемного двора из повести «Детство Темы», дед поэта держал в Одессе, в районе Нового базара, заезжий двор с номерами, из окон которого Леонид Пастернак восьмилетним ребенком видел одесский погром 1871 г., о чем рассказывается в его воспоминаниях, полученных мною от внучки художника Анн Пастернак Слейтер для публикации в № 12 (2011 г.) одесского альманаха «Мория».

О том, что проза Гарина-Михайловского не оставляет современных читателей равнодушными, говорит и тот факт, что на одном из математических сайтов было высказано сомнение в правдивости рассказа «Гений»:

«Уж если Пастернак не знал о работах Ньютона и Лейбница, то о работах их предшественников он и подавно знать не мог. Значит, чтобы сделать последний самостоятельный решающий шаг, он должен был сделать и все предшествующие шаги, то есть заново переоткрыть все, что на протяжении 2 тысяч лет открыли величайшие математические умы. Но совершенно очевидно: такое не под силу ни одному, даже сверходаренному человеку» (<http://tehnо-science.ru/gipotezy-1410.html>).

Гарин-Михайловский в самом рассказе отвечает автору данной интернет-записи – «старый еврей спросил хриплым голосом: – Его сочинения написаны на еврейском языке?». Религиозным евреям известны были еврейские трактаты по математике доньютоновского периода, использовавшиеся в Талмуде для

расчета календаря и пр., напр.: «К 14 в. относится также трактат на мишнаитско-талмудическом иврите Авнера из Бургоса... Попытка автора доказать пятый постулат Евклида, исходя из соображений кинематики, свидетельствует, что его внимание уже привлекали те области математики, развитие которых привело в 17 в. к созданию дифференциального и интегрального исчисления, а в 19 в. – к неевклидовой геометрии», см. статью «Математика» в «Краткой еврейской энциклопедии» (Т. 5) (<http://www.eleven.co.il/article/12661>).

Еще о региональном контексте – восприятие моря в биографической повести Гарина-Михайловского «Детство Темы» составляет одну из лучших страниц в морской романтике одесской литературы: «Он стоял на берегу моря; нежный, мягкий ветер гладил его лицо, играл волосами и вселял в него неопределенное желание чего-то, еще не изведенного. Он следил за исчезающим на горизонте пароходом с каким-то особенно щемящим, замирающим чувством, полный зависти к счастливым людям, уносившимся в туманную даль!».

«Детство Темы» – замечательная книга для семейного чтения с детьми. Подробно описанные в ней разговоры Темы с мамой, когда она выслушивает объяснения, находя истинные причины поступков сына и исподволь его воспитывая, представляют ценность и для сегодняшних родителей, что укрепляет мотивацию возврата литературного наследия Николая Георгиевича Гарина-Михайловского в круг чтения современного читателя.

Иерусалим



Феликс Кохрихт

Театр уж полон!

К юбилею Нины Федоровой

Мы дружим с Ниной и Славой с прошлого века. За эти немалые годы я не раз писал об их семейном и творческом союзе, который полагаю одним из самых гармоничных и плодотворных в среде одесских художников. Подобных не много: не так-то просто не только ужиться, но и доверительно сотрудничать, если судьба сводит двух талантливых, волевых и амбициозных мастеров. Нине Федоровой и Станиславу Зайцеву это удалось.

Более того, их творчество (и в дуэте, и соло) – продукт синергии: так нынче именуют эффект сложения сил и энергий, приемов, прилагаемых разными личностями для достижения одной цели. В данном случае – создания своего театра-на-двоих: материального и виртуального, явного и потайного, но, несомненно, имеющего свою публику и своих хроникеров. Одним из них являюсь я.

Недавно Слава передал мне статьи из одесских газет, в которых я писал о Нине и о нем. Так вот, только сейчас, как говорится, листая старые страницы, заметил, что представление о своих друзьях как о театральной труппе сложилось у меня еще в декабре 1983 года – после их совместной выставки в Музее западного и восточного искусства, и укрепилось спустя 34 года – в январе 2017, когда я пишу эти заметки, посвященные юбилею Нины – весьма серьезному, но никак не вяжущемуся с ее обликом и творческим потенциалом.

Тогда, 34 года назад, Слава и Нина создали в музейном пространстве свои локации. Он, театральный художник, показал эскизы к сценографии поставленных и будущих спектаклей,



Нина и Слава

макеты декораций. Она же, художник-керамист, выстроила на планшете режиссерскую экспликацию действия с участием своих дивных фигур, фигурок, композиций, аксессуаров из фарфора и шамота – материала, который принято считать неживым. И каждый зритель мог в соответствии со своим воображением мысленно разыграть на этом пространстве комедию, драму, трагедию.

Работы Федоровой входят в экспозиции музеев, галерей, в частные коллекции. Их можно увидеть в фойе и холлах театров, в частности нашего ТЮЗа. На очередной премьере в Одесском академическом театре музыкальной комедии, где Станислав Зайцев – главный художник, я сразу же замечаю не только его новации и профессиональные ходы, но и то, что они во многом родились и при участии Нины – с ее безупречным вкусом и эрудицией. В то же время пространственное решение ее композиций, полагаю, родилось в содружестве со Славой, имеющим большой опыт построения масштабных и камерных конструкций.

Но есть в их совместном творчестве жанр, в котором работы создаются сообща, – не в концептуальном смысле, а, как говорится, в четыре руки. Графика – акварель, гуашь, смешанная техника. Недавно выставка таких общих рисунков прошла в нашем Пушкинском музее, а к нынешнему дню рождения Нины Слава втайне от жены создал и издал альбом их совместных графических композиций и дал ему название: «Посвящение».

И Нина Федорова, и Станислав Зайцев уже вошли в историю одесского искусства, но разговор об их личностях и творчестве – в самом разгаре. Он продолжится и на страницах нашего альманаха, а я в заключение этих кратких заметок позволю себе предположить, к какому же театру относится тот, что создан нашими земляками вовне и внутри себя. Пожалуй, это – не античный, не эпохи классицизма, не по Станиславскому, а скорее всего – театр дель арте, театр масок. Веселый и грустный, легкомысленный и мудрый, площадной и изысканный... Театр Гольдони, Вахтангова. Феллини, Габриадзе...

К нынешнему Новому году Нина и Слава подарили Тане и мне рисунок, который мог бы стать их эмблемой: огненный роскошный сказочный петух – символ 2017, Шантеклер Ростана, пушкинский Золотой петушок, сказочный персонаж – масляна голова, шелкова бородашка...

Чем не знак театра-на-двоих!





Работы
Нины
Федоровой





Работы Станислава Зайцева

Ефим Ярошевский

Про Даниила Марковича Шаца... про Даню

...Мы любили тогда, в относительной нашей юности, повторять строчку из Эдуарда Багрицкого: «...Итак, бумаге терпеть невмочь, ей надобны чудеса!».

Легко сказать, чудеса!..

Но когда у Дани в руках оказывалась новая книга, он очень быстро ее осматривал, обнюхивал, перелистывал «по диагонали»... и почти сразу распознавал, что чуда *не* предвидится. Если в книге нет чуда *слова*, тогда зачем она? И читать дальше было глубоко неинтересно...

Либо наоборот – сразу понимал, что перед ним добротная проза или талантливые стихи.

Он знал толк в литературе и хотел, и жаждал, просто требовал от автора качества!

И потому показывать ему что-либо из свеженаписанного, но недостаточно завершенного, было опасно...

У него было хорошее чутье на хорошие книги, на талантливей, а равно и на бездарный текст.

Но об этом позже.

.....Когда именно и где мы познакомились с Даней, я уже не помню.

Такой ощущение, что он был в Одессе *всегда*. Жил в ней и я. Тоже всегда. И еще много моих друзей и знакомых в ней живут и всегда жили, и будут.....

...А на Пушкинской, № 56, на втором этаже вполне красивого дома жил Даня Шац. И мы приходили к нему. Еще тогда, в 60-е. Когда достать хорошую книгу было почти невозможно. А у него

эти книги были, вполне редкие, и для многих – пока недоступные. Но приходили мы не читать, а разговаривать.

У него были книги почти «недостижимых» тогда поэтов. На полочках стояли стихи – Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака... И даже – Осипа Мандельштама – великого русского поэта и еврея, убиенного советского зека...

Драгоценные книги в его шкафу мерцали как бы старинным золотом зеленых и синих корешков. Ему привозили книги из Москвы вполне надежные друзья. Иные он «доставал» на Староконном рынке в Одессе – и, видимо, по большому благу... Отказывая себе во многом. Ибо книги эти были не дешевы.

...Но это было уже чуть позже. А пока – дружили тогда на ветру – три достаточно молодых человека: Даня Шац, начинающий, очень инициативный и многообещающий, но не достигший еще заветных лавров скромный режиссер при парке Победы...

Будущий замечательный русский и украинский поэт Боря Нечерда, уже тогда пишущий талантливые стихи на русском, а потом уже – на украинском языке...

И молодой и крепкий, хорошо физически подготовленный инструктор физкультуры и тренер по вольной (или невольной?) борьбе и, кроме того, – начинающий художник и скульптор, а уже потом, много позже – вполне состоявшийся писатель – Вадим Чирков. Пока же он – только Вадик. Этих троих объединяла молодость, несомненная одаренность, нищета... и жажда жизни. Неутолимая жажда еды, любви, славы и хорошего молдавского вина. Сходило порой и плохое!

Еще их объединяли *поиски*. Поиски приключений и работы! Жажда творчества и свободы... То, чем было «обуяно» большинство молодых и далеко не бездарных людей моего поколения.

Я познакомился с каждым из них в разное время. Но сейчас – речь о Дане, о Данииле Шаце. Который пока еще не стал Даниилом Марковичем. Который много позже стал в Одессе человеком известным и вполне легендарным...

Просто Даней Шацем.

Никаких общих слов и «характеристик». Только то, что я действительно помню. Несколько эпизодов. Не соблюдая хронологической последовательности.

.....

...Мы не были «закадычными» друзьями. Но друзьями мы были. Как-то я показал ему несколько своих стихотворений. Они ему понравились. Просил почитать еще... Впрочем, он всегда относился ко мне, скажем так, с интересом. Независимо от стихов. Я к нему тоже. Видимо, возникала взаимная симпатия. Хотя мы и любили друг над другом подтрунивать...

Мне всегда был любопытен его «взгляд на вещи» – взгляд нестандартный, оригинальный и свежий. С ним не бывало скучно. Он с самого начала нашего общения – был умен и непредсказуем. И потом – это обостренное чувство юмора! Это просто счастье, когда в беседе можно было свободно и всласть похохотать... над глупостью и идиотизмом официоза. Да, мы были откровенно непочтительны по отношению к власти.

– Понимаешь, старик, – говорил он, – «они» уже с трудом понимают, что происходит. Или делают вид, что не понимают. Но лгут они *всегда*. «Они» уже не могут без этого. Гнилой интеллигенции, то есть нам с тобой, активно не доверяют, всячески подозревая нас в крамоле. И, в сущности, они правы! Но честно спросить боятся. Вдруг мы им все объясним «по-своему»? То есть скажем правду. И что тогда?

Но при этом Даня как-то ухитрялся работать в официальных учреждениях, работать с «ними», служить в системе культуры, «отвечая», как тогда говорили, за идеологию и эстетику... Заниматься и даже «отвечать» за Юморину... а уж за «Конкурс красоты» – и подавно! Ну и т. д.

Но так жил не только он. Так жила вся (или почти вся) советская интеллигенция.

Но он вряд ли подозревал, как трудно ухитряться внушать ученикам «крамолу», работая в школе учителем (как это делал я) – преподавателем языка и литературы в советской – и вполне средней – школе. И мне все же удавалось говорить детям то, что я хотел. Хотя... далеко не всё и далеко не всегда.

.....

...Помню почти витую, давно потерявшую непорочную белизну, местами уже разрушенную временем и хорошо освоенную котами... мраморную лестницу, ведущую к его старинной коммунальной

квартире на втором этаже, где он жил с мамой и младшим братом. И клавиатуру кнопок (звонков). Мама Дани поила нас чаем и тут же убегала на работу. За окнами шел дождь... Кажется, был уже ноябрь. На улице было довольно мерзко. Уютно устроившись в кресле и усадив меня (с чаем и с лимоном), Даня, отчаянно грасируя и наслаждаясь текстом, читал вслух стихи:

«Давай ронять слова /пауза.../,
как сад, янтарь и cedру,/
размеренно и щедро,/
едва,
едва,
едва...»

– Ну как? – с восхищением спрашивал он меня...

Тут раздается телефонный звонок... И хозяин, извинившись, долго беседует с явно заинтересовавшей его знакомой девушкой...

Пастернак и гость были на время забыты.

...Конечно же, Даня не был соткан сплошь из добродетелей. Были у него и слабости, и промахи, и неверные шаги, и, наверное, срывы... Но юмор, но сочувствие, если у тебя беда, и подчеркнутое хладнокровие в решении «проблем» – он умел продемонстрировать как никто.

Конечно, мы своих друзей, как правило, идеализируем и романтизируем. И тут уже ничего не поделаешь. И слава Богу! Это только нормально. И я рад, что говорить о нем хорошо мне легко и приятно.

Несколько эпизодов. И только то, что помню...

.....Как-то встретились мы на Пушкинской, настроение у меня было скверным – что-то не заладилось дома или на работе... уже не помню. Я куда-то безнадежно шел, видимо, после изнурительного школьного дня. Он внимательно на меня посмотрел и огорченно спросил: «Старик, чем это ты так удручен? Ты мне не нравишься. У тебя сегодня какой-то затравленный вид... Так нельзя! Оглянись: сколько замечательных девушек (порой он произносил – «телок»...) гуляет, движется и глубоко дышит (!) при этом – вокруг нас и рядом!.. Они с удовольствием показали бы нам всё

(или почти все), чем так щедро наградила их одесская мама, а заодно уже и мать-природа. Но ты их сегодня не видишь – в упор. На тебя это не похоже! Извини, но с твоей фактурой – я бы...

(И тут звучал своеобразный монолог о том, что было бы, если бы... и так далее.)

...Он работал тогда, кажется, в ОМК. И еще где-то. Но где – не сказал...

Порой приглашал меня на некие мероприятия, где бывало много красивых людей и женщин – и где он, конечно же, был главным (!) режиссером – городского фестиваля «Мисс Одесса»... или прочих очередных конкурсов красоты...

Но не это было главным...

Главным было другое – шарм, обаяние, веселость, оптимизм, юмор, непредсказуемость, свобода. Главным был праздник – праздник общения!

...Помню, где-то в 60-х, кажется, Даня с восхищением читал мне (на хорошем украинском!) стихи еще молодого тогда Виталия Коротича, посвященные известному турецкому поэту Назыму Хикмету, возвращавшемуся из изгнания на родину: «Тремти, Туреччино, він вирушив до тебе!»...

Даня любил энергичный, яркий, образный поэтический язык этих стихов. Особенно выразительно эти строчки звучали у него, если учесть, как отчаянно он грассировал!

«Т’емти, Ту’еччино, він ви’ушив до тебе!».....

Однажды он познакомил меня со стихами Игоря Шкляревского, поэта, как оказалось, совершенно замечательного! Прочел мне всего одно его стихотворение, где речь шла сиротах-детдомовцах эпохи войны... Особенно вот это место: «Там реют сироты сорок второго года, там, в тучах (в небе) хор детдомовцев поет!». Потом я это стихотворение нашел в сборнике, оно прошибало до слез. Шкляревский оказался чрезвычайно близким мне поэтом. Даня, оказывается, был романтиком и даже идеалистом?!.....

...Как-то Даня долго и испытующе смотрел в своей одесской квартире на книжные полки, плотно уставленные хорошими, добротными книгами – мировой и современной классикой... А потом сказал: «Ну вот, прикинь – какое огромное количество вполне замечательных книг написано человечеством, да? Ну, будет *еще*

одна книга... ну и что? Ну, будет она, будет... но зачем она? При таком-то обилии книг в мире...». Фраза показалась мне не совсем серьезной, даже циничной. Речь, кажется, шла тогда о моей (!) новой книге... а также о той книге, которую собирался написать он, Даня Шац. Собирался давно. Я уверен, что книга могла бы быть вполне замечательной! И я сказал ему об этом. Но он ее не написал... Конечно, он был неправ тогда. Но сказал он это как-то уж очень искренне... очень задумчиво – и как бы про себя. Для себя.

...Но когда я подарил ему первое, скромное, но зато американское (!), издание моего «Провинциального роман-са», изданное в Нью-Йорке моим другом Эдвигом Арзуняном, и мы расстались на улице – а спустя неделю мы встретились, и он очень серьезно, без привычной усмешки, даже несколько удивленно и грустно, тихо сказал мне, крепко держа меня за пуговицу пальто: «Ты написал хорошую книгу, старик...».

«Очень хорошую книгу, – повторил он, внимательно и пытли-во глядя мне в глаза. – Как это тебе удалось? При нашем общем распиздяйстве...»

...Именно так было сказано.

Когда я несколько лет назад прочел ему свое стихотворение «Об охоте и о народе», где были строчки:

«Когда зазимует январь / в холодном зачумленном парке, / и звери в пустом зоопарке /

проснутся и крикнут: «Январь!» / – обрушится снежный словарь, / охотник подымет винтарь, /

прицелится в божью тварь / и выстрелит... мимо в запарке, / и тихо заплачет в винарке /

соседней страны государь...» / (ну и так далее.) – ... он сказал:

«Вот видишь, именно там, где мне с трудом что-то понятно... или скорее – абсолютно непонятно, но, по сути, именно там – настоящая поэзия! Хотя бы вот эта строчка: «обрушится снежный словарь...»?!! Какой-то абсурд, да? И вместе с тем здесь – очевиднейшая поэзия!»

Конечно же, мне это было близко – и нравилось.

...А однажды он очень уверенно и почти на ходу заменил в моем стихотворении одно достаточно бесцветное и случайное причастие «довольными» – куда более сильным и уместным (мо-

жет быть, единственным!) словом: «И сотни проснувшихся Дракул / накормлены будут вполне» /...

...совсем другое дело!

С этой Даниной правкой и вошло стихотворение «Стансы времени» в мою большую книгу «Холодный ветер Юга»...

...И все же я почему-то был уверен, что он собрал немало материала уже для своей (грядущей) книги... кое-что мне показывал, даже зачитывал! И все было очень, очень неплохо. Даже хорошо. Но книгу написать не успел. Или не сумел.

Или не захотел... а жаль!

.....У двери его квартиры, на ...?... улице обычно меня (и нас) встречал огромный рыжий кот – Макс, прекрасное могучее и вальяжное животное, почти человек, личность!.. Его можно было даже погладить. Даня и Наташа иногда позволяли это делать. Зимой этот Макс мог легко согреть озябшего человека... Пообщаться с человеком и даже внимательно выслушать его проблемы! И мне даже кажется, что он мог бы дать «дельный совет»... И никто бы не удивился. Я ловил себя на том, что жадно следил за грациозными передвижениями рыжего Макса по комнате и не всегда вникал в беседу! Грешен. Но кот был изумительно красив... Холеный, обласканный и взлелеянный. Он был прекрасен. К сожалению, он совсем недавно ушел..... (не могу сказать «умер»...)

.....Как-то зашел я к Шацу в гости. Даня угощал меня тогда замечательно приготовленной рыбной ухой (уху готовила жена Наташа, ее тогда не было дома) и хорошим ароматным вином (кажется, массандровским портвейном?) в изящных рюмочках... Сам почти не пил. Потом приготовил славный кофе – и мы долго говорили – обо всем! Вне программы. Это был наш любимый «жанр». «Вне...» Потом смотрели живопись на стенах, недавно приобретенные им книги, слушали музыку... Тогда я еще, кажется, курил. И было нам в тот вечер вполне хорошо!

.....Даня подарил мне тогда понравившуюся мне книгу Александра Гениса – «Довлатов и окрестности», книгу не только о Довлатове, но и о Бродском... А вот книгу Людмилы Штерн, тоже о Бродском, дал только почитать... С непременным возвратом! (недавно обнаружил, что она же до сих пор... у меня) Прости меня, дорогой.....

...Шли мы однажды мимо здания КГБ на знаменитой улице Бебеля (она же – Еврейская!), я тогда почему-то вспомнил Пушкина... и пробормотал вслух: «Пустынный памятник тирана, забвению брошенный дворец...», намекая на то, что, дескать, времена изменились – и с прошлым прочно покончено... и так далее. Даня меня отрезвил:

«Не скажи... – произнес он. – До забвения еще далеко...»

И мы пошли дальше... «Не люблю я этот кварталчик, однако...» – сказал он, поживаясь.

А кто любит?

.....Встретили мы как-то с Таней Шаца на той же Пушкинской ранней холодной весной – он нес в руках внушительную корзину, доверху наполненную маленькими букетиками цветов – мимозы, подснежники, ландыши. Было, кажется, 8 марта... Тут же объяснил, увидев мое и наше изумление: «Это все для женщин. Как ты понимаешь, я должен одарить *всех!*.....» Мы понимали. У меня в руках тоже было несколько букетиков. Но все же – не двадцать, не сорок... как у Данечки.

...Одно время Даня работал «в структурах»... чуть ли не в структурах городской власти. Он и сам порой посмеивался над «значительностью» своей должности. Замечательно рассказал мне однажды о своем вполне деловом знакомстве в Киеве – с Леонидом Макаровичем Кравчуком... Который, кстати, ему тогда понравился. Мне, впрочем, тоже. Слегка пижонил. «Понимаешь, старик, за мной тут должна заехать машина с личным шофером... Но минут 15 у меня для тебя еще есть...»!! Сам потом посмеивался над этой деталью. Кажется, тогда в Одессе был Боделан.

(«Другие – еще хуже!» – говорил мне о нем Даня).....

...Рассказывал мне и о том, что «повадился» ходить по городу... по ночам и в одиночестве. Не боялся. Разумеется, по делу. Осторожно и глухо намекал на какие-то отношения... с бандитами (!!) Шутил, наверное. Все могло быть... Хотя – я знаю, как легко (и элегантно!) Даня мог иногда приврать. Будем на это надеяться.

Однажды рассказал такое.

...12 станция Большого Фонтана, ночь, осень, туман... Даня возвращался из гостей (приносил на читку свой сценарий – одному знакомому киношнику, который жил там). Полный мрак, до-

вольно прохладно – пожалуй, даже холодно. Поздно, после часа ночи. Трамваи уже не ходят... Ветер, обрыв, доносится шум моря...

«И как-то мне неуютно стало... Крайне. Совсем. И холодно. Тут из темноты... возникают и медленно подходят ко мне два штымпа, два бугая... Подходят очень неспешно, вразвалочку. Это меня тогда совсем не ободрило. Один говорит: «Ну шо, гуляем? А чё так поздно? Шо там ты в сумочке прячешь?» (А в почти пустой сумке лежал этот несчастный сценарий и пачка початого овсяного печенья... Всего лишь.) Они осмотрели сумку. – Н-да, не густо... А за спиной – мрак, ночь, море. Шум прибоя. И никого... И тут меня просто *обуял* какой-то животный ужас. Что им стоит подтолкнуть человека к воде? С обрыва. Тем более что человек-то – один, а главное – жид! Они сразу это поняли. Это, как ты понимаешь, трудно не понять.

И тут вдруг... на приличной скорости по пустой дороге не-сется пустое такси. Я буквально срываюсь с места, забираю (!!) у них свою почти пустую сумочку – и бросаюсь к дороге! Пытаюсь остановить это случайное такси, почти без надежды. Странно, но машина чуть замедлила ход... как раз около меня. За рулем – женщина! Что-то она, как видно, поняла... (?) Неожиданно тор-мозит и распаивает дверцу! «Садись! Быстро...» И я сел! Машина рванула – и я, кажется, был тогда спасен... это было счастье!!

Вот такое приключение, старик. Страх, конечно же, был чисто иудейский. Хотя и общечеловеческий тоже...»

...Прошли годы. Была потом какая-то странная и мутная исто-рия с пропавшими деньгами (?). Деньги были достаточно боль-шие. Даню явно подставили... Большая сумма, вырученная за про-дажу квартиры, была просто у Дани... украдена! Даня был удручен страшно. Был явный шок. Он даже серьезно заболел после этого нелепого случая. Одно время совсем расклеился, но очень скоро пришел в себя. Взял себя в руки! «Молодчина...» – подумал я.

Так мне тогда казалось...

.....

...Сейчас вспомнил почему-то другое. Весна, погода великолеп-ная, все разнузданно цветет, все благоухает, небо – вполне голу-бое, в роскошных облаках, за спиной – Приморский бульвар, море, Пушкин, одесские куранты, гуляющие прохожие... Выхожу из Ли-тературного музея, с двумя спутницами. Кажется, хорошенькими.

На той же Пушкинской шагах в десяти от нас видим неторопливо идущего нам навстречу Шаца. Даня останавливается... и произносит – громко, как бы вопрошая пространство! – разводя руками и широко улыбаясь – следующее: «Ну почему, почему... одним – все, а другим – ничего...?» Что тут ответишь?

Но это так в его ключе!

...Потом он неожиданно подал документы на отъезд в Германию, хотя ехать никуда *не хотел*. Но однажды сказал, что это «крайне желательно». И как-то очень быстро они с Наташей получили разрешение. Мы, кстати, с Татьяной ждали... 7 лет. И тоже были удивлены, когда его получили.

Потом... потом я встречал его в Одессе – *еще* чаще, чем раньше, – именно тогда, когда он уже «жил в Германии»... Парадокс! Он не мог без Одессы...

Без города, который его взрастил, который дал ему особый, неповторимый духовный воздух, большое солнце, еще не отравленное море, друзей, возлюбленных – и реальный, и вполне насыщенный хлеб... плюс роскошь общения, без города, которому он отдал душу и сердце, – без этого города он задыхался.

Его легко было понять...

...Возраст как бы не брал Даню. Подтянутый, энергичный, подвижный, всегда четко нацеленный на очередное деловое предприятие. А однажды встречаю его... в синагоге. С молитвенником и в кипе. Это показалось мне несколько странным. Непривычным, во всяком случае. Я бывал там периодически, беседовал с замечательным раввином Шаем Гиссером, с Велвлом Верховским – естественно, о «божественном». В память родителей я посещал синагогу по праздникам. «Надо приходить сюда почаще, – наиздательно сказал мне тогда Даня. – Надо ощутить себя евреем. Пора!»

Раввин однажды посмотрел на меня очень внимательно и произнес: «Я вижу, вы колеблетесь, молодой человек?» (Это он мне, которому было уже после шестидесяти!) «Запомните: *Он* (Володя Верховский посмотрел вверх, к потолку)... *Он* этого не любит! Определяйтесь, и как можно скорее!»...

Это было сказано очень убедительно.

.....А потом с Даней произошло то, что произошло. В это невозможно было поверить. Уже будучи серьезно больным, он до-

статочно бодро отвечал по телефону: «Все нормально, старик, все хорошо!..» Тем не менее это случилось. Хотя я в это не поверил. И даже до сих пор... у меня нет в этом четкой уверенности!

(В один из приездов – мы с Таней, вместе с Наташей, были во Франкфурте, на кладбище, у его могилы....) Тоже странно.

.....Однажды осенью шли мы с ним все по той же Пушкинской, город и мостовую заносило мокрой листвой, дул ветер, было не холодно, но довольно зябко. Мы говорили, кажется, о Бродском, о Пелевине, о Пушкине... И вдруг Даня говорит:

«Вот посмотри: как ты думаешь, до конца этой улицы – кто-нибудь из прохожих, из гуляющих граждан и молодых оболтусов, не говоря уже о тёлках, да? и обо всей толпе... *Кто-нибудь* – *хоть один* (из них) – говорит сейчас о поэзии Бродского, о Пушкине? Уверен, что никто. И на соседних улицах тоже... *Никто!* Не только потому что у них у всех иные заботы. *А потому*, что та часть мозга, которая заведует поэзией, у них просто... отсутствует. Поэтому мы с тобой сейчас находимся – где? совершенно верно... именно там! – нет, нет, не в заднице, отнюдь! – а в подавляющем *меньшинстве!*..... и это даже хорошо!»

...Помню, с каким восторгом говорил он (еще тогда, еще давно) о концертах Сомова в филармонии, где впервые для нас зазвучали стихи латиноамериканских поэтов – Лорки, Пабло Неруды, Николаса Гильена! И мы читали с ним, бродя по улицам, вслух и наизусть, эти тексты:

«Зеленая длинная ящерица
с глазами, как влажные камни...
...качается Куба на карте...»

Прекрасное было время!.....

...Вообще, попытка воскресить далекое от нас время часто бывает... достаточно безнадежной.

Я попробую показать небольшой фрагмент из своего текста, где появляется Даня тех далеких лет. Мы были с ним тогда еще не так прочно знакомы. Но друг друга уже очень отмечали.

Позволю себе небольшой отрывок «из себя»...

«Провинциальный роман-с», часть вторая, гл. 1, «Бар»...

«...В баре собирались художники, актеры ТюЗа, негры, засланные в СССР учиться... Иногда туда забегали за пачкой сигарет поэты из литобъединения (литобъедки) и просто окололитературные девочки – побаловаться кофейком, фисташками, послушать умные речи, подышать элитой.

За отдельный столик усаживались сотрудники «Комсомольской искры»... В кроваво-алой ассирийской бороде иконный Ануфриев коньячок потягивал... Порой туда заглядывали его жены, делая вид, что интересуются поп-артом. Бенимович читал свои стихи Маркеловой. Олег Соколов, близоруко щурясь, молча прихлебывал крепкий кофе, думал о японских вернисажах, гейшах, о теософии – и зорко следил за весной на улице. (Весна начиналась трудно, с гриппом, посмаркиванием... Март застрял в горле апреля.) Потом появлялся Шац.

За каждым столиком находил знакомую женщину. «Привет, лапа», – говорил он, мягко грассируя, неизменно улыбаясь и щерясь, и несомненным шармом обволакивая, почти блондинистый тогда и еще кучерявый, рассказывал о фильмах Хичкока и режиссуре Шарри Кларк. Говорил о том, о чем не знал тогда, кажется, никто... И девушки замирали.

Заходил Биневич – одолжить двадцать копеек... – Алиготе! – кричал, обаятельно улыбаясь, Изя Гордон и шел с членами Союза издавать (после третьей попытки и долгой борьбы) поэтический сборник... С первобытной тоской смотрел в окно Сыч – красивый, лохматый, печальный...»

.....ну и так далее. Так было.

...Наверное, я мог бы вспоминать бесконечно.

Даня, конечно, был человеком необыкновенно талантливым и разносторонним. Разновекторным. «И чтец, и жнец, на дуде игрец...»

Веселым, азартным, солнечным!

И конечно же, остался знаковой и живой фигурой – для всех его многочисленных друзей в Одессе – и во всем мире...

Знаковой фигурой для Одессы.

Остался надолго.

Может быть, навсегда...

Одесса – Германия

Роман Бродавко

Джаз – это музыка свободных людей

С именем Александра Цфасмана – пианиста, композитора, дирижера, аранжировщика и руководителя оркестра – связана история советского джаза. С середины двадцатых и до конца шестидесятых годов прошлого века этот музыкант постоянно был в центре внимания музыкальной общности. Его мастерство высоко оценивали выдающиеся композиторы и исполнители, отмечая яркую творческую индивидуальность, высокий интеллект и прекрасные организаторские способности.



Александр Наумович Цфасман родился 110 лет назад, 14 декабря 1906 года, в городе Александровске (ныне Запорожье) в семье парикмахера.

С 7 лет он обучался игре на скрипке и фортепиано, а с 12 лет поступил на фортепианное отделение музыкального техникума в Нижнем Новгороде. Продолжив обучение в Московской консерватории на фортепианном отделении по классу профессора Ф.М. Блуменфельда, А. Цфасман знакомится с джазом. В 1924 году он пишет ряд танцевальных пьес, которые имеют

большой успех. Среди них – «Эксцентрический танец», «Грустное настроение» и другие.

В конце 1926 года Александр Цфасман создает первый в Москве профессиональный джазовый коллектив – «АМА-джаз». С этим оркестром Цфасман выступает в саду «Эрмитаж», а также на эстрадах больших ресторанов и в фойе крупнейших кинотеатров.

В конце 1927 года оркестр Александра Цфасмана исполнил джазовую музыку по радио. Это была первая джазовая радиопередача в СССР. А на рубеже двадцатых и тридцатых произведения в исполнении его коллектива записываются на пластинки – это были одни из первых советских джазовых грамзаписей. Правда, наряду с популярностью оркестр Цфасмана становится объектом компартийной критики, которая обвиняет музыканта в популяризации искусства, чуждого революционному пролетариату. Взятое на вооружение высказывание Максима Горького о том, что «джаз – это искусство толстых» (кстати, вырванное из контекста и неверно истолкованное), верноподданные писатели стремились свести на нет успехи коллектива и его творческого лидера.

После этого оркестр Цфасмана не записывался на пластинки до 1937 года, несмотря на успешную творческую деятельность, примером которой может служить выступление коллектива на фестивале джаз-оркестров, организованном московским Клубом мастеров искусств в конце 1936 года. По мнению Евгения Габриловича, оркестр Цфасмана был на этом смотре лучшим.

В 1937 году появилось на свет 4 записи в исполнении этого коллектива. Это были цфасмановские «В дальний путь», «На берегу моря» и «Неудачное свидание», а также обработка известного польского танго «Последнее воскресенье», выпущенная под названием «Расставание», в обиходе более известная как «Утомленное солнце». На трех из этих пластинок вокальную партию исполнил постоянный солист цфасмановского джаза Павел Михайлов, певец тонкого лирического дарования, которое неизменно покоряло сердца слушателей. Вслед за этими записями появились пластинки с инструментальными пьесами: «Звуки джаза», «Фокс-краковяк», «О'кэй», «Веселая прогулка», «Последний летний день», «Мне грустно без тебя», «Я люблю танцевать» –

и лирическими песнями «Как же мне забыть», «Тебя здесь нет», «Я не прощаюсь», «Случайная встреча».

Несмотря на огромную занятость в своем коллективе, Александр Цфасман продолжал концерттировать с сольными программами как пианист. Пианистический талант Цфасмана вызывал восхищение таких выдающихся музыкантов, как А. Гольденвейзер, К. Игумнов, Г. Нейгауз, Д. Шостакович.

Пианизм и композиторское творчество слиты в искусстве Александра Цфасмана воедино. Подавляющее число созданных им произведений предназначены для фортепиано, а затем аранжированы для джаз-оркестра. В основном это танцы, песни, фантазии и обработки популярных мелодий. Однако у Цфасмана есть и произведения крупной формы. Среди них балетная сюита «Рот-фронт» для оркестра (1931), концерт для фортепиано с джаз-оркестром (1941) и концерт для фортепиано с симфоническим оркестром (1956). Александр Цфасман написал также немало музыки к театральным постановкам и кинофильмам.

В 1939 году оркестр Александра Цфасмана приглашается для работы на Всесоюзном радио. С этого момента и до 1946 года его коллектив становится штатным джазовым оркестром Всесоюзного радиокомитета (Джаз-оркестр ВРК). Это является важной вехой в творческой биографии музыканта и его коллектива. С одной стороны, советская джазовая музыка начала регулярно звучать по радио, ее слышали во всех уголках страны, а с другой стороны, коллектив Александра Цфасмана как штатный джаз-оркестр ВРК стал приглашать к сотрудничеству многих солистов Всесоюзного радио, таких как А. Клещева, К. Новикова, К. Малахов, А. Погодин. В разное время с оркестром выступали известные певцы – Иван Козловский, Сергей Лемешев, Клавдия Шульженко, Марк Бернес, Иван Бунчиков и другие.

В 1939 году состоялась первая советская джазовая телепередача. В ней выступал оркестр Цфасмана. В этом же году коллектив Цфасмана записывает на пластинки ставшие популярными миниатюры «Я жду письма», «Никто вас не заменит», «Анна», «Воспоминание», «Лодочка», «Возврата нет», «Парень с Юга», «Лунный вечер», «Свидание с любимой», «Я в хорошем настроении».



В годы Великой Отечественной войны коллектив Александра Цфасмана обращается к военной тематике, внося свой вклад в борьбу с врагом с помощью своего искусства. Так, уже первый военный номер газеты «Советское искусство» сообщал, что «для джаз-оркестров в ближайшее время будут изданы ноты антифашистских песен Д. Кабалевского и А. Цфасмана».

Весной 1942 года джаз-оркестр ВРК в полном составе выехал на Центральный фронт.

Цфасман написал замечательные песни на военные темы: «Все равно», «Моя любовь», «Веселый танкист», «Молодые моряки». После открытия второго фронта в репертуаре оркестра все чаще начинают появляться произведения английских и американских авторов. Примером этого может служить великолепное исполнение «Лирического фокстрота» Д. Керна из американского кинофильма «Песнь о России».

В 1946 году Цфасман был приглашен работать музыкальным руководителем театра «Эрмитаж», где собрал симфоджаз. Этот год также примечателен выпуском пластинки, на которой Александр Цфасман аккомпанирует на фортепиано Леониду Утесову («Когда проходит молодость», «Домик на Лесной»).

Дальнейшая творческая судьба Цфасмана была также неразрывно связана с джазом. Несмотря на то, что стиль джазовой музыки после войны в корне изменился, Цфасман оставался верен себе, и его произведения послевоенного периода также покоряли сердца слушателей. Так, композитор Андрей Эшпай говорил о Цфасмане: «Меня неизменно восхищает в нем неистощимый запас энергии, творческой выдумки, изобретательности. При чем Цфасман всегда остается Цфасманом, ни на кого не похожим, самобытным исполнителем. Здесь сказывается и большая культура, и блестящее мастерство (еще бы, школа Блуменфельда!),

и увлеченность искусством». В 1951 году Дмитрий Дмитриевич Шостакович, сам неоднократно выступавший в концертных залах в качестве пианиста, писал Цфасману: «Обращаюсь к Вам с большой просьбой. Я написал для картины «Незабываемый 1919 год» нечто вроде фортепианного концерта. Для Вас он не представляет трудностей. Сам же я его сыграть не могу. Очень просим Вас не отказаться и сыграть его. Повторяю: для Вас это будет не трудно». И, наконец, примером тому также может служить и небывалый успех юбилейного концерта Александра Цфасмана, состоявшегося в декабре 1956 года в Колонном зале Дома Союзов, где музыкант в который раз продемонстрировал яркий талант композитора, пианиста и дирижера.

Александр Наумович неоднократно приезжал в Одессу – и со своим оркестром, и как солист-пианист. Успех его концертов всегда был огромным.

В семидесятые годы Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» большими тиражами выпустила два альбома с записями произведений Цфасмана. Они сразу же разошлись, став раритетными.

Умер Александр Цфасман в Москве 20 марта 1971 года. Музыка Александра Наумовича продолжает жить. Уверен, что она окажется по нраву и будущим поколениям.

* * *

Леонид Утесов: «С Цфаманом мы знакомы давно. Это удивительный музыкант, умеющий смело идти своей дорогой в искусстве. Несколько раз наши пути пересекались, и я с радостью вспоминаю об этом».

* * *

Юрий Саульский: «Александр Наумович был на редкость талантливый и образованный музыкант. В жизни это был мягкий, интеллигентный, даже застенчивый человек, но когда он работал с оркестром, в нем ярко проявлялись волевые качества. Цфасман был творческим лидером, который пользовался незыблемым авторитетом у музыкантов. Его уважали, к нему прислушивались...»

* * *

Олег Лундстрем: «Я думаю, что все музыканты моего поколения так или иначе испытали влияние Александра Цфасмана. Собственно, иначе не могло и быть: уж очень яркой личностью он был».

* * *

Натан Рахлин: «Цфасман был великолепным пианистом. Он был ярким интерпретатором многих авторов. Мне кажется, что его исполнение «Голубой рапсодии» Гершвина можно считать образцовым».

* * *

Модест Табачников: «Цфасмана не только любили – ему подражали. Он соединил в своем творчестве традиции популярной отечественной музыки с теми новыми веяниями, которые пришли в нашу культуру с Запада, – и сделал это на редкость талантливо, оставаясь при этом самобытным композитором и исполнителем».



Геннадий Тарасуль

«Вижу и слышу: колышется время»

Поэтическое приношение Геннадия Тарасуля Михаилу Булгакову было создано к 125-летию писателя (2016 год) и публикуется с некоторым опозданием. Рискую предположить, что когда речь идет о такой личности, как автор «Мастера и Маргариты», категории времени, пространства и злободневности во много теряют актуальность. Действительно, кто знает, где находится нынче Михаил Афанасьевич, а тем более – видится ли он с героями своего повествования, проповедником Иешуа Га-Ноцри, прокуратором Иудеи Понтием Пилатом и, тем более, с Воландом, который, как известно, часть силы, что парадоксальным образом иногда творит добро...

Тем более не следует обращать внимание на форму, стилистику и жанр обращения автора к своему кумиру – Булгакову: он вдохновлен и его личностью, и перипетиями мятежного и будоражащего мысли и чувства романа. Уверен, многие наши читатели удивятся нестандартности и затейливости текста – и его лексике, и пунктуации, и архитектонике. Еще бы: Тарасуль применил не только привычные нам буквы, но привлек в текст нестандартные знаки препинания, да еще и те значки, что я вижу на клавиатуре компьютера, когда пишу эти заметки.

Порой его литературные изыскания походят скорее на формулы, чем на фигуры речи. Полагаю, это не стремление автора пооригинальничать, а его сегодняшнее осмысление и выражение своего отношения не только к М.А. Булгакову, но и к сакральным текстам – кумранским рукописям, Библии, Евангелиям, Торе, книгам каббалистов.

Напомню, что изопоэзия, эксперименты с текстом, как и с массивом знаний, так и объектом графическим – в традиции отечественной и мировой словесности и изобразительного искусства. Вот Тарасуль им и следует в 2016 году от Рождества Христова и в 5777-м по иудейскому летоисчислению.

Феликс Кохрихт

гена тарасуль
Михаилу Булгакову
ЭХО

я вижу и слышу к(\)-лышЕт-ся Время
Пространств0 Вселенн()й с0б0й растворя
Се кружится Вечн()сти тайн()е Семя
чтоб б у к в ы страдая творили Христа

Зачем на Земле нам такая триАда-- с
в0скресшей Звезд0й родовая стезя===к
младенцу в Вертепе - Святая награда
чтоб вновь распинали i Мать i Дитя
и всё ж
на
скиржалях

вдоль===паперти==стёртой===== - простётпой
веками по лону Земли===какой-то бродяга
пиита незванный в Словах Первозванных
открытых сквозь раны в Нирване всем душам
в которых избыток любви^начертал ураганно
в^всх()млённ(\ /)й с Л 0 в А м и кровl
до-----самой Вершины Крест(l)в(^)й Горы

AVE Мария
и
Маргарита=Магдалина^повiя
ОБЕ==ТРИ
жены

в0 Храме Книги сожжённой нетленны-- аки Вероучитель их
сходящий в Пустыню с Холм0в Галилеи дабы Б-==га молить
на руинах родной крепостной Иудеи...о последнем— Пути
ИешуА Га-Ноцри--иврі-ея...и доньне бредущего в горней Пустыне
по следам уходящего призрака Сына Марии---- -в0пр(\)шая

в
глубины
Ном0 sapiens

Добрый человек - Поверь мне
и в каждом слове на-поминанье
Лета=====Исца= () т()м...
по ком звонит... К0-л()-к()Л
и Дж0N ДонN= пов-то-ря---ет
вслед за ИещуА Га=====Н0црИ
Добрый человек – Поверь мне *
не верят

* «Мастер и Маргарита»: бродячий философ ИещуА Га=====Н0цри
Врач=====и Учитель
с тех первых разбитых руками Моисея 1()=====ти Заповедей
Ветх0г0 Завета ск(\л0k к0торых застрял в Сердце от=====Б=====гА
в Чел0веке===== и молит каждого встречного-и-поперечного истца
Люби ближнего своего как самого себя...
и мы любим...но только себя... и даже крест кладя на лоб земной
с мольбой
лишь машем тенью пред собой...в любом обзолочённом храме
да что ж мы за люди такие ?
и в жизни и в смерти чужие глухие не-мы-е... и всё ж ты
в прахе роковом не торопись истлеть с землей..постой... пере-крестись
Судьбой...
так звучит во мне э Х0 Михаила Афанасьевича Булгакова Творца
ИещуА Га-Н0цри из Назарета Галилеи
расставившего своё последнее отточие в Не(\)к(/)нчени()м р0мане== о
себе==

=Мастере...

Р. S

И вновь

однажды ранним утром третьег0 числа весеннего месяца Мая
в год по Рождестве Христ0вом 1891 в стольном Граде

Киї в Е

на Андрієвському вЗг0рьЕ

народився хлопчiк

Миша Булгаков

в год 2016-тый

ему исполнилось

125 лет...дальше... безсмертье...

Анастасия Зиневич

Иуда

По мотивам одной фрески Джотто

Художник стоял у неоконченной фрески «Тайная вечеря». Он был в замешательстве. Все его герои заняли свои места в ожидании трапезы. Но кто же из них Иуда?! Только сейчас художник понял: он изобразил всех, и не знает сам – кто же будет предателем...

Как же мне отличить его? Одиннадцать сидят с нимбами, а его, значит, изобразить без нимба? Это было бы слишком просто! Вот Иисус предрекает им: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Сидящие за столом напряженно переглядываются, кто-то же, вспомнив завет Учителя, мучительно вглядывается в самого себя: «Неужели – я?!». И они не знают! Никто еще не знает, кто из них станет Иудой! И вдруг художника осеняет: «Я нарисую нимб и двенадцатому тоже, а потом сотру его. Это будет человек с исчезающим нимбом, с темным пятном вокруг головы. Ведь в эту минуту еще не все решено...».



Публикации

288 Виктор Некрасов
«Давайте поговорим» Михаила Жванецкого

292 Алена Яворская
Рисунки и стихи Семена Кирсанова

296 Семен Кирсанов
Из тетради 1922 года

301 Георгий Шенгели
Пушкин в Крыму
Публикация Вадима Перельмутера

Виктор Некрасов

«Давайте поговорим» Михаила Жванецкого

Отзыв. «Новое русское слово», 4 мая 1987 г.

Несколько лет назад литературовед Александр Парнис предоставил нашему альманаху забытый рассказ Виктора Платоновича Некрасова об Одессе 10 апреля 1944 года. И тогда же сказал, что где-то в архиве писателя хранится его текст о Жванецком. Появившийся сайт памяти Виктора Некрасова дал возможность обнаружить этот отзыв. Огромная благодарность составителю сайта.

Михаил Жванецкий – одно из самых популярных имен в Советском Союзе. Он удивительно смешон и остер, как бритва. Иной раз просто пугаешься, настолько он не боится риска.

Живьем я его никогда не видел, но помню, что первая пластинка, которую услышал, – «Ставь птицу» – довела меня до колик, так я хохотал. А его «В греческом зале» стало прямо классикой. Рассказывают, что экскурсанты, узнав, что их привели в настоящий «Греческий зал», ничего не смотрят, только хохочут. Говорят, что Жванецкого чтит «сам» Горбачев. Начинает якобы заседания Политбюро с цитаты из него. Прочитав в одном из новогодних номеров «Известий» фельетон Жванецкого, я понял, что в легенде этой есть доля правды.

В «Советской культуре» за 31 марта опубликована беседа с ним, озаглавленная «Давайте поговорим».

На интервью он согласился со скрипом. «Я пуст, – сказал он, – все мысли в работе. Лишнюю кладу на сберкнижку». Но все-таки согласился на встречу.

Не могу сказать, что вопросы корреспондента были очень остроумны, но ответы Жванецкого, как всегда, и метки, и смешны.

На вопрос: «Что такое сатира, скажите кратко», – ответил:

– Кратко – не могу. Все сатира. И «Анна Каренина», и Достоевский, и Распутин. Литература, если это подлинная литература, все равно говорит о больном.

И дальше:

– Меня уверяют, что я писатель. Конечно, буду рад, если что останется. Хотя сомневаюсь. Это ж крики боли, стоны больного. Острая недостаточность... справедливости. И крики мои привлекают внимание, вызывают у публики смех. Мы любим собираться у постели несчастного. Не помогая, конечно. Потому что поможешь – он замолчит, и некого будет слушать.

В его интервью нет набивших оскомину слов «перестройка», «гласность», но в связи с этим он говорит:

– Мы вступили в такое время, когда многие двери, недавно еще закрытые, открываются. А я не вхожу, ищу закрытые. Вот устроишься возле этой, закрытой, пытаешься приоткрыть. А оттуда: вы куда еще? Это касается не только внутренних тем. Вот хотя бы вопросы борьбы за мир. Мы боремся неизвестно с кем. Я видел даже районные отделения борьбы за мир – столы какие-то стоят, стулья. Мы боремся за мир, не видя и не слыша наших противников. Покажите нам их! И плохое, и хорошее. Ничто ни в нас, ни у нас от этого не изменится.

Читаешь ответы Жванецкого и поражаешься – ни одного пустого, все не в бровь, а в глаз. На вопрос, можете ли вы нарисовать словесный портрет врага, отвечает:

– Это портрет друга. Ну, он, конечно, из запрещающих. Он, друг, деньги одолжит, едой угостит. Когда же наши пути разошлись, и он стал важным начальством в те несмешные годы, сказал: «Прости, но я этот юмор не понимаю. Мы здесь работаем, ночами не спим. Нам надо страну кормить. Так что, извини. На помощь не рассчитывай. Прости, я не хочу, чтоб нас видели вместе». Вот такой враг из друзей и друг из врагов.

Я так много цитирую Жванецкого, потому что он в ответах своих говорит о главном, недостающем. И с юмором, который особенно убеждает и разит. И всегда рискованным.

Жванецкий, например, считает, что быть должен быть отдан людям. Пусть промышленность будет у государства, а весь быт,

все ремонты... Деньги нуждаются в том, чтобы их платили из рук в руки. Ты мне натер пол, я тебе заплатил. Давайте же жить по-рочным принципом: ты мне – я тебе. Нам обоим станет легче.

Заключение же его беседы звучит оптимистично:

– Думаю, что у нас сегодня интереснее, чем везде. Сколько мы провели времени в бессмысленном каком-то молчании. Но не все происходит немедленно, разом. Мы – огромный парокход. Дашь задний ход, он еще долго идет... вперед. Развернуть сложно. Экономика и нравственность – две машины, два смысла. Думаю, все-таки поворачиваем. И вообще мне сейчас нравится. Вот я сейчас подумаю, и снова скажу – нравится.

И то, что это говорит Жванецкий, человек, который ни к кому никогда не подлаживался, вселяет какие-то надежды. Его юмор и интуиция никогда до сих пор не подводили. И его чутью в связи с начавшимися переменами очень хочется верить.

Должен сказать, что номер «Советской культуры», который я сейчас держу в руках, знаменателен не только беседой со Жванецким, но и своей передовой. О смехе! Подумать только, в советской газете передовая о смехе. Не о сатире, не о юморе, а именно о смехе. Я сталкиваюсь с этим незаурядным явлением впервые. Не удивился бы, если б мне сказали, что настоящий автор этой передовой Жванецкий, хотя стоит подписать Е. Иллеш.

«Кто и когда запрещал смеяться, это ж абсурд, – читаем мы в передовой. – Конечно, не запрещали. Но давали понять, что шутейно, а что ни-ни... Полуофициально дозволялось иронизировать лишь по адресу многострадальных сантехников и младших научных. Но по каким-то зонам и адресам не рекомендовалось даже шутить... Тем не менее зоны эти нет-нет и открывались для неистребимого нашего фольклора, в просторечии именуемого анекдотами. Одни были связаны с частной нашей жизнью, другие разворачивались на глазах всей страны. Чего стоили хотя бы злословия царицы полей или стремительные превращения малой земли в большую. Как объяснить вчерашним школьникам, отчего нам неловко вспомнить названия тех произведений, что еще недавно были обязательным предметом изучения чуть ли не в детском саду».

Читаешь такое и глазам не веришь. Реабилитирован анекдот! Тот самый, из-за которого еще совсем недавно давали сроки.

И бранному слову – подумать только! – тоже дается вразумительное объяснение.

«Попавшему в бюрократическую западню, – читаем мы, – только и остается произнести что-нибудь не литературное, поскольку в сфере разума искать выхода чаще всего бывает бесполезно. Вот и получается, что единственный способ облегчить душу – об этом еще знали древние римляне – это выразиться. Пусть и непечатно... Так что бранное слово, как и «не при детях» анекдот, – дело не только личной неводержанности, но и общественной хвори, от которой и лечимся единственно возможным и сильнейшим действующим лекарством – гласностью. В результате – вроде бы стало меньше этих коротких сюжетов, без которых не обходились наши встречи и застолья. И стали они как-то мягче, «домашнее», подобрели. Потому что желчь и свирепый сарказм – это болезнь придушенного смеха».

По-моему, сказано блестяще. Почти по Жванецкому. Не знаю, насколько стал «домашнее» сейчас анекдот, не думаю, но то, что он встречается сейчас реже, это факт. Ведь расцветает-то он пышным цветом именно в периоды гонений и особого удушья. Очевидно, стало все-таки чуть-чуть легче дышать, если впервые за всю историю советского государства об анекдоте пишется открыто и не осудительно. А смех, оказывается, сближает и уравнивает всех, ибо он подлинно демократичен.

На этом вполне разумном заключении заканчивается уникальная в своем роде статья о смехе в «Советской культуре».



Алена Яворская

Рисунки и стихи Семена Кирсанова

Семену Кирсанову – 110 лет. Немного странная дата – круглый юбилей, 100 лет, уже отпраздновали, а до еврейского пожелания в день рождения: «До 120-ти!» – еще 10 лет.

Впрочем, нет сомнения, что Семен Кирсанов будет жить долго – пока будет на земле Одесса. Ведь жизнь поэта – его стихи. «Есть город, который я вижу во сне...» Может быть, сейчас не все вспомнят автора, но строки эти наверняка знают все.

Но в восприятии многих одесситов (а может, и не только одесситов) Кирсанову навсегда будет не больше 16-ти. Почему 16-ти? Ведь в «Коллективе поэтов» он появился еще в 14 лет, в 1920 году. И привел его Эдуард Багрицкий.

«...Я попал в Одесский коллектив поэтов и, надо сказать, был принят там с удивлением – существовал большой контраст между моим ростом, возрастом и словотворческим характером моих стихов». Об этом появлении вспоминал и Сергей Бондарин: «...еще в коротких штанишках четырнадцатилетний футурист-будетлянин Сема Кирсанов, уже тогда поражавший нас зычным чтением своих стихов», и Нина Гернет: «Однажды, уже вечером <....> явился мальчик. По-моему, было ему 12-13 лет. Громко и уверенно он начал что-то читать <...> Кончил. Все помолчали. Потом кто-то из старших спросил его: как он относится к Пушкину? Точного ответа мальчика не помню, но смысл был такой, что Пушкин нам не указ. И вдруг из темного угла, от окна, где сидел Ильф, раздался спокойный, ровный голос:

– Пошел вон.

Мальчик был Семен Кирсанов. Он не пошел вон, а стал таким же участником сборищ, как и мы все».

Саман Курсанов.



Узор 1920 — Узор 1921.

с портрета атмор



Узор

Рис.
Узор 1921.



А вот у Перикла Ставрова воспоминания иные: «Ну, а Сему Кирсанова по молодости лет мама и еще в клуб не пускала. Так, на улице кого-нибудь из нас остановит и стихами, мальчишка, захлебывается».

Впоследствии Кирсанов, уже солидный поэт двадцати одного года от роду, напишет о тех годах и о родителях: «Мне приходилось представлять все левое в Одессе. Трудности колоссальные. С одной стороны Русское товарищество писателей, с другой – мама и папа не признавали футуризм».

Высказывание это может восприниматься иронически, но отношение Кирсанова к своему творчеству было с самого начала более чем серьезное. Сохранился сделанный им перечень всех стихотворений с 1915 до 1922 годы, и включает он ни много ни мало – 221 стихотворение! Они разбиты по тетрадям – целых 18 тетрадей!

Среди рисунков, щедро украшающих тетради, древние боги – Перун, Мокошь, Велес, Дажьбог.

У него незаурядный талант карикатуриста – легко узнать Багрицкого в буденовке. Читатель под деревом – явно плакатно-лубочное изображение интеллигента.

А два рисунка вызывают ощущение скорее не плакатов времен гражданской войны, а эскизов к мультфильмам. Фигура командира, командующего: «Равнение налево!» – подозрительно похожа на Троцкого. В 1922-м это еще было можно...

Ранние его стихи не чисто футуристические, вопреки всем позднейшим уверениям. Смесь старославянского и футуризма дала очень необычный результат. Но напевность и ритм, отличающие позднего Кирсанова, четко звучат в ранних его строках.

Алена Яворская

Семен Кирсанов

Из тетради 1922 года

ЛАДОГ

НЕ ТАМ ЗАПАЛИ ОБЛАСТИ
В ЗЕЛЕНУЮ МЕТУ,
ГДЕ ТЫ ЗЛАТЫЕ ДОБЛЕСТИ
ОТВАЖИВАЕШЬ ТУЛ.

ГДЕ ТЫ ВЗЛЕТАЕШЬ СТРЕЛАМИ
НА ВРАЖЕСКИЙ ПОЛОН,
СВОЕ ИЗВЕКА ВЕЛЫМЯ
ПОШЛЕШЬ НА ПЛЕННЫЙ ДОН.

И ЧЕМ КНЯЗЕВЫ ПОЧЕСТИ
ТЕБЕ НЕ ПО ПЛЕЧУ –
ПЕРУНОВЫМ УРОЧИЩЕМ
РАСХАЖИВАЕТ ЧУР.

И ДАЖЬ И ДАЙ МНЕ ПОЛЫМЯ
СТРИБОЖЬЕГО ЩИТА
ЧТО ТЫ ИДЕШЬ ЗА ДОЛАМИ
В РЕЗНЫЕ ВОРОТА.



Будетляне

На север, на север, на север,
Походкою древней идем.
Какие застынут посевы,
Какой замечается гром?

Гудят заливаются волны
Над ворсклыми пнями у ник,
А там от гугивой Волги
Горят завывают огни.

По осени воплой и волглой,
Над рваными веями твиг,
Долбят туговые оглобли
Седую порожнюю высь.

Которой задетой поляной
Сгибают колени холмы,
А я радогой будетлянин
Сбираю пропевческий мыт!

С клюкою, на север, на север мы
Бредем побираем поля,
По млечным дорогам нас семеро
Великих слепых будетлян.



ДЪВ

Опутан серебряным обручем,
Обручь меня с белым облаком,
Обручь меня с белым облаком,
Опричник пришел распрошенный.

Опричник пришел распрошенный.
Раскройся, раскройся скорее,
Раскройся, раскройся скорее,
Глаза золотые скошены.

Глаза золотые скошены,
Снопами глаза перевязаны,
Снопами глаза перевязаны,
Укрой дорогие распашины.

Укрой дорогие распашины,
Возьми же мое поветрие,
Усни под моими ветрами,
Усни под моими пашьями.

У ветра, который бы стягивал,
У ветра, который звал бы,
Не ты ли свободным стягом
Разостлана светлую велою.

Разостлана светлую велою,
На голой земле не вспаханной,
По голой земле не вспаханной
Пошли опираясь велоты.

Пошли опираясь велоты,
Пошли на полесье девушке,
Пошли на полесье девушке,
С кумачными все рубахами.



С кумачными все рубахами
Устлали дорогу месяцу,
Устлали дорогу месяцу,
Пришли на закат раскрашенный.

Пришли на закат раскрашенный,
Украсили окна золотом,
Украсили окна золотом,
Повесили в окнах онучи.

Повесили в окнах онучи,
Срубили венец парчовый,
Срубили венец парчовый,
Опутан серебряным обручем.

Опутан серебряным обручем,
Обручь меня с белым облаком,
Обручь меня с белым облаком,
Опричник пришел распрошенный.

27 января



Георгий Шенгели

Пушкин в Крыму

Опыт реконструкции объекта

Печатаемое ниже – сокращенное изложение первой главы более обширной одноименной работы. Эта конспективность влечет за собой сужение цитации и полное почти устранение ссылок; пушкиноведы легко преодолеют эту особенность.

Задача всего исследования сформулирована в подзаголовке. Меня не интересовали биографические разыскания сами по себе; попытка объяснить «Бахчисарайский фонтан» биографическими фактами – еще того менее. В поле моего зрения стоял социопсихологический вопрос: о принципе отбора и переработки объективных данных, связанных с пребыванием Пушкина в Крыму, с творческой историей БФ, и о социальной природе этого принципа. Говоря схематически, мы сведем вопрос к следующему: Пушкин был на Кавказе, был в Крыму, был в Бессарабии; Пушкин создал цикл поэм: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы»; творчество как-то следовало по маршруту; путешествуя, Пушкин многое видел, многое наблюдал, о многом беседовал, о много думал... Спрашивается: что именно из протекшего через пушкинскую психику материала понадобилось поэту в его творчестве, как понадобилось, и почему понадобилось именно это и именно так?

Из такой постановки вопроса с ясностью вытекает рабочий метод исследования в целом: восстановить объективный материал пушкинского путешествия, определить границы его освоения и затем на этот фон проецировать данные соответствующих поэм. Далее – выводы и социологический их анализ.

По ряду объективных и субъективных причин мне казалось, что эту работу удобнее произвести в отношении пушкинского пребывания

в Крыму и «крымских мотивов» в творчестве поэта. Это ограничение исследовательского поля, естественно, снижает категоричность выводов; поэтому я и рассматриваю данную работу как «опыт». Сейчас я считаю полезным опубликовать первую главу.

Пятнадцатого августа (ст. ст.) 1820 г. Пушкин, переехав на небольшом военном судне Керченский пролив, высадился на территории Крыма. Он ехал с Раевскими.

Компанию путешественников возглавлял генерал Николай Николаевич Раевский, внучатный племянник Григория Потемкина, «великолепного князя Тавриды», – прославленный герой войны двенадцатого года, воспетый Жуковским, изображенный на десятках патриотических гравюр и патриотических лубочных картинок. Он «с семейством и свитой», как писал в своих донесениях шпион Краковский, наблюдавший на Минеральных Водах за англичанином Виллоком, а заодно и за знаменитым генералом, – совершал нелегкое путешествие из Киева на Минеральные Воды, а оттуда в Крым. При нем была, однако, лишь младшая половина семейства: сын Николай, одиннадцатилетним мальчиком участвовавший в войне с Наполеоном и во взятии Парижа, и две дочери, Соня и Машенька, впоследствии – жена декабриста Волконского, героиня «Русских женщин» Некрасова. Старший сын Александр оставался на Кавказе долечиваться, а старшие дочери, Екатерина и Елена, вместе с матерью Софьей Алексеевной, внучкой Ломоносова, были уже в Крыму, проехав туда прямо из Петербурга. В «свите» же генерала были: англичанка при барышнях – мисс Матен, русская нянюшка их и их компаньонка, затем лекарь 4-го пехотного корпуса, находившегося под командой Раевского, Е.П. Рудыковский, оригинальный русско-украинский поэт, автор многих стихотворений, басен, гимнов.

Пушкин три или четыре года был знаком с Раевскими, еще лицеистом сведя дружбу с младшим сыном генерала Николаем Раевским, чей полк стоял в Царском Селе. Пушкин встречался с младшим Раевским у Чаадаева, который тогда еще носил гусарские эполеты, но уже импонировал друзьям своей умственной силой, остротой своей политической мысли, – внушая о себе Пушкину такие слова:

Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес...

Они запросто заезжали к Жуковскому, посещали шумные заседания «Арзамаса», где чтение стихов перемежалось с насмешками над теориями Шишкова и над руководимой им «Беседой любителей русского слова», с вольными анекдотами, с хлопаньем пробок...

Юношей сблизила общность литературных интересов, и гусарский офицер тонко умел оценить блеск и силу пушкинского еще молодого, еще не развернувшегося таланта.

А когда на Пушкина надвинулась гроза императорского гнева, когда «плешивый щеголь, враг труда» Александр Первый сказал, что «Пушкина надо сослать в Сибирь: он всю Россию наводнил возмутительными стихами», Раевский оказал поэту «важные, вечно незабвенные услуги» – по-видимому, понудив отца присоединить свой влиятельный голос к голосам других заступников Пушкина – Карамзина, Жуковского, – и Пушкин вместо Сибири был выслан в Екатеринослав в распоряжение попечителя колонистов Южного края генерала Инзова, добрейшего и культурного старика, который отнесся к опальному юноше с исключительной добротой и сердечностью.

Пушкин был сильно скомпрометирован. Злые эпиграммы на царя, на всемогущего держиморду Аракчеева, страстная ода «Вольность», в которой Пушкин хотел

...воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок...

«Деревня», в которой раздались проклятия крепостному праву, наконец, дерзкая публичная бравада в театре, где Пушкин показывал знакомым портрет террориста Лувеля, убившего герцога Беррийского, с надписью «урок царям», – все это придавало лицу юноши, только что соскочившего с лицейской скамьи, опасные черты политического заговорщика. А в это время в Европе шло революционное брожение, из-под пресса реакции, туго завинченного Меттернихом, вырывались языки пламени, Карл Занд пронзил кинжалом реакционера Коцебу; в России будущие декабристы собирали свои силы и

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи...

При наличии такой обстановки замена Сибири Южной Россией была крупной удачей Пушкина, и хлопоты его друзей вполне основательно получили название «вечно незабвенных услуг». Но Раевские, кроме того, сочли нужным скрасить Пушкину первые горькие месяцы изгнания и предложили участвовать в их летнем путешествии.

В дни высылки Пушкина из Петербурга Николай Раевский был у отца в Киеве. Тогда ли существовал план встретиться с Пушкиным и увезти его с собой, как можно думать по письму Карамзина к Вяземскому, где еще 15 мая говорилось, что «Пушкин благополучно поехал в Крым месяцев на пять», и по некоторым другим обстоятельствам, или встреча Раевских с Пушкиным в Екатеринославе произошла случайно, и решение пригласить его в путешествие родилось в момент встречи, – но Раевские, приехав в двух каретах в Екатеринослав 26 или 27 мая, уже на другой день увозили с собою Пушкина, без труда получав от Инзова согласие на его отпуск. Пушкин был болен, простудившись во время купанья в Днепре, лежал в жалкой комнатке на Мандрыковке, окраине Екатеринослава, и характерно для отношения к нему Раевских то обстоятельство, что отыскивать поэта вечером в чужом городе отправился не только друг его Николай, но и старик Раевский, не обращая внимания на дистанцию, отделявшую его, заслуженного генерала, от опального и нищего «сочинителя».

Пятого июня Раевские прибыли на Горячие Воды (нынешний Пятигорск), проехав Мариуполь, Таганрог, где Пушкин впервые увидел южное море, Ростов, Новочеркасск, Ставрополь, Георгиевск, и ровно через два месяца выехали через Кубанские степи в Крым.

Осенью, уже из Кишинева, Пушкин писал брату:

«Я лег в коляску больной; через неделю вылечился. Два месяца жил я на Кавказе; воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. Впрочем, купался

в теплых кислосерных, в железных и кислых холодных. Все эти целебные ключи находятся не в дальнем расстоянии друг от друга, в последних отраслях Кавказских гор. Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор, ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной. Кавказский край, знойная граница Азии любопытен во всех отношениях... Видел я берег Кубани и сторожевые станицы, – любовался нашими казаками. Вечно верхом, вечно готовы драться; в вечной предосторожности! Ехал в виду неприязненных *полей* свободных горских народов. Вокруг нас ехали 60 казаков, за ними тащилась заряженная пушка с зажженным фитилем. Хотя черкесы нынче довольно смиренны, но нельзя на них положиться; в надежде большого выкупа – они готовы напасть на известного русского генерала. И там, где бедный офицер безопасно скачет на перекладных, там высокопревосходительный легко может попасться на аркан какого-нибудь чеченца. Ты понимаешь, как эта тень опасности нравится мечтательному воображению... С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма...»

И вот пятнадцатого августа Пушкин вступил на крымскую почву в том самом месте, куда своею авторской волей он заставил впоследствии высадиться Евгения Онегина:

...Он едет к берегам иным,
Он прибыл из Тамани в Крым...
Воображенью край священный:
С Атридом спорил там Пилад,
Там закололся Митридат...

«Морем приехали мы в Керчь. Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи, думал я...» – писал Пушкин брату.

Керчь пушкинских времен представляла собою жалкий городишко, состоявший из одной длинной улицы, тянувшейся у подножия Митридатовой горы от старого турецкого форта на берегу

моря (приблизительно на месте нынешнего Нового базара) до сохранившейся поныне заставы в виде двух невысоких башенок с каменными изваяниями грифов. В ней не было ни одного сколько-нибудь примечательного в архитектурном или историческом отношении здания, за исключением древней греческой церкви, построенной еще в VIII веке и хранившей в себе пергаментные духовные книги тысячелетнего возраста, древние иконы и утварь. Останки же героического прошлого – античные храмы и статуи, здания римской и византийской эпохи, катакомбы и усыпальницы – все то, что в дальнейшем дало Керчи прозвище русской Помпеи, еще скрывались под землей под трехсаженной толщей «культурного слоя». На крепостной площади, правда, валялась груда обломков: куски надгробий, черепки древней посуды, колоссальный торс статуи, изображавшей, по-видимому, женщину. Но эти жалкие остатки слишком мало соответствовали представлению, вызывавшимся историей Пантикапеи.

А эта история была у всех на устах. Все, кто посещали Крым и писали о нем, все подробно останавливались на прошлом Керчи, этого некогда славного города, о котором упоминали еще Страбэн и Плиний. Пантикапея, столица Боспорского царства, колония милезийцев, прожила большую историческую жизнь, видав у своих стен скифов, римлян и готов, гуннов и вендо, хазар и славян. Ее осаждали войска Помпея, в ней понтийский царь Митридат VII Эвпатор собственноручно утопил изменника-сына и после безуспешных попыток отравиться (яд не действовал на его специально приученный к ядам организм) бросился на меч, послужив через семнадцать веков Расину героем для трагедии. Непрерывный прибой племен, перекатывавшихся через Пантикапею, легенды, окружившие это имя, исторические картины войн, заговоров и мятежей, – все это увлекало, и каждое «Путешествие в Тавриду» обязательно включало в себя пространный исторический экскурс о Пантикапее-Керчи.

Пушкин, знакомый, конечно, с рядом таких работ, если не непосредственно, то по рассказам, готовился прикоснуться к истории, но был разочарован:

«На ближней горе, – пишет он брату, – посреди кладбища увидел я груду камней, утесов, грубо высеченных, заметил не-

сколько ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее ли основание башни – не знаю. За несколько верст остановились мы на Золотом холме. Ряды камней, ров, почти сравнившийся с землею, – вот всё, что осталось от города Пантикапеи.

Через четыре года, прочитав книгу И.М. Муравьева-Апостола «Путешествие по Тавриде в 1820 г.», очень богатую наблюдениями, Пушкин в письме к Дельвигу вновь вспоминал свое знакомство с Керчью:

«Я тотчас отправился на так называемую Митридатову гробницу (развалины какой-то башни); там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления. Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали на мое воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи и только...»

А в черновом наброске того же письма имеется еще такая характерная фраза: «воображение мое спало; хоть бы одно чувство, нет!».

«Ближняя гора», на которую подымался Пушкин и где он сорвал цветок, это нынешний Митридатов холм, вышиною около 120 метров, до половины уже застроенный. Холм весьма резких и характерных очертаний с многочисленными выходами утесов известняка. Один из таких утесов на самой вершине носит следы обработки: его верхняя поверхность сглажена и аккуратно вырублена в некоторых местах, образуя род сиденья. По преданию, с этого сиденья, «трона», Митридат любовался морем. Вид с этого утеса открывается очаровательный. Слева, к северу, нежные кольцеобразные долины, справа горизонт замыкается волнистою цепью Юз-Оба (Сто курганов). К самому подножью горы подступает круглая бухта, ограниченная слева и справа обрывистыми мысами и разворачивающаяся в тридцатикилометровую ширь пролива, в который с таманского берега врезаются две тонкие песчаные косы с архипелагом островков, и за которым бледно-фиолетовым облаком рисуется кавказский берег. Благодаря особым условиям воздухообмена между теплым Азовским и более холодным Черным морем и раскаленной степью Керченского и Таманского полуостровов, закаты здесь отличаются особой яркостью и красочностью, и расцветченные облака на востоке отражаются в спокойной воде бухты. Пушкин

как раз подымался на Митридатов холм на закате. И.М. Муравьев-Апостол, посетивший Керчь через два месяца после Пушкина, пишет:

«С горы вид прелестнейший на Боспор: берега, коса, излучистые заливы Тамани... Я мечтал здесь о событиях, прославивших Тавриду, от изгнания кимериан скифами до населения ее выходцами из Ионии, от покорения Боспора царю Митридату до...»

Пятидесятилетний Муравьев, видевший то же, что видел юноша Пушкин, увидел больше, чем он.

«Золотой холм» (Золотой курган, Алтын-Оба), упоминаемый Павзанием, греческим географом II века, в трех верстах от города по продолжению Митридатского хребта, в настоящее время разрушен: нет циркульного склепа, нет портика – а все это было еще во времена Пушкина. Павел Сумароков за двадцать лет до Пушкина лазал внутрь усыпальницы. В наши дни остались только несокрушимая циклопическая стена, нижний ярус которой сложен из каменных призм длиною в два и три метра и толщиной в метр и более, да ров, убегающий к северу километров на пять, – последние следы крайнего укрепления Пантикапеи.

Характерно, что единственная открытая при Пушкине древняя усыпальница и исключительная стена, вызывающая представление о чудовищном нечеловеческом труде, необходимом для втаскивания на гору двадцатитонных глыб, – что эти монументальные памятники древности превратились у Пушкина в «ряды камней». Правда, может быть, Пушкин не интересовался подняться на холм, увенчанный Золотым курганом (почтовый тракт, которым ехали Раевские, и поныне пролегает у подножия холма, и стометровая высота скрадывает действительные размеры циклопической постройки), но и эта незаинтересованность характерна.

Любопытно отметить, что Гераков, в один день с Пушкиным приехавший в Керчь, сорокапятилетний рассудительный и туповатый чиновник, посидел на Митридатовом «троне» и помечтал о прошлом, тот же Гераков посетил Греческую церковь и осмотрел ее незаурядные реликвии, которых Пушкин не удостоил вниманием.

Примечательно, что и характерная бытовая обстановка не задержала на себе пушкинского взора. Керченское население было в ту пору преимущественно греческим. Своеобразные костюмы, деревянная обувь женщин, типичная для Востока уличная жизнь: столики и коврики у дверей, площадные цирюльни и кофейни, чужая речь, окрики верблюжьих погонщиков (тогда верблюды не были редкостью в Крыму) – все это могло и должно было заинтересовать. Наконец, в день приезда Пушкина в Керчь был храмовой праздник в соседнем городке Еникале, и в этот день бухта переполняется разукрашенными лодками, перевозящими празднующих в Еникале и обратно: происходит нечто вроде примитивного водного карнавала. Ни о чем подобном нет ни намёка в письмах Пушкина, хотя тот же Гераков отмечает ряд упомянутых нами моментов.

Таким образом, бросается в глаза и требует себе объяснения бедность первых впечатлений Пушкина от Крыма.

На другой день Пушкин с Раевскими выехал на лошадях из Керчи в Феодосию, или, как тогда еще говорили, в Кефу. Стокилометровый путь по мелкохолмистой степи ничем не замечателен, если не считать нередких там миражей да бегущего на полупути поперек Керченского полуострова Ассандрова вала, которым владения Пантикапеи были ограждены от кочевников. Этот путь Пушкин никак не отметил.

В Феодосии Раевские остановились у Семена Михайловича Броневского, бывшего феодосийского градоначальника, масона и литератора.

За четыре года до того Броневский был смещен, не поладив с новороссийским генерал-губернатором, и отдан под суд. В полутора верстах от Феодосии у него был миндальный сад и виноградник, и доходами от них Броневский существовал. Страстный патриот Крыма, Броневский много рассказал о нем своим гостям. Пушкин писал брату:

«Из Керчи приехали мы в Кефу, остановились у Броневского, человека почтенного по непорочной службе и бедности. Теперь он под судом – и подобно старику Вергилию разводит сад на берегу моря, недалеко от города. Виноград и миндаль составляют его доход. Он не ученый человек, но имеет большие сведения о Крыме, стране важной и запущенной...»

Мы никогда не узнаем, что именно говорил Броневский Пушкину и Раевским, но, вдумываясь в пушкинские определения – «важной и запущенной», – без натяжки можем угадать, что Броневский сравнивал бывшее хозяйственное процветание Крыма, превращенного войсками Миниха и Ласси еще в 1736 г. в полупустыню, с его настоящим положением опустевшей от татарской эмиграции страны и указывал на экономические перспективы, стоящие перед ним. Если мы вспомним, что в XVI веке польским послом при дворе крымских ханов был Мартин Броневский, оставивший после себя книгу «Tartariae Description» («Описание Тартарии»), являющуюся важным историческим источником, и что эта книга, несомненно, была в поле зрения С.М. Броневского (возможно, потомка Мартина) вместе с составленным при Потемкине «Камеральным описанием Крыма», документом, легшим в основу всей административной работы русских в Крыму, а Броневский по должности градоначальника был в курсе этой работы, то историко-экономический характер беседы Броневского с его гостями станет еще более вероятным. К этому можно прибавить, что служебные неприятности Броневского были результатом его столкновений с хлебными экспортерами (см. у Вигеля, бывшего в 1826 г. керченским градоначальником, о его тарифной войне), и об этих неприятностях он рассказывал Раевским («теперь он под судом») с убедительной мотивировкой своей правоты («по непорочной службе»), значит – с обстоятельным изображением экономической обстановки.

Пушкин, однако, не раскрывает своей схемы, и приведенными строками ограничиваются все его высказывания о феодосийских впечатлениях.

Между тем античная Феодосия, генуэзская Каффа, турецкий Кучук-Стамбул (Маленький Стамбул), в дни Пушкина уже оправлявшаяся от крайнего упадка, была несравненно богаче Керчи внешними знаками былой исторической значительности. Современным Пушкину гравюры изображают десятки массивных башен и четкие линии генуэзских крепостных стен, множество минаретов, древние лестницы и монументальные фонтаны. На площади возвышалась главная мечеть, по словам П. Сумарокова, «обширностью более московского Успенского собора», лишь

через десять лет после пушкинского посещения разобранный по приказу вандала губернатора, очищавшего место и добывавшего камень для русской церкви в ложно-византийском стиле. До сих пор сохранилось немало башен и древних армянских церквей с их характерными шатровыми главами, до сих пор красуются обширные фронтоны фонтанов,

...Хранящих герб
То дождей, то крымских ханов:
Звезду и серп.

М. Волошин

До 1920-го года была в целости замечательная по архитектуре и архаической внутренней простоте турецкая баня; донныне чаруют своим восточным колоритом полутораметровые кривые переулочки Караимской слободки с беззаконными стенами домов...

За двадцать лет до Пушкина П. Сумароков писал о Феодосии:

«Кафа представляет прекрасное и странное для взора зрелище. Острые верхи минаретов, куполы мечетей, протягивающиеся по высотам остатки некоторых стен... Город сей походит на опроверженный землетрясением...» Покидая Феодосию, тот же Сумароков говорит: «Оставя сию томную и поразительную страну...».

Эта историческая выразительность Феодосии ни малейшей чертой не упомянута у Пушкина. Посетивший в том же году в середине октября Феодосию А.М. Муравьев-Апостол отмечает ряд любопытных бытовых черт. Он навестил феодосийский карантин, где отстаивались пришедшие из Турции суда, где лежали «страшные кучи длинных анатолийских орехов» (стручков, «рожков»), и где по случаю моровой язвы в Стамбуле разбирать привезенную оттуда хлопчатую бумагу, возможную носительницу заразы, обречены были каторжане. Муравьев красноречиво описывает, как несчастные должны были запускать обнаженные до плеч руки в толщу кип и затем находиться под наблюдением: заболеют или нет... Мы не знаем, мог ли застать такую же картину Пушкин, но он мог бы поинтересоваться, особенно после беседы о стране «важной и запущенной».

Какие новые товары
Вступили нынче в карантин?
Пришли ли бочки жданных вин?
И что чума?..

Он не поинтересовался.

Таврический губернатор Баранов, узнав о прибытии в Крым Н.Н. Раевского, предписал 17 августа феодосийскому исправнику озаботиться снабжением генерала лошадьми для следования на южный берег, но исправник, находившийся в то время в деревне Азамат, в 60 верстах от Феодосии, рапортом от 20-го августа уведомил начальство, что генерал Раевский уже выехал в Гурзуф на брандвахте. Таким образом, мы получаем дату 17-18 августа, когда Пушкин должен был сесть на корабль.

Этот корабль был военным бригом, небольшим двухмачтовым судном с прямоугольными парусами на обеих мачтах. В керченской флотилии, обслуживавшей и Феодосию, было три брига: «Меркурий», прославленный в 1829 г. победоносным боем с двумя турецкими фрегатами, «Пегас» и «Мингрелия». Который из них был предоставлен Раевскому, нам неизвестно.

Бриг вышел из Феодосии под вечер и прибыл в Гурзуф вскоре после восхода солнца. Пушкин провел всю ночь на палубе и написал первое свое крымское стихотворение. В письме к брату он рассказывает:

«...Морем отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды в Юрзуф, где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я элегию... Корабль плыл перед горами, покрытыми то полями, виноградом, лаврами и кипарисами; везде мелькали татарские селения; он остановился в виду Юрзуфа».

Тот же рассказ, но более детальный, содержится в письме к Дельвигу:

«Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал; луны не было; звезды блистали; передо мною в тумане тянулись полуденные горы. «Вот Чатырдаг», сказал мне капитан. Я не различил его да и не любопытствовал. Перед светом я заснул. Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленны-

ми к горам; тополя, как зеленые колонны, стройно возвышались между ними; справа огромный Аюдаг... и кругом это синее чистое небо и светлое море, и блеск, и воздух полуденный...»

Мы сразу видим, что «тополи, виноград, лавры и кипарисы», упоминаемые в письме к брату, присочинены Пушкиным: безлунною ночью с корабля, срезающего по хорде глубоко вдающиеся бухты восточной части южного берега, совершенно невозможно разглядеть растительность самое по себе, не только разобраться в ее породах. Близ Феодосии же, где Пушкин мог плыть еще за-светло, никаких кипарисов и лавров нет. Вполне точная картина, открывающаяся ночью с корабля, сводится в этих местах к совершенно черному силуэту гор; причем топографическое раз-нообразие Коктебельских, Судакских и Алуштинских нагорий тонет на довольно однообразном фоне более высокой Яйлы. Да и сам Пушкин говорит, что и Чатырдаг с его характерной формой он не различил. Таким образом, детали, упоминаемые им в письме к брату, – сводка позднейших впечатлений.

В эту ночь Пушкин, как и раньше, «не любопытствовал»; в данном случае это понятно: он был захвачен творчеством. Когда же творческий подъем миновал, Пушкин стал более отзывчив на внешние впечатления: утренняя картина Гурзуфа богата деталями и красками. Соответственные строки письма к Дельвигу Пушкин повторил впоследствии в стиховой обработке:

Прекрасны вы, берега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я;
Вы мне предстали в блеске брачном:
На небе синем и прозрачном
Сияли груды ваших гор,
Долин, деревьев, сел узор
Разостлан был передо мною.
А там, меж хижинок татар...
Какой во мне проснулся жар!
Какой волшебною тоскою
Стеснялась пламенная грудь...

Непосредственно же на месте впечатления Юга никак не были фиксированы Пушкиным: он «тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью итальянского лаццарони» (письмо к Дельви-гу). Более того: в первом черновике этого письма есть зачеркнутая строчка: «холодность моя посреди прелестей природы была... досаждала и смешила». Фраза белого письма «В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом» в первом черновике дополнена словом: «и спал». Лиризм же пушкинский был направлен в другую сторону. Вот строки, сложенные им на корабле:

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края:
С волнением и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаям упоенный...
И чувствую: в очах родились слезы вновь:
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает:
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И всё, чем я страдал, и всё, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной угрюмый океан.
Лети, корабль, носи меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к берегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,

Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края,
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покою, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, изменницы молодые,
Подруги тайные моей весны златая,
И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви ничто не излечило...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

В этом стихотворении все – «литература»: условные формулы условных «поэтических» переживаний, выдержанный орнамент романтического мировосприятия. Спокойное августовское море превратилось в «угрюмый океан»; судно, совершавшее в непосредственной близости берега весьма будничные рейсы из Феодосии в Гурзуф, должно было нести поэта «к пределам дальним по грозной прихоти обманчивых морей», мальчишеская молодость Пушкина, который два месяца назад, регистрируясь в Пятигорской комендатуре, записал доктора Рудыковского лейб-медиком, а себя недорослем, стала «отцветшей в бурях, потерянной младостью»; высылка из Петербурга и дружеское гощение у Раевских приняли облик самостоятельного «бегства» от «питомцев наслаждений» и от «изменниц молодых» и т. д.

Впрочем, Пушкин и сам не скрывал романтической условности своей элегии: она носила подзаголовок «Подражание Байрону» и в рукописи имела эпиграфом строку из знаменитой прощальной песни Чайльд-Гарольда, разочарованно покидавшего Англию: «My native land, good night!» («Мой край родной, прощай»), да и кроме того, во многом совпадает с этой песнью.

Много лет спустя в рецензии на стихотворения Теплякова Пушкин писал:

«В наше время молодому человеку мудрено, садясь на корабль не вспомнить лорда Байрона и невольным соучастием не сблизить судьбы своей с судьбой Чайльд-Гарольда. Ежели молодой человек еще и поэт, и захочет выразить свои чувствования, – то как избежать ему подражания?»

В дальнейшем Пушкин сам посмеялся над своей «отцветшей в бурях младостью», заставив Ленского петь:

...поблеклый жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет,

что не мешало тому же Ленскому восторгаться:

Ах, милый, как похорошели
У Ольги плечи, что за грудь!

А о своем двадцатидвухлетнем брате Льве Сергеевиче Пушкин впоследствии писал Дельвигу:

«...малый проворный... Он задолжал у вашего Andrieux 400 руб. и убудил жену гарнизонного майора. Он воображает, что имение его расстроено и что истощил всю чашу жизни. Едет в Грузию, чтобы обновить увядшую душу. Уморительно».

Книжный налет «унылого романтизма» на весьма резвых буднях не остался, таким образом, для Пушкина незамеченным и непонятым, «Гарольдов плащ» был расценен Пушкиным как маскарадная одежда на плечах «москвича»...

В Гурзуфе путешественников встретила Софья Алексеевна Раевская, жена генерала, и две их старшие дочери: Екатерина Николаевна, девушка двадцати трех лет, и семнадцатилетняя Елена Николаевна.

Раевские поселились в «замке» тогдашнего «владельца Гурзуфа» герцога Ришелье, уже покинувшего Россию для службы возвращенным на французский престол Бурбонам. Этот «замок» был единственным европейского типа зданием на всем южном берегу и по давнему обычаю служил чем-то вроде гостиницы всем знатным путешественникам, посещавшим Гурзуф. Дом был крайне неудобен для жилья, но за неимением ничего другого с ним при-

ходилось мириться. Путешествовавший по Кавказу и Крыму Дюбуа де Монпере писал о «замке»:

«Дом, построенный герцогом, был настоящий воздушный дворец, ибо весь состоял из лестниц и галерей, кроме двух или трех маленьких комнат, выделенных в середине здания. Видно, что владелец искал только воздуха и видов».

Николай Павлович, впоследствии император, посетивший Гурзуф в 1816 г., Муравьев-Апостол, бывший там через месяц после Раевских, капитан английского флота Джонс, захвативший в дом Ришелье в 1823 г., все согласно бранят здание, отмечая его нелепую архитектуру, тесноту жилых комнат и т. д. Впрочем, как дачное помещение он был сносен. В дальнейшем дом подвергался перестройкам и в нынешнем своем виде мало напоминает пушкинское обиталище. Та комната, которую теперь показывают как «пушкинскую», вообще не существовала в пушкинские дни, и поэт, вернее всего, помещался с младшим Раевским в мансарде дома, снесенной в 1861 г.

Потянулись блаженные для Пушкина три недели.

«Мой друг, – писал Пушкин брату, – счастливейшие минуты жизни моей я провел посреди семейства почтенного Раевского. Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой я никогда не наслаждался, – счастливое полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение: горы, сады, море; друг мой, любимая надежда моя – увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского...»

О том, как протекала курортная жизнь Раевских и Пушкина, мы почти не имеем данных. Надо думать, что обычные прогулки в горы, купанье, катанье на лодке и т. п. имели свое место, но едва ли значительное; Пушкин только упоминает о поездках верхом, вероятно, одиноких, так как его друг, младший Раевский, прихварывал, генерал навряд ли был очень подвижен по возрасту и из-за многочисленных старых ранений, а поездки с девицами были невозможны по тогдашним правилам приличия.

В письме к Дельвигу Пушкин сообщает:

«Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис;

каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот всё, что пребывание мое в Юрзуфе оставило у меня в памяти».

Этот кипарис стал легендарным, привлекая к себе чувствительных туристов и попав в стихи Некрасова, причем последний «для поэзии» заставил соловья прилетать на этот кипарис и петь в сентябре.

Однако, сопоставляя с только что приведенными строками Пушкина указанные выше фразы из черновиков этого же письма о том, что поэт «объедался виноградом и спал» и что его «холодность посреди красот природы досаждала и смешила», можно думать, что ежедневные визиты, наносимые кипарису, были не более чем романтическим ритуалом.

Окрестности Гурзуфа – причудливые береговые скалы, грандиозные утесы Аюдага, живописная долина горной речки Сунарпугана, развалины генуэзских и римских укреплений – ничто из этого конкретно не фигурирует ни в стихах Пушкина, ни в его письмах. «Полуденная природа», показу которой Семен Бобров в своей «Тавриде» посвящает сотни стихов, перечисляя растения, животных, птиц, – у Пушкина фигурирует также в общем, расплывчатом облике. Более того: в цитированном письме к Дельвигу, в черновике, написав: «видел и тополи, и кизили, и виноградные лозы», – Пушкин вычеркивает «кизили», стирая колоритную черту в угоду условно-приподнятому представлению о «полуденной природе», которой приличествуют пирамидальные тополи, лавры, мирты и которую принижают прозаические кизили, дубы, «держи-дерево»...

Татарский быт также не привлек внимания Пушкина. Он оставил нам в «Онегине» оборванную многоточием фразу:

А там, меж хижинок татар...

и в «Желании» две строки, свидетельствующие о весьма поверхностном подходе к бытовой и социальной обстановке татарского населения:

Повсюду труд веселый и прилежный
Сады татар и нивы богатит...

Бывшие хозяева Крыма задыхались в земельной тесноте, уступая лучшие места русским вельможам и их родственникам. Потемкин щедрою рукою раздавал земли, конфискуемые у эмигрировавших в Турцию татар, причем в неразберихе завоевания земли отбирались и у тех, кто оставался. Знаменитый адмирал Мордвинов оттягал у татар всю Байдарскую долину. Герцог Ришелье купил Гурзуф, ценившийся незадолго до нашей революции в миллионы, за четыре тысячи ассигнациями – «после смерти какого-то бездетного татарина». К этому колониальному нажиму присоединился национальный экономический пресс: земельные права мурз и мулл. И труд рядового татарина, весьма «прилежный», едва ли был «веселым» и, «обогащая сады и нивы», едва ли обогащал своего носителя.

Но и помимо экономических отношений, несомненно, известных Раевским (их родственник А.М. Бороздин был владельцем соседнего Кучук-Ламбата и поддерживал с Раевскими тесную связь), чисто жанровые картины татарского быта остались неотмеченными у Пушкина. В 1821 г. Пушкин стал набрасывать шутиливую повесть, начинавшуюся так:

Недавно бедный мусульман
В Юрзуфе жил с детьми, с женою,
Душевно почитал священный Алькоран
И счастлив был своей судьбою...

Дальше рассказывалось, как беременная жена Мехмета (так звали татарина) потребовала от мужа, чтобы он накормил ее каймаком (род простокваши), и Мехмет отправился доставать каймак. Повесть оборвалась на 55-м стихе. Казалось бы, перед нами попытка дать жанровый очерк татарского быта. Но и этот неоконченный набросок – не что иное, как довольно близкий пересказ стихотворной сказки малоизвестного французского поэта Антуана Сенесе (1643-1737) «Le koimek, ou la con-liance perdue». Пушкин только перенес действие из малоазиатской Вифинии в крымский Гурзуф. Для попытки набросать жанр Пушкину понадобился литературный предшественник, хотя бы и третьесортный.

Если знакомство с окрестностями, с жизнью татар не занимало сколько-нибудь широкого места в гурзуфских досугах Пушкина, если он действительно «сидел сиднем», то возникает вопрос: чем эти досуги заполнялись?

В Гурзуфе Пушкин работал над «Кавказским пленником», начальные наброски которого относятся к первым дням пребывания в Гурзуфе. Закончена же поэма была только через шесть месяцев, в конце февраля 1821 г. Кроме «Кавказского пленника», Пушкин в Гурзуфе не писал ничего. Если бы предположить, что эта поэма была вся написана под кровом ришельевского «замка», то и тогда ежедневная порция работы не превышала бы тридцати стихов. А мы знаем, что в эпоху работы над «Полтавой» ежедневно писалось не менее ста стихов. Болдинская осень 1830 г. дала за два месяца около 4½ тыс. стихов и около 3½ печ. листов прозы. 350 стихов «Графа Нулина» были написаны, по словам самого Пушкина, «в два утра». Таким образом, даже если бы весь «Пленник» был написан в Гурзуфе, эта работа по интенсивности была бы гораздо ниже работы в названные моменты творческого «запоя». В действительности же писание стихов едва ли заняло у Пушкина более чем два-три утра.

В доме нашлась небольшая старинная библиотека, откуда Пушкин извлек Вольтера и перечитывал его. Затем с младшим Раевским Пушкин читал Байрона в подлиннике. Поэт в ту пору очень плохо знал английский язык; по-видимому, в нем не очень тверд был и Раевский; по крайней мере друзья частенько за неимением словаря посылали к Екатерине Николаевне спрашивать, что значит то или другое слово. При таких обстоятельствах даже страстное увлечение Байроном едва ли могло на долгие часы приковывать друзей к «Чайльд-Гарольду» и «Корсару». Есть свидетельство, что Пушкин брал у Екатерины Николаевны уроки английского языка, но когда эти данные в 1874 г. опубликовал Анненков, Екатерина Николаевна, уже глубокая старуха, протестовала против этого утверждения, заявляя, что в старое время подобное занятие девицы и юноши было бы сочтено неприличным и не могло быть дозволено родителями. Этому можно поверить, тем более что за уроками Пушкину всего естественнее было бы обратиться к англичанке мисс Матен, сопутствовавшей Раевским.

За вычетом литературных занятий и чтения, за вычетом известного количества часов, уделяемых крымскому ничегонеделанию на берегу или в тени сада, остается общение с семьей Раевских в целом – как основное времяпрепровождение Пушкина. Он сам подчеркивает эту атмосферу близости: «посреди семейства Раевских», «в кругу милого семейства». После Крыма Пушкин месяцами гостил у Раевских в Каменке.

Общение с Раевскими действительно могло заполнить время и занять внимание.

Старик Раевский был весьма незаурядным человеком с большим жизненным опытом, с запасом рассказов о своем деде Потемкине, о своем дяде графе Самойлове, бывшем генерал-прокурором при Екатерине, о войне 12-го года. Патриот, националист, предпочитавший говорить и писать по-русски, а не по-французски, как было тогда принято в высшем обществе, любитель поэзии, имевший своим адъютантом Батюшкова, Раевский был, по словам Пушкина, «насмешлив и желчен», и его недолюбливали в Петербурге: прямолинейная личность старого солдата казалась слишком угловатой в низкопоклоннической и интриганской атмосфере двора. Эта насмешливость и желчность, распространявшаяся на многие явления тогдашней жизни и политики, в известной мере должна была импонировать вольнолюбивым и задорным мечтам Пушкина. Поэт в письме к брату так характеризует Раевского:

«...я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасною душою; снисходительного попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель екатерининского века, памятник 12 года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества».

Фактическое сиротство Пушкина, много лет проведенного в закрытом учебном заведении и не имевшего никакой духовной связи со своим отцом, вечно брюзжащим, скупым и легкомысленным человеком, с особенной силой должно было его толкать к столь крупной и содержательной личности, какою был старик Раевский.

О младшем сыне Николае мы уже говорили. Тот факт, что ему был посвящен впоследствии «Кавказский пленник», что Пушкин делился с ним глубокими и тонкими своими соображениями о классической трагедии и шекспировской драме (письмо поэта к Николаю Раевскому из с. Михайловского в конце июля 1825 г. представляет собою целый трактат по поэтике), свидетельствует о широком культурном кругозоре молодого офицера, которому выпала на долю честь быть проводником Пушкина по вершинам байроновской поэзии. Общение с ним заменяло Пушкину отсутствие литературной среды.

Литературным собеседником мог быть и доктор Рудыкобский, большой любитель книги, автор многих десятков од, патристических и религиозных стихотворений на русском языке и множества басен, сказок, пародий и т. д. – на украинском.

Девуцы Раевские также были для поэта источником богатых переживаний. Прежде всего – по линии сердечных увлечений. Наличие четырех хорошеньких образованных и воспитанных девушек (младшей было лет 13-14, но по понятиям того времени этот возраст был уже близок к девическому), девушек, совсем не похожих ни на чванных дев петербургских гостиных, ни на ветреных театральных воспитанниц, с которыми водился в Петербурге «почетный гражданин кулис» Пушкин, – не могло не пленять влюбчивого поэта, который, по собственным словам, бывал влюблен во всех более или менее хорошеньких женщин, встречавшихся ему. Буквально то же сказала о нем в своих мемуарах, написанных почти через сорок лет, Мария Раевская.

Пушкин восторгался шаловливой резвостью черноглазого подростка Марии, промочившей ноги в грациозной игре с набегающей волной (этот случай был раньше, при проезде через Таганрог), и в дальнейшем писал:

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!

Сама Мария Николаевна так вспоминала этот эпизод в своих мемуарах:

«Я помню, как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с Софией, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Увидя море, мы приказали остановиться, и вся наша ватага, выйдя из кареты, бросилась к морю любоваться им. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала, для забавы, бегать за волной и вновь убежать от нее, когда она меня настигала; под конец у меня вымокли ноги; я это, конечно, скрыла и вернулась в карету. Пушкин нашел эту картину такой красивой, что воспел ее в прелестных стихах, поэтизируя детскую шалость; мне было только 15 лет».

И дальше Мария Николаевна приводит цитируемые нами стихи.

Пушкина волновала и болезненная хрупкость другой сестры, Елены, веяние обреченности, сквозившей в ее больших голубых глазах. Чувство Пушкина выразилось в элегии:

Увы, зачем она блистает
Минутной, нежной красотой!
Она приметно увядает
Во цвете юности живой...

Привлекала его и романтическая томность, с которой она же смотрела на Вечернюю звезду, называя ее своим именем.

Впрочем, Пушкин умел и поддразнивать Елену, которая переводила Байрона и Вальтер-Скотта на французский язык, подбирая у нее под окном клочки разорванных рукописей и преувеличенно восторгаясь достоинствами переводов.

Старшая из сестер, Екатерина, также привлекала внимание поэта. Умная и властная девушка, умевшая в дальнейшем авторитетно руководить великосветским политическим салоном своего мужа, М.Ф. Орлова наиболее четкими чертами рисуется на общем фоне женской половины семьи Раевских. Несколько лет спустя Пушкин сам подтвердил ту зоркость, с которой он приглядывался к незаурядной девушке: создав «Бориса Годунова» и вырисовывая в этой драматической поэме образ Марины Мнишек, поэт писал Вяземскому:

«Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова, знаешь ее? Не говори, однако ж, этого никому».

С нею же, по-видимому, Пушкин вел беседы, следы которых остались в его произведениях. Строки «Бахчисарайского фонтана»:

Младые девы в той стране
Преданье старины узнали,
И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали...

дополняются строчкой из письма к Дельвигу (1824 г.):

«Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана. К. поэтически описывала мне его, называя *la fontaine des larmes*».

А в первом черновике этого письма есть зачеркнутые полстроки: «Поэтическое воображение К** назвало...»

Таким образом, усердная читательница Байрона и страстный его поклонник находили порою общий язык для романтических мечтаний.

По-видимому, Пушкин пытался еще «байронствовать» с Екатериной и в житейском, а не только в литературном плане: через год с небольшим Екатерина Николаевна, уже вышедшая замуж и жившая в Кишиневе, куда еще раньше приехал Пушкин, писала старшему брату:

«Пушкин больше не корчит из себя жестокого; он часто приходит к нам курить свою трубку и рассуждает или болтает очень приятно».

Атмосфера легкой влюбленности, романтические мечтания и байронические флиртовые поединки, атаки «жестокое» на уравновешенное сердце девушки – вот та почва, на которой строились отношения Пушкина к девицам Раевским, введенные, конечно, в строгие рамки старинного семейного уклада, хотя и слегка расшатанного условиями экзотического путешествия.

Впрочем, Пушкин тайком, крадучись пытался переступить эти рамки. Страстный юноша с повышенной сексуальной возбудимостью, часто встречавший легкую любовь в Петербурге и имев-

ший по этой части большой опыт, не мог не искать выхода своим импульсам. В какой среде разворачивались его поиски, нам неизвестно. Татарский семейный уклад едва ли мог дать этим поискам какой-нибудь простор. О какой-либо русской семье, жившей тогда в Гурзуфе, у нас тоже нет никаких данных. Остается допустить – и то лишь в порядке напрашивающегося предположения, – что объектом неприкрашенных любовных домогательств поэта был кто-нибудь из женского персонала, обслуживавшего семью Раевских. Помимо же этого, Пушкин давал волю своей чувственной мечте и своему нескромному взгляду, попросту подглядывая за купающимися в море девицами:

Среди зеленых волн, ласкающих Тавриду,
На утренней заре я видел Нереиду.
Скрытый меж дерев, едва я смел вздохнуть:
Над ясной влагою полубогиня грудь
Младую, белую как лебедь, воздымала
И пену из власов струею выжимала.

Таким образом, «свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства» слалась для Пушкина из бесед на исторические и политические темы, из литературных разговоров, из романтически-мечтательной болтовни, из наблюдений над незаурядными индивидуальностями членов семьи Раевских – и все это на фоне легких флиртовых переживаний, осложненных более сильными и более грубыми прорывами страстной природы поэта.

Три недели в Гурзуфе минули быстро.

Генералу Раевскому надо было уезжать, и давно пора было ехать и Пушкину. 4 или 5 сентября старик Раевский и Пушкин покинули Гурзуф, верхом направляясь по горным тропам западной части Южного берега. Они пробрались опасным ущельем в районе Кикенеиза, перевалили через горы, свернули в сторону с целью посетить Георгиевский монастырь и затем, минуя почему-то Севастополь, находящийся в двенадцати верстах от Георгиевского монастыря, взяли путь на Бахчисарай.

Первая часть их дороги изобиловала выразительными пейзажами (вид на весь Южный берег с высот Яйлы) и характерными

дорожными деталями: приходилось пробираться иссохшими руслами горных речек, продираться сквозь заросли и одолевать карнизы первобытных тропинок, вьющихся над пропастями. Император Николай I, вспоминая свое путешествие по этим местам в 1816 г., писал: «Тогда не иначе можно было ездить, как верхом, на привычных лошадях, нередко с опасностью, через горы».

Муравьев-Апостол такими красками описывает «Чертову лестницу», спуск близ Кикенеиза:

«...начался ужаснейший спуск, который одним помышлением о нем наводит трепет... Это место по всей справедливости можно было бы назвать Флегрейскими полями, где, по языческому преданию, чада земли сражались с небожителями... Страшные их (скал) обломки висят над головою и на каждом шагу грозят страннику участью Титанов».

Пушкин, прочитав книгу Муравьева, писал Дельвигу: «Я объехал полуденный берег, и путешествие М. оживило во мне много воспоминаний; но страшный переход его по скалам Кикенеиза не оставил ни малейшего следа в моей памяти. По горной лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно и казалось каким-то таинственным восточным обрядом...».

Таким образом, и тут сказалось то «различие впечатлений», которое поразило самого Пушкина при чтении муравьевской книги: Пушкин оказался невосприимчив к грозным деталям горного пути.

О дальнейшей дороге Пушкин пишет:

«Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была береза, северная береза. Сердце мое сжалось: я начал уж тосковать о милом полудне, хотя все еще находился в Тавриде, все еще видел и тополи, и виноградные лозы. Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы. Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических; по крайней мере, тут посетили меня рифмы. Я думал стихами. Вот они:

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой эвмениды;
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
Своим созданием возгордилось.
Ч(адаев), помнишь ли бывшее?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень, и тишина.
И в умиленьи вдохновенном
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена...

Любопытно отметить в этом отрывке противопоставление северной березы – как символа «туманной родины» – традиционным тополям и виноградным лозам, хотя на горных высотах ни те, ни другие не встречаются. Можно думать, что Пушкин расценивал природу Южного берега не самое по себе, с ее специфическими очарованиями, но как вещественные знаки экзотической страны, «пределов дальних». К этому моменту, важному для понимания пушкинских переживаний в Крыму, мы еще вернемся.

Характерно и другое: «сильное впечатление», произведенное гигантским обрывом, по которому спускается к морю тропа от Георгиевского монастыря. Действительно, пейзаж этот чрезвычайно выразителен: справа мыс Фиолент, пятисотметровой высоты, близ которого поднимаются из моря колоссальные обелиски когда-то отделившихся от берега утесов. Слева врезается в море еще более монументальный мыс Айя, каменные

границ которого на закате становятся пурпурными (по расчету времени и расстояния путники должны были прибыть в Георгиевский монастырь к вечеру). Прямо против монастыря недалеко от берега – небольшой остров: рухнувшая в море скала. Все это грандиозно и величественно, но подобные картины Пушкин видел и в Гурзуфе (такой же пурпурный на закате Аюдаг), и с высот «Чертовой лестницы». Поэтому «сильное впечатление» представляется мало обоснованным, и напрашивается мысль о неполной искренности Пушкина в этом вопросе, тем более что сложившиеся там стихи ни малейшего отношения к пейзажу не имеют – так же, как и созданная на корабле элегия «Погасло дневное светило»; а ведь в последнем случае Пушкин «не любопытствовал».

Многозначительно и признание Пушкина в том, что для него «мифологические предания счастливее воспоминаний исторических». Развалины полулегендарного храма Дианы (Артемиды) Таврической в конце концов были не более чем беспорядочной грудой камней, обомшелых и источенных временем и ветром, какие Пушкин видел в Керчи или мог видеть на вершине Аюдага, где императором Юстинианом I было возведено укрепление. Но связанный с этим храмом величавый миф об Ифигении, многократно подвергавшийся литературной обработке, разбудил в Пушкине лирическое волнение и породил стихи. То, что уже было литературой, оказалось для Пушкина литературно плодоносным. Правда, ассоциация увела Пушкина далеко от Артемиды Скифской: миф об Оресте и ПилADE послужил лишь трамплином для стихотворения с политическими намеками («я мыслил имя роковое предать развалинам иным»), конец которого («пишу я наши имена») вызывает в памяти другую, более раннюю пьесу, обращенную к тому же Чаадаеву:

...взойдет она,
Звезда пленительного счастья:
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Но тем более знаменателен источник пушкинского вдохновения: послание к другу вольнолюбивой юности родилось от мысли о знаменитой дружбе мифологических героев: «литература» оплодотворяла «жизнь».

Здесь нелишне отметить, что автор сентиментального «Путешествия в полуденную Россию» В. Измайлов, посетив в 1799 г. Георгиевский монастырь, пересказывает в соответственном месте книги миф об Ифигении, Оресте и Пиладе и умиленно добавляет: «Мне довольно знать, что редкое торжество дружбы происходило на сем полуострове».

После посещения Георгиевского монастыря путешественники направились в столицу крымских ханов, в Бахчисарай.

Пушкин пишет:

«В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слышал о странном памятнике влюбленного хана. К. поэтически описывала мне его, называя *la fontaine des larmes*. Вошел во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевет, и на полуевропейские переделки некоторых комнат. N N (Раевский. – Г. Ш.) почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище.

Но не тем
В то время сердце полно было:

лихорадка меня мучила. Что касается до памятника ханской любовницы, о котором говорит М(уравьев-Апостол), я о нем не вспомнил, когда писал свою поэму, а то бы непременно им воспользовался».

Бахчисарай в то время был еще крупнейшим городом Крыма с восьмидесятысячным населением, туго заполнявшим кривые переулочки, толпившимся на знаменитом базаре вокруг крошечных восточных лавчонок, кофеен и закусовых. Над городом подымались тридцать три минарета, и в густом саду скрывался ханский дворец, и белели украшенные мраморными чалмами и арабской вязью надписей надгробия ханских могил. У многочисленных фонтанов можно было видеть открыто моющихся

татар; в одной из мечетей помещалась мусульманская школа, где десятки сидящих на корточках ребят хором выкрикивали заучиваемые наизусть непонятные им строфы Корана. В некоторых мечетях совершались иступленные ночные бдения «вертящихся дервишей», экстатическая секта которых не перестала существовать, кажется, и поныне. Восточный колорит с наибольшей, чем где бы то ни было в другом городе Крыма, сочностью сказывался в Бахчисарае пушкинских времен.

Ханский дворец был в большом запустении: выщербленные изразцы порталов, осыпавшаяся штукатурка покоев, случайная мебель, запасенная еще по приказу Потемкина для собиравшейся посетить Крым императрицы, выцветшая и изломанная, – все говорило о полном отсутствии внимания к историческому памятнику. Легкие и узорчатые киоски, где когда-то обитали ханские жены и наложницы, стояли без окон и дверей или же были превращены в склады всяческой рухляди. Но, несмотря на это, дворец давал достаточно простора исторической и поэтической мечте. Чего стоил хотя бы один «кафат» – потайное окошечко на хорах того зала, где заседал ханский совет, диван. Притаившись за этим окошечком, хан мог слышать весь ход прений дивана и судить, «справедливо» или «несправедливо» решают дела его сановники. Все традиционные представления о государе как о верховном неподкупном и справедливом судье, все мечты мусульманского Средневековья о таком монархе, создавшие легенду о Гаруне-аль-Рашиде, воплотились в этом окошечке. Ханское кладбище также было примечательно. Измайлов пишет о нем:

«Мавзолеи, поставленные в саду ханском, заросшие густыми деревьями, покрытые священной тенью, возбуждают благоговейный трепет в тех сердцах, которые умеют чувствовать».

Среди памятников выделялось обширное надгробие, воздвигнутое ханом Керым-Гиреем над могилою своей жены, грузинки. Об этом памятнике упоминает еще Сумароков, и подробно описывает его Муравьев-Апостол.

Приведенные выше строки пушкинского письма вновь подчеркивают уже сложившееся наблюдение о малой заинтересованности Пушкина конкретными и бытовыми чертами. Правда, в Бахчисарай приехал он, хвора лихорадкой, – но если это и мог-

ло помешать пристальному осмотру любопытного города, то все же хоть некоторые черты, наблюденные при проезде через него, могли бы запечатлеться. Характерно то разочарование, которое сквозит в зарисовке *поэтически описанного* «фонтана слез». Спустя немало лет с таким же разочарованием описывает Пушкин в «Путешествии в Арзрум» пресловутую «азиатскую роскошь». Это первое несовпадение «поэзии» и «правды» сразу отбило у Пушкина охоту к дальнейшему знакомству с ханским дворцом, и старый генерал Раевский почти насильно должен был тащить равнодушного поэта в развалины гарема и на кладбище – причем самый заметный памятник последнего, громадный венчаный куполом мавзолей над могилой любимой жены Керым-Гирея, попросту не был замечен поэтом. В дальнейшем Пушкин легко «позабыл о нем» при создании «Бахчисарайского фонтана», хотя этот памятник и связанная с ним легенда могли дать немало колоритных штрихов для поэмы. Ссылка на лихорадку не все оправдывает.

Замечательной чертой приведенного отрывка является самопародирование Пушкина. Как известно, в «Бахчисарайском фонтане» Пушкин описывает свое посещение ханского дворца; говоря о своих переживаниях, поэт дает такие строки:

Где, скрылись ханы? Где гарем?
Кругом все тихо, все уныло,
Все изменилось... Но не тем
В то время сердце полно было:
Дыханье роз, фонтанов шум
Влекли к невольному забвенью,
Невольно предавался ум
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной...

Оказывается же, что ни «волнения», ни «летучей тени», ни «невольного забвенья» – не было, что сердце поэта поистине «не тем полно было»: что просто Пушкина донимал озноб...

Еще черта, указывающая на эмансипацию поэзии Пушкина тех времен от действительных жизненных впечатлений.

Восьмого сентября Пушкин и Раевский были уже в Симферополе, а 21 сентября поэт прибыл в Кишинев. От Симферополя до Кишинева около 700 километров. Если дорога заняла у Пушкина семь или даже восемь дней, то и тогда на пребывание в Симферополе приходится четыре или пять дней. Этот период ни одной строкой не отмечен ни в воспоминаниях, ни в стихах Пушкина («Брега веселые Салгира» вернее всего относится не к симферопольскому Салгиру, а к гурзуфскому Сунарпутану, так как «салгирами» в Крыму называют пересыхающие русла речек, а кроме того, дальше говорится о склонах «прибрежных гор», о «таврических волнах»), равно как небезынтересная дорога через Перекоп, устье Днепра и пр. Правда, поэт хворал лихорадкой, уехал тоже больным (см. письмо А.И. Тургенева к П.А. Вяземскому от 3 ноября 1820 г.; Ост. Арх., II), на обеде в честь Раевского у губернатора Баранова не присутствовал, но нездоровье его было очевидно не очень сильно, иначе его больным непустили бы в нелегкое путешествие в Бессарабию.

Мы опять встречаемся с отсутствием активной заинтересованности окружающим.

Виделся же в Симферополе Пушкин с незаурядными людьми. Там был крупный ученый, химик Дессер, в доме которого (сохранившемся до сих пор) остановился Раевский и, вероятно, Пушкин; блестящий граф Ланжерон, сподвижник Ришелье; наконец, крупной личностью являлся и губернатор Баранов, близкий знакомый А.И. Тургенева, обладавший редким организаторским талантом, приведшим его в возрасте 23 лет на пост губернатора... Поэт ни одним звуком не упоминает об этих лицах...

Суммируя внешние данные месячного пребывания Пушкина в Крыму, мы видим, что пушкинское общение с людьми состояло в беседах на исторические, политические и литературные темы, в осторожном ухаживании за девицами Раевскими; что его восприятие природы и обстановки было пассивным и вялым, и реакция на эту обстановку пониженной. Между тем мы знаем, что Пушкин не был чужд политической мысли, стоял близко к декабристам, усердно посещал в Кишиневе политический салон Орлова, мужа Екатерины Раевской, кипел в политических спорах в Каменке, страстно реагировал на вести о восстании гетерис-

тов, наслаждался беседой с Пестелем («умный человек в полном смысле слова»), «эпатировал» (порой довольно безобразно – случай с Балшем) молдаванских бояр, жадно присматривался к кишиневскому быту и тут же закреплял впечатления в эпиграммах и сатирах...

Перед нами как будто два разных человека...

Летом 1927 года Георгий Шенгели уехал из Москвы в Крым – подалее от готовящихся пышных торжеств по случаю первого юбилея большевистского государства. И от опасностей, нависающих (пока незримо) над его собственной судьбой. Уехал, как полагал, насовсем – вернулся на родину. В Симферополе он преподает в институте (будущем университете), много переводит, пишет стихи и беллетризованные мемуары «Черный погон». Начинает работу над историей некогда славного Боспорского царства, в бывшей столице коего, Пантикапее (Керчи), он родился и вырос. И над книгой «Пушкин в Крыму». Полтора года спустя ему приходится покинуть Крым. Но и в Москве задержался ненадолго: предупрежденный товарищем о готовящемся разгроме Государственной академии художественных наук (ГАХН), где Шенгели – после смерти Брюсова – возглавлял отделение изящной словесности, отправился преподавать в Самарканд, в тамошний пединститут. И там опубликовал первую главу книги о Пушкине, к работе над которой уже не вернулся. Эта, на мой взгляд, замечательная публикация по сию пору остается практически неведомой и пушкинистам, и – тем более – читателям...

Вадим Перельмутер

Печатается по тексту сверенной с авторской машинописью единственной публикации: На путях культурной революции. Выпуск 1-й. Изд. Узбекского государственного высшего педагогического института. Самарканд, 1930, с. 55-76; подпись, Проф. Г.А. Шенгели.

Основные примечания сделаны Шенгели, немногие добавленные автором этих строк помечены инициалами в косых скобках.

«У беспокойного Никиты, // У осторожного Ильи»... – Никита Муравьев и Илья Долгоруков.

Павел Сумароков – Сумароков Павел Иванович (1760-1846), писатель, в конце XVIII был крымским судьей, его книги «Путешествие по Крыму и Бессарабии в 1799 г.» (1800) и «Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду» (1803-1805) положили начало исследованию Крыма и принесли автору славу «первооткрывателя земли крымской». /В. П./

...остановились у Броневского – редактор «Писем» Пушкина (т. I, с. 212-213) Б.Л. Модзалевский приписывает Броневскому, ссылаясь на Геракова, сочинение «О Южном берегу Крыма». Ту же ошибку повторяет проф. Е.В. Петухов в очерке «Крым в русской литературе» (Симф., 1927, с. 7), называя Броневского вдобавок Владимиром Богдановичем. «Пушкинский» Броневский, Семен Михайлович, является автором «Новейших географических и исторических известий о Кавказе»; автором «Обозрения Южного берега» является его кузен, морской офицер Владимир Богданович, с которым именно и виделся Гераков 25 августа 1820 г. в Симферополе. Брат последнего, Семен Богданович, губернатор Сибири (ср. в заметке Брюсова «Пушкин в Крыму». «Соч. Пушкина», Венгеровское изд., ст. II, и А.А. Бертье-Делагард «Память о Пушкине в Гурзуфе». «Пушкин и его современники», вып. XVII-XVIII, с. 105).

...Хранящих герб // То дожей, то крымских ханов – «Молитва о городе» (1918). /В. П./

Какие новые товары... – «Евгений Онегин. Отрывки из путешествия Онегина». /В. П./

Andrieux – ресторатор.

Этот кипарис стал легендарным... – впрочем, как утверждает Бертье-Делагард, кипарис, показываемый ныне в качестве «пушкинского» и воспроизведенный на сотнях открыток, как раз не тот, о котором говорит поэт.

Семен Бобров в своей «Тавриде» – Бобров Семен Сергеевич (1763/65-1810), поэт; поэма «Таврида, или Мой летний день в Таврическом Херсонесе» (1798). /В. П./

«Confiance perdue ou le Serpent mangeur de kaimak» – «Потерянное доверие, или Змей – пожиратель каймака». /В. П./

...смотрела на Вечернюю звезду, называя ее своим именем... – здесь имеется в виду известная элегия Пушкина: «Редеет облаков летучая гряда». По вопросу о том, к кому из девиц Раевских относятся заключительные строки элегии: «И дева юная во мгле тебя искала //

И именем своим подругам называла» – мнения исследователей расходятся. Вечерняя звезда, Венера, в католической мистике иногда называется «звездой Марии», быть может, поэтому Мария Раевская могла называть ее «своим именем». Но нам кажется, что более обоснованно другое мнение, относящее элегию к Елене: по античному мифу, который с большим вероятием можно считать известным в семье Раевских, культурно выросшей на почве французского классицизма, впитавшего в себя множество античных элементов, Елена Спартанская превратилась в Вечернюю звезду. Однако, так как сам Пушкин говорит, что в Гурзуф они прибыли «при свете утренней Киприды» (то есть Венеры), а Венера утренняя становится вечерней только через полгода, то возможно, что Елена приняла за Венеру почти столь же яркий Юпитер, и тогда последние строки элегии приобретают слегка насмешливый характер (ср. Вересаев. «Таврическая звезда». Пушкин и его современники, вып. XXXVII).

«К... поэтически описывала мне его, называя *la fontaine des larmes*» – есть авторитетное мнение, что рассказ о «Фонтане слез», слышанный Пушкиным еще в Петербурге от Николая Раевского, был повторен ему в Гурзуфе не Екатериной, но Марией Раевской, бывшей якобы предметом страстной и глубокой любви поэта, и что буква «К» в письме к Дельвигу поставлена Пушкиным нарочно – с целью замаскировать подлинный источник рассказа о фонтане. Это было будто бы необходимо ввиду ряда нескромностей, совершенных друзьями и литературными знакомыми Пушкина в связи с историей написания «Бахчисарайского фонтана» и с фактом гощения поэта у Раевских. Не касаясь здесь вопроса о том, была ли пятнадцатилетняя Мария знаменитой «утаенной» любовью Пушкина, мы заметим, что странно было бы «отводить» мысль от семьи Раевских, заменяя подлинный инициал «М» фиктивным «К»: носительница этого инициала тоже ведь была Раевской. Соображение же П. Щеголева, что название светской девушки в рассчитанном на печатание письме к приятелю одним инициалом имени (Катерина) было бы «невозможной грубостью», нам представляется чересчур утонченным: прежде всего, в письме к Вяземскому Пушкин называет Екатерину Николаевну именно Катериной, в донжуанском списке Пушкина имеется целых четыре Катерины; наконец здесь, как уже многократно указывалось, возможно подразумевать уменьшительное имя (Катя, Кэт, Китти).

Предположение же, что читатель должен был букву «К» принять непременно за инициал фамилии, ровно ни на чем не основано.

...автор сентиментального «Путешествия в полуденную Россию» В. Измайлов – Измайлов Владимир Васильевич (1773-1830), писатель, журналист, в 1799 г. совершил путешествие по Южной России, упоминаемая книга вышла в 1800-1892 гг. /В. П./

...химик Дессер – французский химик Ф.А. Дессер в 1807 г. провел первые исследования грязей в Саки, положив начало знаменитому курорту. /В. П./

...блестящий граф Ланжерон – Александр Федорович Ланжерон (Луи Александр, 1763-1831), офицер французской армии, затем генерал российской, с ноября 1815 г. херсонский военный губернатор, градоначальник Одессы и управляющий по гражданской части Екатеринославской, Херсонской и Таврической губерний. /В. П./

...губернатор Баранов Александр Николаевич (1793-1821) – таврический губернатор (1819-1821). Губернатором он, правда, стал не в 23 года, как указывает автор, а в 26, что, впрочем, тоже говорит о «редком организаторском таланте». /В. П./

...случай с Балшем – о конфликте Пушкина с Тудором Балшем см., например, воспоминания И.П. Липранди и П.И. Долгорукова. /В. П./

Публикация Вадима Перельмутера

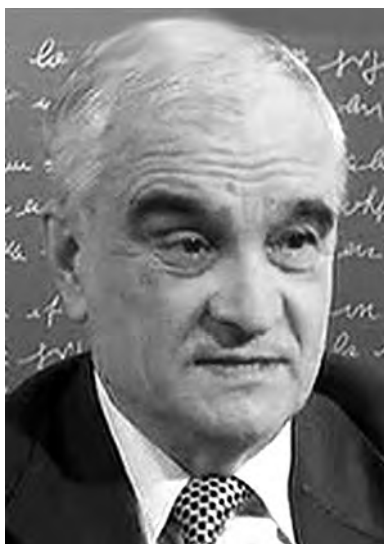


Сокровища из сокровищницы

338 Татьяна Щурова
«Сохранить прекрасное»

Татьяна Щурова

«Сохранить прекрасное»



В наше прагматичное время становятся особо ценными такие понятия, как подвижничество, бескорыстие, высокая нравственность. Все эти качества находим в жизни и деятельности Валентина Семеновича Максименко. Судьба подарила ему два призвания, благодаря которым его имя стало известно далеко за пределами Одессы. Профессор математики, академик, один из лучших преподавателей города (знаю его восторженных и благодарных учеников разных поколений) и в то же время авторитетный театровед, музыковед.

В каталоге Одесской национальной научной библиотеки соседствуют его труды по математике и книги по истории театра и музыки, которые все стали раритетами сразу после выхода.

Мы вспоминаем о достоинствах Максименко не только в связи с прошедшим в ноябре минувшего года его 80-летием. Недавно в издательстве «Астропринт» вышли две его новые книги: «Дарованные встречи» (2015) и «Память сердца» (2016). Вероятно,

идя навстречу солидной дате, Валентин Семенович решил в какой-то степени подытожить свои воспоминания о встречах с людьми, в разное время формировавших его духовную жизнь, оставивших глубокий след в памяти. Здесь же и современные мастера искусств, и люди разных профессий. Автор пишет: «Все мои герои – люди, которых я чту... Старался передать это чувство читателям». Но при этом нужно сказать, что В.С. Максименко всегда весьма избирателен в своих пристрастиях, категорически не приемлет фальши, самодовольства, приспособленчества.

Знаю Максименко с конца 1970-х гг. В то время на одесском телевидении выходила ежемесячная программа «Одесса музыкальная». У нас в этом телеобзоре была постоянная страница «В мире книг о музыке». Ведущими передачи попеременно были Галина Поливанова, Евгений Ермаков, Валентин Максименко. Выходили в прямом эфире поздно ночью после окончания программ Центрального телевидения. В ожидании эфира много общались – в каждой передаче были композиторы,





Ю. Дынов, Л. Сатосова, В. Максименко. Фото М. Рыбака

вокалисты, известные музыканты. С благодарностью вспоминая уроки, которые ненавязчиво давал мне тогда Валентин Семенович, стремясь в силу своего педагогического дара направить неискушенного «телевизионщика». Мы подружились, выяснили, что ко многим явлениям в музыке и театре относимся одинаково. Были счастливы, когда с невероятным трудом попадали на концерты, скажем, Елены Образцовой или Владимира Крайнева, истратив с радостью на эти прекрасные события значительную часть своих скромных зарплат. Подумаешь! Зато какие впечатления на всю жизнь... Затем были заседания в Союзе театральных деятелей, встречи на премьерах и обсуждениях спектаклей, в Доме актера на ночных незабываемых концертах и спектаклях. Общение продолжалось в библиотеке – Максименко уже тогда углубленно занимался многими темами, которые в последующие годы постепенно превращались в статьи, книги. Колоссальная подвижническая работа была им проделана при подготовке книг по истории нашего оперного театра и книги «Выдающиеся композиторы в Одессе». Нужно было «перелопат-



Г. Олейниченко, А. Джамагорцян и В. Максименко. Одесса, 2007 г.

тить» огромное количество подшивок старых одесских газет – исследователь тщательно педантично проверял каждый исторический факт, ибо не прощает ни себе, ни другим авторам книг небрежности или намеренного искажения событий.

Сорок лет Максименко связан с Театральным обществом Одессы, созданным в 1976 году по инициативе З.Г. Дьяконовой. Потом она передала ему «бразды правления». Ответственная ноша – столько лет достойно в масштабах городской организации постоянно заботиться о духовной жизни старшего поколения театральных зрителей. Но это для Валентина Семеновича была и возможность многие близкие для него темы «проговорить», проверить на слушателях. Он всегда предельно ответственно относится к каждому своему выступлению, адресует его подготовленному слушателю и читателю, имеющему опыт театрального





Л. Гинзбург и В. Максименко в одесском Доме актера на вечере памяти В. Селявина

зрителя, любящего этот вид искусства. Его слово несет нравственный заряд, ему всегда интересна мотивация поступков талантливых людей, благородство или человеческие слабости, которым не всегда можно противостоять.

В своих книгах В.С. Максименко стремится вернуть забытые имена и обратить наше внимание на уникальный талант современника. Книги «Дарованные встречи» и «Память сердца» насыщены знаменитыми именами, интересными событиями культурной жизни прошедших десятилетий. В коротких, информационно насыщенных очерках и воспоминаниях автору удается рассказать о характерных чертах человека, передать неповторимость таланта («Таких больше не будет...»). И тут же его зрительская благодарность: «Звезды дарили нам минуты радости, помогали жить, освещая жизнь светом... Мы уходим с их спектаклей просветленными. И за это – спасибо».

Трудно перечислить имена героев этих книг. Они все достойны читательского внимания. Эмоциональное изложение материала подкупает и заражает, от книг трудно оторваться. Ведь речь идет,



Вороному Валеруши Софееву
 Жилец доброго. Ваши
 Раневская. Москва. 27.10.2014
 (Соловьевская)

например, о Ф.Г. Раневской (с которой автор имел счастье переписываться в течение 12-ти лет), о Татьяне Шмыге, Зиновии Гердте, Заре Долухановой, Аркадии Райкине, Галине Олейничнеко (одной из самых больших творческих пристрастий В. С., сумевшего в 2014 году выпустить книгу о певице). Много интересных фактов на страницах, посвященных выдающимся вокалистам прошлого и нынешним талантливым оперным мастерам. Возвращены забытые имена артистов балета. Щмящие воспоминания о Лии Буговой, Борисе Зайденберге, Зинаиде



В. Максименко и Ф. Кохрихт во Всемирном клубе одесситов

Дьяконовой, Юрии Дынове, Михаиле Водяном. О трех последних Максименко удалось подготовить и издать книги. Обширный архив автора позволил ему поместить в книгах редкие фотографии, изображения старых афиш, очень интересны трогательные искренние автографы мастеров искусств разных поколений.

Жизнь Валентина Семеновича счастливо наполнена также встречами со многими интеллигентными людьми Одессы. Это коллеги, друзья, учителя, врачи, музейщики. Думаю, не менее интересна глава «Но кто мы и откуда (осколки



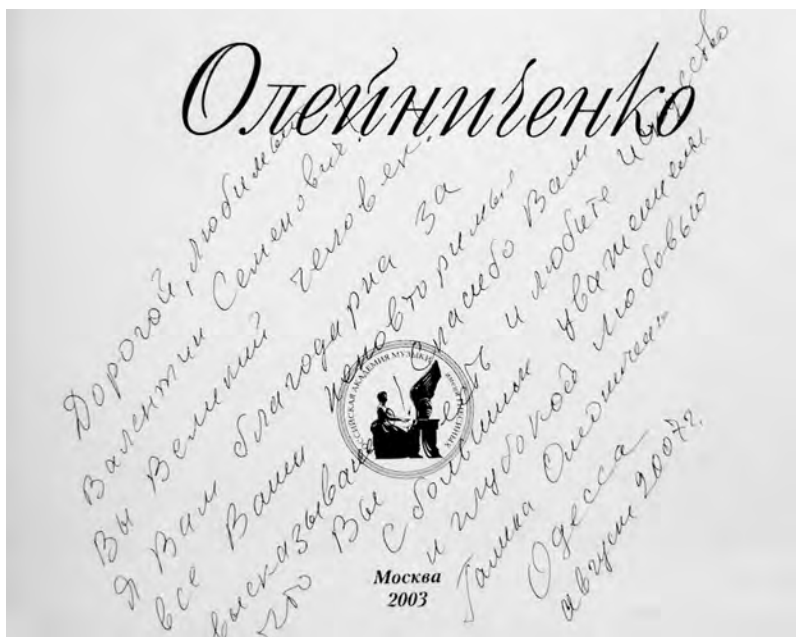
Т. Шмыга

(На обороте автограф: «Милому Валентину Семеновичу мои самые искренние, самые нежные пожелания!!! Но не это главное... Просто очень рада нашему знакомству – творческому. Очень бы хотела, чтоб оно продолжалось»)

1979 г.



Т. Олейниченко и В. Максименко в одесском Доме актера



Автограф Т. Олейниченко

памяти)», в которой автор впервые рассказал историю своей семьи – такую, в общем-то, типичную и в чем-то неповторимую... Заметим, что книги посвящены Алле, Алле Борисовне – другу, жене, настойчивости которой, как мы понимаем, читатели обязаны появлением этих изданий.

Архивы Валентина Семеновича Максименко не исчерпаны. По секрету скажу вам, что он подумывает о новой книге. Пожелаем ему здоровья и удачи! Верно написал доктор искусствоведения из Чикаго Дмитрий Азрикан: «История продолжается. Пока есть такие люди, как В.С. Максименко, культуре ничего не угрожает».



Путешествие

348 **Феликс Кохрихт**
Майсен: город голубых мечей

Феликс Кохрихт

Майсен: город голубых мечей



На земном шаре есть немало городов, символом которых являются клинки: кинжалы, сабли, шпаги – их, как правило, изображают на гербах. Два скрещенных голубых меча уже несколько веков ассоциируются с немецким городом Майсеном – так он звучит на родном языке, у нас же известен как Мейсен, что связано с давней и устаревшей отечественной традицией, согласно которой поэт Гайне превратился в Гейне, Ляйпциг – в Лейпциг, Ваймар – в Веймар и т. д.

Впрочем, эти мечи не фигурируют на гербе города – на нем доминирует геральдический лев, утвердившийся на щите примерно с конца IX века, когда король Генрих Первый заложил на горе над Эльбой замок, который тем не менее получил имя другого правителя – Альбрехта, и именуется сегодня Альбрехтсбургом. Как видим, здешняя история полна таких вот казусов, с которыми и сегодня разбираются историки.

Тем не менее не лев, а голубые мечи, повторим, являются символом Майсена, и сделали этот небольшой саксонский город известным во всем мире. Во всяком случае, уж точно его знают искусство-

веды, коллекционеры, антиквары, да и туристы едут сюда, чтобы увидеть место, где родились и производятся сегодня сервизы, чашки с блюдцами, фигурки придворных дам, кошечки и собачки, корпуса часов, и все – из уникального майсенского фарфора. Он был создан после многолетних опытов, которые пытливые мастера производили с местной глиной, смешивая ее в разных пропорциях с другими ингредиентами. Наконец, здесь родился уникальный фарфор – красный и белый, который можно смотреть на просвет... Случилось это в начале XVIII века на той же горе, где в замке Альбрехтсбург была открыта первая фарфоровая мануфактура. Важно, что она была таковой не только в Майсене, но и на территории тогдашних германских государств и даже во всей Европе, и положила начало всем школам и традициям, включая веджвудскую, севрскую, ломоносовскую... Что до торговой марки – скрещенных голубых мечей, то она была заимствована с герба Саксонии и так и прижилась на донышках чашек и блюдец.

На этом мы отвлечемся от фарфоровой темы – об этом можно прочитать и в книгах, и в Интернете, а изделия увидеть в музеях, и в первую очередь – в столице Саксонии Дрездене, в музеях Цвингера.

Как это ни странно, в самом Майсене этот символ (голубые мечи) сегодня вовсе не доминирует. Мало того, что отсутствует на городском гербе, но его не встретишь ни на вокзале, ни на пристани, куда прибывают туристы, ни в декоре улиц, площадей... Нет даже информационного щита, внятных указателей, как пройти к нынешней мануфактуре, которая давно уже переехала с горы в другое место... Удивительно, но нет в продаже и сувениров на эту тему – даже магнитов с голубыми мечами. Да и альбомов не много...

Мы видели главную гордость города лишь несколько раз – в витрине очень дорогого магазина, на прилавках антикварных лавок. Разумеется, речь идет не о подделках, которыми наводнен мир, а о настоящих изделиях. Цены на них нынче высокие, и даже очень.

Впервые мы побывали в Майсене в молодости – в 70-е годы минувшего столетия. Тогда это был тихий гэдээровский город, опрятный, но со следами войны и лихолетья, которые нынче исчезли. К чести местных властей – Майсен избежал включения в историческую застройку современных сооружений, хотя его инфраструктура



и городской транспорт – на высоком и комфортном уровне. Более того, в городской черте и по сегодняшний день плодоносят виноградники – еще один отличительный символ Майсена. Здешний климат – уникальный для Саксонии, позволяет выращивать местные сорта винограда и с давних времен производить отменное белое вино – самое северное из тех, которыми славится Германия.

К историческим и архитектурным памятникам ведут пешеходные улицы и улочки, начинающиеся от церкви Девы Марии (Фрауенкирхе – как

и во многих городах Германии). Они плавно поднимаются до склона Бургберга (Горы), откуда путь лежит по узким крутым лестницам – до самой вершины, где высится еще один символ Майсена – Кафедральный собор. Два его шпиля не только соперничают с двумя голубыми мечами, но и, на наш взгляд, точнее и пафоснее, что ли, выражают суть этого города-форпоста на Эльбе, заложенного тысячелетие назад основателями княжества – нынешнего Свободного государства Саксония, входящего в состав ФРГ.

Готический собор был заложен в 1250 году на месте романской церкви, и его строительство продолжалось до начала XX века, когда башни приобрели нынешний облик. Они видны с Эльбы, практически из всех районов города. Появляются шпили и в той части сериала «Семнадцать мгновений весны», в котором незабвенный и трогательный Евгений Евстигнеев под псевдонимом профессора Плейшнера бредет по улице Блюменштрассе (Цветочной) швейцарского Берна и, опьяненный воздухом свободы, попадает в гестаповскую ловушку. Горшок с цветком-паролем стоял на окне дома, который и сегодня можно увидеть на Бургштрассе. Фильм снимали в Майсене, но кто из советских киноз-

рителей знал об этом? А мы – знали, потому что за несколько лет до этого сделали фото собора сквозь арку, ведущую к нему...

Это черно-белое фото, собственноручно проявленное и напечатанное в ванной, к сожалению, затерялось, но мы и сегодня нашли тот же ракурс и предлагаем нашим читателям взглянуть на собор и другие виды Майсена.

Завершим эти заметки тем, с чего начали. Мы, к сожалению, не увидели шедевры искусства майсенских мастеров, но зато услышали их эхо. Несколько раз в день над городом разносится звон, который отличается особым, необыкновенно мягким изысканным тоном. Вернее – голосами: церковные мелодии исполняются на фарфоровых колоколах, входящих в уникальный карильон (сочетание колоколов) на башне Фрауенкирхе.

Такого не услышишь нигде.

Р. С. И все же мне однажды удалось подделать символ майсенского фарфора. Случилось это много лет назад, еще в СССР, поэтому за давностью этот грех, надеюсь, будет мне прощен. Тогда Таня, я и наш приятель, одесский живописец, назовем его Фанфан, поехали в Москву – по мастерским художников, музеям и друзьям-одесситам, ставшим жителями столицы. Перекусили в знаменитой пирожковой у ГУМа, расплатились. И тут наш приятель, человек оригинальный и прыткий, решил приобщить тарелку с клеймом московского общепита к своей коллекции. Уже много лет он заимствовал подобные изделия повсюду, где бывал, путешествуя по огромной стране.

Впервые я увидел, насколько ловко он это делает, – через секунду тарелка оказалась за пазухой. Ошарашенные, мы с Таней все же пришли в себя и с нашим лихим корешем отправились на метро в гости к подруге, уже имевшей статус московской филологини, как и ее столичный супруг. Они усадили нас на кухне и принялись потчевать. И тут наш Фанфан-фантазер начал травить на полном серьезе байку: якобы он в нашем присутствии увел из пирожковой тарелку, на которой оказалось майсенское клеймо –





голубые скрещенные мечи. Его треп не произвел особенного впечатления на хозяев, а меня, как говорится, достал.

Я вышел в коридор, извлек из Фанфанова портфельчика перепрятанную им тарелку. Быстро перебежал в кабинет хозяина, нашел на письменном столе голубой фломастер и молниеносными движениями нанес на оборотку тарелки два изогнутых голубых клинка. Да так здорово, что обомлел.

Вернулся на кухню, где наш приятель, подобно Хлестакову, возносился к финалу своей бравады. Он посмотрел на меня и сказал: «Не верите?! Но Феля

может подтвердить, что все так и есть!». При этом он подмигнул мне, а я в ответ невозмутимо сказал: «Ну, разумеется», – и протянул всем на обозрение тарелку со свидетельством ее принадлежности к славному городу Майсену...

Реакция была следующей. Таня меня сразу раскусила, но промолчала, хозяева вежливо улыбнулись, а вот на Фанфана было интересно посмотреть. Он был изумлен и, может быть, впервые в жизни потерял свою легендарную хватку. Он не мог понять, как же ловко его так разыграли.

Впрочем, позже, уже в Одессе, он за стаканом бессарабского вина признался мне, что в первый момент мелькнула мысль: «А вдруг...».

Увы, нет ни нашей черно-белой фотографии Майсена, ни этой тарелки, достойной быть представленной в музее подделок, да и участники этой истории... Иных уж нет, а те – далече...

И у немцев есть подобная сентенция. И Таня прочитала мне на языке Гайнриха Гайне:

«Die Einen sind nicht mehr da, die Anderen sind so weit...»

Фото автора и Татьяны Вербицкой





Ах, Одесса

354 Алексей Гладков
Одеса

359 Игорь Геращенко
Только в Одессе...

362 Леонид Авербух
Лёнчики

364 Анатолий Линник, Оксана Линник
Время объятий

Алексей Гладков

Одеса

– Вот ты говоришь: Одесса, Одесса... А что твоя Одесса сегодня? Булыжная мостовая на Пушкинской, оперный театр, полуразрушенная Молдаванка и руины дома Русова. Вот все, что осталось от твоей Одессы! Надпись на карте – и ту сейчас изуродовали, вычеркнув одну букву «с».

Мой собеседник, глядя в чашку, нервно размешивает сахар.

– Вот скажи: почему Одесса 200 лет была с двумя «с», а теперь вдруг должна стать с одной? Кому эта сдвоенная «с» мешает? И кому это нужно, чтобы она теперь на всех языках писалась с одной? Ну, допустим, мы сегодня очутились в Украине. Допустим, что по правилам языка сдвоенная «с» не допускается. Но ведь в любых правилах есть исключения! Никогда за все время своего существования «Одесса» не была «Одеса». Так почему сегодня должна стать?

Отпивает чай, ставит чашку на стол, обнимая ее ладонями.

– Кончилась твоя Одесса, Леша! Кончилась! Уехала! В Германию, Израиль, Штаты. Разлетелась по миру. Как семена одуванчика. Дунул ветер перемен, она и разлетелась. Ты помнишь, песня такая была у «Scorpions»? Вот тот самый ветер подул – и все! Сдуло Одессу.

Греет руки о чашку. Молчит.

– Ну, хорошо, допустим, вы правы. Все уехали, увозя с собой «ту» Одессу. Но ведь на их место, в их квартиры поселились новые люди. Они что?

– Да ничего они. Люди как люди, – отвечает тихо, почти с горечью в голосе. – В большинстве своем плохо образованные и дурно воспитанные. Хотя... Сегодня это тоже сплошь и рядом.

Но дело не в этом! Ты говоришь: Одесса! Одесса – это не архитектура, не морвокзал и даже не Привоз. Одесса – это особые отношения между людьми, дворовые традиции и своеобразное воспитание. А где сегодня остались эти традиции? Где дворы, в которых соседи вместе выносят и накрывают столы, чтобы посидеть всем двором? Ведь сидели же раньше! И допоздна сидели. Куда это делось? Неужели вновь прибывшим это...

Задыхается, откашливается, крупными глотками отпивает горячий чай. Сделав паузу, продолжает:

– Я недавно зашел в свой старый двор на Базарной. Ты его помнишь! В нем всего 13 квартир. Встретился с соседкой из 4-й. Пока говорили, мимо нас, не здороваясь, прошли какие-то люди. Спрашиваю: «Это новые соседи?». Она отвечает, что, вроде, да. Но как их зовут – не знает. Леша, да когда такое было, чтобы мы не знали, как зовут в нашем дворе соседей? Мы знали не только наш двор, но и все соседние в квартале. По именам, фамилиям и прозвищам. Знали, кто где работает, кто с кем спит и даже кто чем болеет! А сегодня мы не знаем, кто живет в соседней квартире. И речь ведь не идет о новостройках. Там еще ладно: как оливки в банке живут – всех не запомнишь. Но хотя бы в моем дворе на 13 квартир можно знать всех? Это же всего 13 семей. Не тысяча триста! Не сто тридцать. А всего 13! Знаешь, что мне соседка еще сказала? Что из старых соседей всего 5 квартир осталось. А из новых она знает только двоих. И это в моем дворе, где все как на ладони! Вот тебе и новые люди! А ты говоришь, в их квартиры... Да какая разница, в чьи они квартиры заселились, если они из этих квартир не выходят!

Говорит раздраженно, зло, повышая голос. Почти кричит. Нервничает.

– Кстати! За квартиры! Мы ведь до сих пор в старом дворе называем квартиры не по номерам, а по соседям, которые там жили. На четвертом этаже «квартира Стукачей», на втором – Фельдманов, а на первом – Райцыных. И неважно, что у этих квартир уже дважды сменились владельцы. Неважно, что из квартиры Райцыных сделали магазин. Она по-прежнему «квартира Райцыных». А все почему? Да потому, что там жили люди! Нормальные, адекватные люди! А о новых соседях мы ничего не знаем! Не знаем потому, что новые соседи боятся или не хотят выйти во двор



и поздороваться! Как пещерные люди! По норам попрятались и в каждом прохожем видят угрозу.

Замолчал. По лицу видно, что все это ему неприятно. Волнуется. Переживает. Чтобы снизить напряжение, перевожу разговор в другое русло.

– Ладно, Бог с ними – с новыми соседями. Расскажите, как вы к своим съездили?

– А? К своим? Да нормально съездил. Мюнхен посмотрел. Красивый город. Внуки по-русски совсем не говорят. Только «спасибо», «дедушка» и «я тебя люблю». Зять меня в Дахау свозил. Приехали. Я из окна машины посмотрел на бараки, вспомнил отца, татуировку на его руке, сердце защемило. Так и не смог заставить себя выйти. Постояли минут 10 и вернулись в город. Кстати, по поводу одесситов! Сел я в автобус, а как платить за проезд – не знаю. Мне один из пассажиров показал на аппарат, выдающий билетки. Закинул я в него несколько монет, и он выдал талон. Смотрю, а компостера в автобусе нет. Думаю, доеду до конечной – водителя спрошу. Так и сделал. Подхожу, на ломанном немецком, как умею, спрашиваю: «Was soll ich machen?». И протягиваю ему билет. Он его берет, смотрит на меня и спрашивает: «Russisch oder



Englisch?». Я обрадовался, говорю, мол, русишь, русишь! Он мне по-русски с хохмой отвечает: «Можете попробовать его перепродать». Я рассмеялся. Но в его говоре уловил что-то наше, одесское. Разговорились. Оказалось – одессит. Уже 25 лет живет в Мюнхене, автобус водит. В Одессе жил на Слободке. Так что, Леша, разъехалась твоя Одесса. Кончилась. А здесь остались только булыжник на Пушкинской, оперный и Привоз. И всем этим остаткам дали новое название: «Одэса». С одной «с».

Мы еще минут 30 пили чай, беседуя о разных пустяках. Когда он ушел, в мою дверь постучал почтальон:

– Добрый день. Вам заказное. Распишитесь.

Приехала открытка, которую я приобрел на одном из аукционов две недели назад. На лицевой стороне «Вид на море у Малаго Фонтана» начала XX века. На обороте – письмо корявым неразборчивым почерком. Обычно на открытках слали поздравления с Пасхой, Днем ангела или Новым годом. Но это письмо отличалось. Я взял лупу, уселся поудобнее в кресле и стал его расшифровывать.

«Уже день живем в Одессе. Видели море, но в сырой день не особенно сильное впечатление произвело. Помещение нам отвели в гимназии хорошее. Пробудем еще день и тронемся

в Севастополь. Я влюбилась в Киев. А Одесса мне не понравилась. Только море ее и скрашивает, а то сырая, каменная и пыльная» (отправлено 10 июня 1917 года в Боровичи Костромской губернии, ее высокоблагородию Варваре Николаевне Самсоновой).

Закончив разбор письма, еще раз его перечитал. Больно кольнула фраза «Одесса мне не понравилась».

Надо же! Не понравилась! Значит, Бунину с Аверченко и Твену с Драйзером понравилась, а ей – нет. Цаца какая!

С негодованием отшвырнул открытку на стол. Задумался. Вспомнил разговор. Булыжник. Оперный. Привоз. А ведь и вправду: сырая, каменная и пыльная. Но только теперь с одной буквой «с».



Игорь Геращенко

Только в Одессе...

...на вопрос: «Отчего болят зубы?» – вам ответят: «От бедности!».

...на дверях квартиры можно встретить табличку: «Без стука не входить, и просьба не стучать!».

...на вопрос о национальности родителей пишут: «Папа еврей, а мама наоборот».

...на кладбище можно прочитать эпитафию: «В гостях хорошо, а дома лучше!».

...доктор обнадежит пациента: «Тяжело в лечении – легко в раю!».

...в клубе холостяков присваивают титул «Женат посмертно».

...можно войти в положение другого человека без стука.

...влюбленный может сказать: «Люблю одиночество... с тобой!».

...лучшие родственники – единомышленники!

...дурной пример *зародителен!*

...на вопрос «Почем яблоки?» вам скажут: «5, 10, 15, 20... кто на что способен».

...на Привозе женщину «мягко» попросят у прилавка: «Дамочка, унесите ваши бедра, они заслоняют мои яйца».

...водитель маршрутки крикнет в сердцах: «Женщина, не хрустите кулек! Я не слышу мотор!».

...в магазине «Оптика» вы услышите: «Мне дайте одни очки – от солнца, а другие – от людей!».

...указывая вам на пьяного под забором, прохожий скажет: «За что так любить пить, я вас спрашиваю?!».

...кондуктор трамвая, видя беспризорного оборванца, грустно выдохнет: «Ехай за мой счет, урод, пока государство не знает!».

...синоптики ошибаются один раз, но каждый день.

...если человеку осталось жить два дня, а он шутит, – это одессит.

...нищий, найдя на мусорнике бутылку, философски изречет: «Жизнь начинает быть!».

...нет праздника желанней будня!

...сколько мужа не корми, он все равно в телевизор смотрит.

...артист может, хлопнув дверью, выйти из роли.

...можно работать спустя рукава, потому что некому закатить.

...в больницах *такая (!) халатность*, что посетители проходят в приемный покой без халата.

...для полного счастья достаточно два бокала пива и нормальные человеческие отношения.

...любая женщина скажет: «Что может быть вкусней *родного мужа!*» – потому что она знает, *что* может быть вкусней родного мужа.

...мужчина может угрожать женщине словами: «Я не шучу! Я есть хочу!».

...на вопрос: «Где мы стоим?» – ответят: «Представь себе, не задумываясь!».

...ребенок, прервав ссору родителей, скажет: «Папа, сделай так, чтобы было!».

...любители поесть ночью знают: «Лучший телевизор – холодильник!».

...на вопрос: «Салат помешанный?» – хозяйка ответит: «Салат нормальный!».

...на вопрос отца: «Когда пострижешься?» – сын ответит: «В душе я всегда был длинноволосым!».

...на вопрос: «Что такое арифметика?» – первоклассник ответит: «Это сложение и вычитание!».

...на вопрос отца: «Знаешь, что люди живут не вечно?» – маленький сын ответит: «Не бойся, папа, мы будем мучиться долго!».

...на вопрос учителя: «Что такое «дальше в лес больше дров»?» – первоклассник ответит: «Народная дурость!».

...увидев шарпея, малыш удивленно воскликнет: «Папа, эта собака похожа на тебя с утра!».

...на вопрос бабушки: «Что такое люди?» – ребенок ответит: «Это такие *существа!*».

...на вопрос учителя: «Какие вы знаете согласные?» – школьники ответят: «Глухие и мертвые».

...на просьбу почесать спину жена скажет: «Одевайся, все равно не видно!».

...на вопрос: «Что такое смерть?» – вам ответят: «Это другая жизнь!».

...на жалобу: «Мне скучно» – вам скажут: «Купите пианино!».

...неудачником считают человека, не имеющего дачи.

...жена может подбодрить мужа: «Ну хватит меня жевать!».

...на вопрос: «Ты что, глухонемой?» – вам ответят: «*Глухонетвой!*»

...на вопрос: «Марину можно к телефону?» – вам ответят: «Она только что вышла в декрет!».

...уют и люди жуют.



Леонид Авербух

Лёнчики

* * *

IT, айфоны, гаджеты, Hi-Tech –
Достиг вершин прогресса человек!
Но вот чего мне бесконечно жаль –
В век технологии нет спроса на мораль...

* * *

Куда б ни привела тебя дорога –
По воздуху, по рельсам, по воде,
На свете дураков не так уж много,
Но так расставлены, что есть они везде...

* * *

– Неужто слуха остроте конец пришел? –
Спросила дочь меня, заботу проявляя.
Нет, дочка, нет! Я слышу хорошо,
А повторить прошу, когда не догоняю...

* * *

Не гни перед старостью спину,
Довольствуйся долей своей.
Один в долголетию минус –
Потеря любимых людей...

* * *

Кто старится, а кто прикажет долго жить,
Страдают близкие, врачей клянут и судят.
Вот, говорят – старик перестает любить...
Неправда! Перестав любить, стареют люди...

* * *

Коллегу-сверстника спросил я на работе:
– Планируете ль вы свою судьбу?
Как двадцать первый век вы проведете?
И он ответил: «В основном, в гробу...»

* * *

Понимаешь, вот такая штука:
Грянут вскоре старости морозы;
Проверяешь молнию на брюках,
А ведь нет в них никакой угрозы...

* * *

Проснуться знаменитым ты в юности мечтаешь,
Стараешься, потеешь (дай Б-г, чтоб не вотще!),
А в старости (об этом пока еще не знаешь)
Мечтаешь, чтобы завтра проснуться вообще...

* * *

Достойная дама сказала,
Припудрив пред зеркальцем нос:
– Знать цену себе – это мало,
Узнать бы, каков будет спрос...

Анатолий Линник, Оксана Линник

Время объятий

Мы познакомились поздней осенью.

Погода была терпимой с утра, но к вечеру неожиданно хлынул дождь. Мы под козырьком у парадной двери какой-то закрывшейся на ночь конторы, и оба без зонтов. Казалось бы, взрослые люди – и такие непрактичные.

Между нами завязалась беседа о погоде, естественно. Человек со стороны, слушая нас, подумал бы: «Базар ни о чем, женщина просто нашла «свободные уши». Но я высоко оценил блондинистый ум незнакомки.

Хорошо помню, она говорила за осень с ее унылой промозглой сыпучей мокротой. Я был такого же мнения, но возразил и обещал показать фотоснимок, если увидимся. Я на нем на фоне парка, где золотистая листва деревьев сплошным ковром граничит с голубизной неба. И это красиво. Она возразила, что не любит золото в любом проявлении; от него половина бед на этой многострадальной земле.

Мне это понравилось, но я сказал банальность, что все же было бы неплохо иметь этот презренный метал в достаточном количестве.

Мне только осталось, разумеется, спросить ее про зимушку-зиму. О, для нее это праздник, вернее, праздники – Новый год, Сочельник, Крещение, Масленица и День всех влюбленных. Особенно Масленица, подумал я. Пьяные мужики устраивали кулачные бои «стенка на стенку», чтобы расквасить друг другу лица и чтобы руки не одряхлели за зимней попойкой, а то нечем будет весной соху держать.

Дождь прекратился. Мы разошлись, обменявшись номерами телефонов из чистой деликатности.

* * *

Работа, суета, цивилизация захватывают, так что не до любви. А тут еще попал шефу под горячую руку и получил, что называется, на орехи в канун Нового года. После нахлобучки я решил пройтись на свежем морозном воздухе, зайти в бар, принять сто грамм «успокоительного лекарства». После коньяка ноги не слушались и привели меня к месту встречи с молодой обаятельной женщиной, любительницей зимы и Киевской Руси. Моя рука невольно потянулась за мобильным.

– Да, это Лена. А хотите, я угадаю, кто меня решил побеспокоить в столь поздний час? Антон? Угадала?

– Да, это я.

Она стала мне нравиться еще больше. Я сделал первый шаг к более близкому знакомству, теперь очередь за ней...

* * *

И буквально за час до Нового года запел колыбельную мобильник:

– Антон, с наступающим вас. Как собираетесь праздновать?

– Без вас не праздник!

– А если я приду к вам, это не будет слишком?..

Как мне нравятся неординарные решения, особенно со стороны женщин!

– Что вы, что вы! Жду с нетерпением. Запишите адрес. Вы где-то рядом живете?

Таки позвонила! Спокойно, Антоша, есть шанс получить, как в советские времена, значок «Готов к труду и обороне». Пара декоративных свечей где-то валялась. Главное – шампанское в холодильнике, мясная нарезка и коньяк. Тортик купил, как чувствовал, что пригодится. Можно, конечно, в супермаркет сгонять за традиционными оливье и холодцом. А вдруг мы разминемся? Ничего, обойдемся. В крайнем случае возьму у соседки русско-французский салат, она меньше тазика на праздники не готовит.

Леночка оказалась знакома с правилами хорошего тона.

– Вы меня извините, Антон, извините. Мы, кажется, договорились на «ты». Я пока еще не привыкла.

Я подумал: «Ничего, сегодня привыкнешь».

– У меня «Советское полусладкое» и тортик. Я прихватила с собой. А где у тебя зажигалка?

Она еще и не курит? Все больше и больше я нахожу в ней положительные качества.

– Милый, свечи я зажгла, и не беда, что старый год мы не проводили. Главное – новый встретить, а с последним боем курантов по телевизору задумать самое сокровенное желание.

– Глупышка ты моя спящая из сказки. Куранты давно отбили в Москве – к сожалению, их праздник.

– Ну и что? Протяни ладонь к своей свече, как я, и почувствуй тепло своего желания, только не обожгись.

Еще один плюс в ее пользу: заботливая.

Я последовал ее совету, закрыл глаза и подумал, что не мешало бы в этом году, как у соседа, завести близнецов-сорванцов.

– Всё, Антон, с Новым годом! Я надеюсь, с будущим обоюдным счастьем.

– Согласен. С Новым годом!

Мы отпили по глотку вина, и она рассмеялась.

– Теперь можно извиняться? Хочешь, я угадаю, какое желание ты задумал?..

Я насторожился. Вдруг дама меня разведет, как в прошлый раз, с мобильным телефоном. Обидно, все-таки 1 января, и придется весь год ходить в дурнях.

– Ты задумал: когда можно будет поцеловать эту женщину? Угадала?

– Да-а-а, – промямлил я.

Мудрец сказал: «Семья – единство противоречий». Леночка в этом плане просто подарок судьбы, потому что поцелуи тоже входят в процесс появления карапузов. И если женщина просит, чтобы ее обманули в новогоднюю ночь, она, возможно, права.

* * *

В голову пришла фраза, которой нет в Библии: «Время разбрасывать руки и время собирать их в объятия». И пусть весь мир подождет.

Издано...

368 Евгений Голубовский
Книжный развал

375 Ольга Ладохина
В одно биение сердца

Евгений Голубовский

Книжный развал

Издано в Одессе



Владимир Вайншток
Записки врача (О жизни, медицине, политике)
Одесса, 2016

Весной 2017 года старейшему практикующему врачу Одессы Владимиру Зигмундовичу Вайнштоку исполнится 90 лет. Я пишу эти строки в последние дни 2016 года, зная, что и сейчас кандидат медицинских наук пульмонолог Вайншток принимает больных в поликлинике.

А начинал он свой трудовой путь с журналистики, с профессии газетного репортера в дни Великой Отечественной

войны. И оказалось, что навыки, полученные 75 лет тому назад, не пропали даром. Владимир Зигмундович написал публицистическую книгу, в которой факты его биографии оживают на фоне жизни страны. А каждая встреча может стать поводом для размышлений о судьбе высшего образования, о проблемах современной медицины.

Хорошо, что за последние годы известные одесские врачи написали мемуары. Это и Сергей Гешелин, и Леонид Авербух. В этот ряд размышлений о жизни, о нашем городе, его людях станет и книга «Записки врача» Владимира Вайнштока.



Роман Бродавко
В потоке света
Одесса, Печатный дом, 2016

Роман Бродавко – постоянный автор нашего альманаха. И его очерки, рассказы знакомы нашим читателям. Но, думаю, неожиданными для них будут драматические этюды, составившие целый раздел этой книги.

А впрочем, с театром Роман Исаакович дружит многие годы. С музыкальным, драматическим. И все же для меня эти парадоксы на темы классических пьес – неожиданны. Остроумные, впечатляющие

умением перелицевать классические сюжеты.

Я представил, что будь в Одессе театр миниатюр, вот для него репертуар, который пользовался бы успехом у современного зрителя. Дело за малым – открыть в Одессе театр миниатюр.

Александр Бирштейн
Гранитный мир
Одесса, Астропринт; Париж, Ритм, 2016

Выход этой книги стихов Александра Бирштейна одновременно в двух издательствах – одесском и парижском – оправдан



хотя бы тем, что это сборник стихов одесского поэта, написанных во Франции, с впечатлениями, размышлениями об этой удивительной и прекрасной стране.

Как человек, собирающий всю жизнь поэтические сборники, могу уверенно сказать, что за два века книгоиздательства в нашем городе здесь впервые выходит книга стихов о Франции. Выходили книги на французском языке поэта, жившего в Одессе, выходили книги переводов, но сборник, состоящий целиком из стихов, из поэтического признания в любви к Франции, – впервые.

Но дело не только в теме. Хорошие стихи. И это подкупает в этой книге. Александр Бирштейн начинал как поэт, стихи пишет чуть ли не полвека, но, издав десятки прозаических книг, впервые публикует книгу стихов.

Я мог бы цитировать понравившиеся стихи, мог бы привести одну строфу, другую. Но книгу нужно видеть, читать целиком – со стихами, с авторскими фотографиями, я бы даже сказал, с ветром, который дует с ее страниц. Прочтите эту книгу, и вы откроете для себя искреннего человека, влюбленного во Францию.

Татьяна Псковитина
Формула красоты
Одесса, Пресс-курьер, 2016

Татьяна Псковитина – жена замечательного одесского художника Юрия Егорова (27.01.1926-12.10.2008) – стала неустанным



пропагандистом его творчества. В 2016 году, в год 90-летия художника, она издала фотоальбом эскизов Юрия Егорова.

Предприняв это издание, Татьяна написала: «В дар потомкам и в надежде, что замыслы великого мастера смогут звучать в материале».

Эскизы гобеленов, сохраненные в собрании Татьяны, которая и сама занималась изготовлением гобеленов по эскизам мужа, представляют

действительно сокровище. Это уроки для монументалистов на все времена. И воплощены они могут быть и в гобеленах, и в настенной живописи. В них энергетика Юрия Егорова, его поиски Потерянного рая.



Сергей Остапенко
Введение в степологию
Одесса, 2016

Что такое «степология»?

Признаюсь, я не знал такого понятия до того, как взял в руки эту книгу. Теперь знаю. Термин придуман и внедрен автором исследования – Сергеем Остапенко. Это наука о степе, одном из видов хореографии. А теперь о том, кто такой Сергей Остапенко. Кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры мировой литературы ОНУ

имени Мечникова. Но одновременно хореограф и танцовщик, двукратный чемпион Европы и двукратный чемпион мира по степу.

В книге две части. Первая – теоретическая. Вторая – портретная галерея одесских степистов. И оказалось, что первых одесских степистов – братьев Эмиля и Михаила Гледов – я знал многие годы. Миша Глед стал фоторепортером, Эмиль всю жизнь оставался степистом, обучал степу молодежь.

В этом двуединстве привлекательность книги. Она не только знакомит с историей предмета, но и показывает людей, энтузиастов этого вида хореографии – братьев Гледов, Алексея Гилко, Айю Перфильеву, Георгия Делиева, Александра Останина и других.

Издано в Хмельницкой области



Владимир Кабаченко
Взяв Гамлет бандуру
Бедрихівкрай, 2016

Всегда считал, что стихи, написанные художниками, обладают особой магией – их образная система зрима.

А образная система самобытного живописца Владимира Кабаченко опирается на мифическое восприятие мира, причем это не древнегреческие мифы, а, я бы сказал, этнокультурные, берущие начало в языческих представлениях праславян.

И как бы романтическое толкование своей живописи дает художник в своих стихах.

Об этом пишет в предисловии к этой, уже второй книге стихов Кабаченко, поэт Анатолий Глушак.

И вновь – тем, кто ценит творчество художника В. Кабаченко, советую прочесть книгу от начала до конца. От предисловия А. Глушака до послесловия автора – В. Кабаченко. И тогда возникнет объемное видение творчества артиста (этим словом объединил я и художника, и поэта, и музыканта), это и создает новое качество в восприятии постмодернистского искусства.

Издано в Нью-Йорке



Зиновий Аврутин
в воспоминаниях друзей
Нью-Йорк, 2016

В июне 2016 года в Нью-Йорке умер, не дожив 3 месяцев до 80-летия, Зиновий Михайлович Аврутин. Друзья за несколько месяцев создали нетленный рукотворный венок Зорику, а его называли так и только так, собрав и издав книгу воспоминаний о нем.

Зорик был классическим одесситом. И в этих воспоминаниях он предстает без котурнов, в шутках, анекдотах, легендах. Веселый, остроумный человек, я бы сказал – человек-театр.

Мне приятно, что для «Всемирных одесских новостей» Сусанна Альперина много лет тому написала статью, теперь она перепечатана в книге, мне жаль, что слова прощания,

написанные мной, а я знал Зорика со школьных, 50-х годов, не попали составителям книги. Но книга в любом случае и оперативная, и достойная. Достаточно сказать, что в ней опубликованы отрывки из мемуаров Д. Макаревского, тексты Э. Штейнберга, А. Краснопольского, Э. Арзуняна, Д. Таужнянского, В. Фролова и многих других.

Спасибо Одесскому землячеству Нью-Йорка за эту книгу!



Ольга Ладохина

В одно биение сердца



Евгений Голубовский
Глядя с Большой Арнаутской
Одесса, 2016

Писать о книге Евгения Михайловича Голубовского – непростая задача. С одной стороны, это воспоминания о сокровенном, сохранившемся в памяти из довоенного детства и послевоенного одесского взросления, с другой стороны, это карта книжной Одессы и знакомство с ее библиофилами, а в-третьих, гимн одесской живописной школе, о которой Голубовский знает не понаслышке.

Когда читаешь главу «Кое-что о себе», то не подозреваешь, что будешь возвращаться к написанному не однажды, чтобы запомнить зримые и слуховые образы, о которых говорит автор. Если снова полечу в Ташкент, то окажусь на Коммунистической, 11, чтобы увидеть тот дом, в котором поселились эвакуированные во время войны. Один год военного детства в знойном сухом Ташкенте, а память сохранила восточную щедрую картину с базаром, пиалой, пловом, лепешками, чаем и уважением к «нашим эвакуированным». Если окажусь когда-нибудь в городке Новый Ропск, вспомню, что когда-то там

была улица Голубовская. А в Сочи удивительные плоские сочинские камешки напоминают о книге Голубовского, которому в юности «читать было интереснее, чем жить». Путеводителем по Одессе, когда семья переселилась в город у моря, стала повесть «Белеет парус одинокий» В. Катаева, а одесская школа, по Голубовскому, стала «количеством прочитанных текстов», именно здесь он увлекся литературой. Самая нежная и эмоциональная книга для автора – роман «Пятеро» В. Жаботинского. Когда Евгений Михайлович говорит об этом романе, он становится более афористичным, сказ напоминает поэзию:

«Книги побуждают человека к действию. Действительно собирают человека. А это ведь и есть вечный двигатель, над изобретением которого тысячелетия ломало голову человечество».

«Иногда кажется, будь у книг голос, они бы громко требовали: «Переиздай меня!».

Вторая часть сложилась из статей, посвященных книгам и книжным людям. Любопытного здесь чрезвычайно много, например о знакомстве с одесской интеллектуальной элитой в букинистических магазинах, о содержательной стороне одесских домашних библиотек, о знаменитых библиофилах, одним из которых была Александра Николаевна Тюнеева, «хранитель исторической памяти». Е. М. предложил именно ей написать статью к четвертому блоковскому «Литнаследству». Из собранного автором материала наблюдений, встреч могла бы сложиться целая книга о хранителе уникального архива при Музее книги Публичной библиотеки Одессы. В мой последний приезд одесситы показывали здание библиотеки как одну из достопримечательностей города, теперь я знаю, кто сохранил ее для потомков.

Всех людей, о которых пишет Е.М. Голубовский, объединяет иронический склад ума, сам автор назвал книгу «Глядя с Большой Арнаутской», имея в виду аллюзию на радиопередачу Би-Би-Си «Глядя из Лондона». Ироничная манера чувствуется и в главе, рассказывающей о приезде И.А. Бродского в Одессу: «Надеюсь, не обойдут историки короткую одесскую страницу, как именно в нашем городе поэт ощутил острую, я бы сказал, пушкинскую тоску по свободе...». «Журналистское расследование» Голубовского станет дополнением к книге Льва Лосева «Иосиф Бродский: опыт литературной биографии», где об этом ни слова.

«Смысловой ключ города», по словам автора, это памятник Пушкину. Он вдохновил Бродского на написание «завещания великого поэта», которое навечно связано с родиной, строкой «Прощай, свободная стихия». Как знать, родился бы этот шедевр, если бы еще не один факт: Бродский на Одесской киностудии услышал историю «зарубленного» сценария Б. Окуджавы о Пушкине.

Е.М. Голубовский занимался и филологическими исследованиями, одно из них посвящено «одесскому тексту» в стихах П. Кроля, другое – загадкам «одесского» Николая Гумилева, еще одно – Исааку Бабелю. Автор, казалось бы, дает нам истории, не связанные между собой, но между ними есть не только хронологическая логика, но и магнетизм слова «читатель». Все для него, для читателя: «Бег продолжается. Скорость уже меньше скорости света, но еще больше скорости звука. А от автора до собеседника расстояние в одно биение сердца».

Заголовок книги «Глядя с Большой Арнаутской» не обманывает: это не только прочтение, это и взгляд, взгляд на полотна одесских художников, которые составляют элиту города Одессы, они вне времени. «Одесский Айвазовский», Юрий Егоров, всю жизнь писал морскую стихию. Мы глазами автора посмотрим на мастерскую художника, на его воплощения гриновского Зурбагана. Верно подмечено Голубовским, что слияние содержания и формы возможны, только когда художник – «человек думающий, читающий, размышляющий».

Каждая глава как страничка из энциклопедии об одесских художниках: тут и биографии, и история картин, признание в любви полотнам. А лакуны читатель заполнит собственным воображением, потому что в книге еще и галерея портретов на фоне картин.

Книга Евгения Голубовского – чтение увлекательное, познавательное, пробуждающее чувство прекрасного. Читаешь и растешь в нескольких направлениях.

Книга ценна еще и тем, что из общей мозаики воспоминаний складывается неповторимая картина интеллектуальной жизни Одессы за последние пятьдесят лет. И этой картине доверяешь без сомнений, так как она прорисована подвижником и подлинным хранителем традиций одесской словесности.

Москва

Содержание

От редакции	3
-------------------	---

Михаил Жванецкий Выбор	5
--	---

История, краеведение

Олег Губарь Путеводитель по пушкинской Одессе	8
---	---

Андрей Добролюбский Археологические очертания Джинестры	38
---	----

Сергей Котелко История одного памятника	48
---	----

Александр Дорошенко «Художник нам изобразил глубокий обморок сирени...»	57
---	----

Итальянский свидетель падения белой Одессы	71
--	----

Альдо Мандрилли Одесса 1920	73
Публикация Михаила Талалая	

Одесский календарь

Евгений Голубовский Обостренное чувство такта	94
---	----

Проза

Аманда Михалопулу Отец и собака	100
---	-----

Янина Желток В Берлин едет Зоя	105
Анна Михалевская Тодосий	109
Сергей Кравцов, Екатерина Бойчук Отмычка Соломона	113

Поэзия

Наталья Королева «Как хочется быть понятной и правой...»	128
Вера Зубарева На краю океана	133
Татьяна Орбатова Верлибры	136
Анна Стреминская «Как одиноки все деревья...»	141
Ольга Пронина «Какая трепетная связь...»	146
Анна Нахимчук В чем жизни смысл?	151
Елена Шелкова Я прекрасный сумасшедший поезд	157
Алена Рычкова-Закаблуковская Так в старом фильме	163

Первые шаги

Море талантов на берегах Одессы	168
---------------------------------------	-----

Искусство – жизнь – искусство

Сергей Калмыков «Что наша милая Одесса?»	176
Григорий Палатников Мимолетен, как блик на воде	199

Анна Мисюк	
Поэт Семен Фруг.....	220
Семен Фруг	
Еврейская мелодия.....	225
Леонид Финкель	
Балмилухе, или Земля обетованная художника Ефима Ладыженского	228
Белла Верникова	
Не модная сторона улицы.....	253
Феликс Кохрихт	
Театр уж полон!.....	262
Ефим Ярошевский	
Про Даниила Марковича Шаца... про Даню.....	265
Роман Бродавко	
Джаз – это музыка свободных людей	277
Геннадий Тарасуль	
«Вижу и слышу: колышется время»	283
Анастасия Зиневич	
Иуда.....	286

Публикации

Виктор Некрасов	
«Давайте поговорим» Михаила Жванецкого.....	288
Алена Яворская	
Рисунки и стихи Семена Кирсанова	292
Семен Кирсанов	
Из тетради 1922 года.....	296
Георгий Шенгели	
Пушкин в Крыму.....	301
Публикация Вадима Перельмутера	

Сокровища из сокровищницы

Татьяна Щурова	
«Сохранить прекрасное»	338

Путешествие

Феликс Кохрихт	
Майсен: город голубых мечей.....	348

Ах, Одесса

Алексей Гладков Одеса	354
Игорь Геращенко Только в Одессе.....	359
Леонид Авербух Лёнчики	362
Анатолий Линник, Оксана Линник Время объятий	364

Издано...

Евгений Голубовский Книжный развал	368
Ольга Ладохина В одно биение сердца	375



Литературно-художественное издание

Дерибасовская – Ришельевская

Одесский альманах

Книга 68

Deribasovskaya – Rishelievskaya

Odessa almanac

Book 68

Издается с 2000 года

Координатор проекта «Одесская библиотека» Иван Липтуга

Технический редактор Геннадий Танцюра

Верстка, корректура Татьяна Коциевская

Подписано в печать 01.02.2017

Бумага офсетная РАМО SUPER 80 г/м



Печать офсетная. Гарнитура Cambria. Формат 60×84/16

Физ. печ. л. 20,75. Усл. печ. л. 19,2

Заказ № Тираж 500 экз.

Всемирный клуб одесситов Worldwide Club of Odessits
65014 Одесса, Маразлиевская, 7 7 Marazlievskaya Str. 65014 Odessa
Украина Ukraine

Тел.: +38 (048) 725-45-67 Тел.: +38 (048) 725-45-67

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «Плутон»

65023 Украина Одесса, Нежинская, 56

Тел.: +38 (048) 700-42-42

Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»

Регистрационное свидетельство ДК № 3673 от 21.01.2010

а/я 299, 65001 Украина Одесса

Тел.: +38 (048) 7 385 385

E-mail: books@plaske.ua



ДЕРИБАСОВСКАЯ  РИШЕЛЬЕВСКАЯ

ПОДПИСНОЙ КУПОН-ЗАЯВКА

Настоящим подтверждаю свое намерение оформить подписку:

Фамилия:	
Имя:	
Отчество:	
Адрес доставки:	
Телефон:	
E-mail:	

Стоимость подписки*	12 месяцев	4 выпуска	200,00 грн.
---------------------	------------	-----------	-------------

* В стоимость подписки не включаются затраты на доставку изданий.

Оплата:

- ☐ безналичный расчет ☐ наличными
☐ кредитная карта ☐ необходим договор

Оплату согласно выставленного счета гарантирую

Дата _____ Подпись _____

Отправьте подписной купон-заявку почтой или факсом по адресу:

Украина, 65001, г. Одесса, а/я 229,
Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»

PLASKE
ПЛАСКЕ

Факс: +380 (48) 7-385-375; 7-287-221;
тел. редакции: +380 (48) 7-385-385, 7-288-288;
0-800-300-30-80 (бесплатно со стационарных телефонов)



